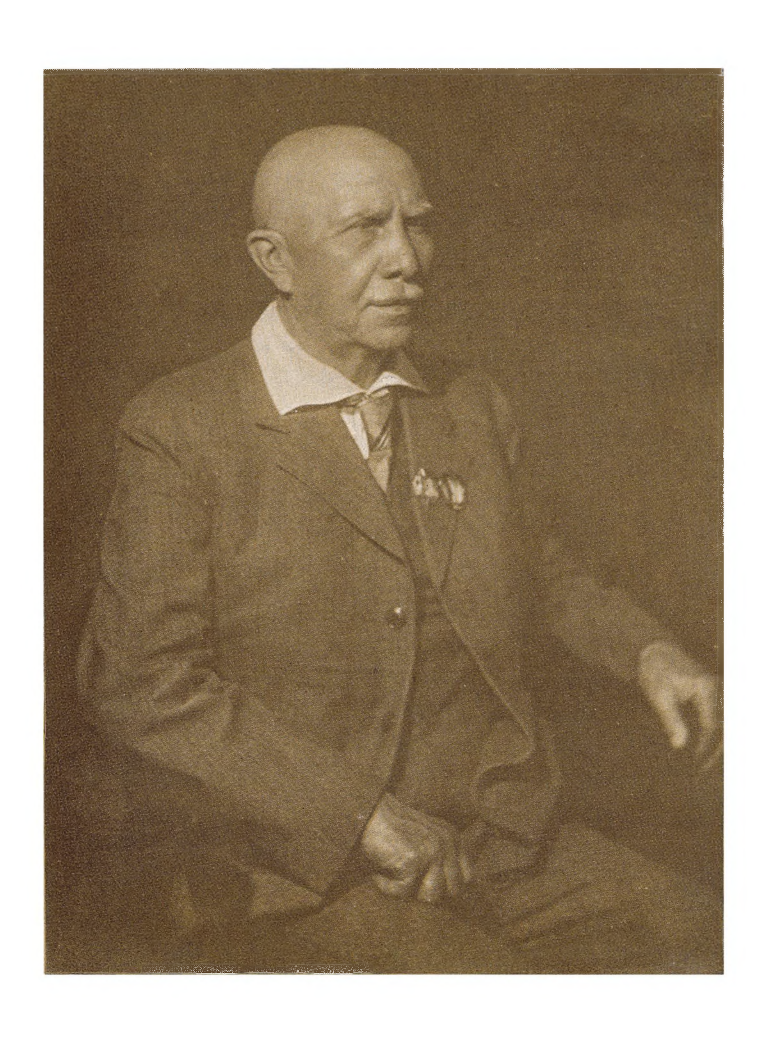
А.С.СЕРАФИМОВИЧ

А.С.СЕРАФИМОВИЧ

1



БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
КЛАССИКА

А. С. СЕРАФИМОВИЧ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 1

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1980

Издание выходит
под общей редакцией
Г. Ершова.

Составление
И. Попова.

Иллюстрации художника
П. Пинкисевича.

ПУТЬ ПИСАТЕЛЯ

I

В наружности, в манере Александра Серафимовича Серафимо́вича есть что-то как будто несколько тугое, что-то веское, даже увесистое, несколько медлительное и очень сильное.

Его друзья, например Леонид Андреев, с которым он дружил в лучшую пору этого писателя, называли его Лысогором. Писать он начал довольно поздно и тоже как будто несколько туго.

Если он рассказывает о себе, что ему приходилось просиживать иной раз много часов, чтобы как следует осилить десять строчек из «Капитала» Маркса, то он почти теми же словами повествует и о своих первых литературных работах — тоже по десять строчек в сутки удавалось ему написать, делая бесконечное количество поправок.

Этой туговатой, замедленной поступью прошел т. Серафимович большую часть своего жизненного и творческого пути. Он шел вперед, как танк, прокладывая себе очень прямой, очень уверенный путь. Эта неутомимым трудом, грудью проложенная дорога привела его к тому, что он вписал свое имя неизгладимыми чертами где-то очень близко от первых по времени и первых по качеству имен пролетарских писателей.

«Железный поток» — это значительное произведение Серафимовича, которое соединяет в себе художественную высоту, социальную значимость и обработку нового, послереволюционного материала. После «Железного потока» можно уже было, опираясь на факты, сказать, что пролетарская литература не только предсказывает, не только оценивает грядущие явления пролетарской революции, но и отражает

ее самое. В этом отношении «Железный поток» должен был быть поставлен рядом с «Матерью» Горького.

Серафимович и до революции был очень крупным писателем. Но та позиция, которую он занял непосредственно после Октября, и те произведения, которыми он откликнулся на послеоктябрьскую жизнь, бросили новый свет на весь его прошлый художественный путь и осветили этот путь так, что весь литературный подарок, который наш писатель принес людям, предстал как часть именно пролетарской литературы.

II

Серафимович происходит из казацкой военно-чиновничьей семьи. С самых первых лет своей жизни он соприкасался, однако, не только с тем средним классом, к которому принадлежал. Припомним, с какой благодарностью и с какой глубокой любовью говорит Салтыков-Щедрин о глубоких уроках, которые он получил на кухне, в людской, среди дворовых, раскрывших ему глаза на помещичий быт еще в те годы, когда сердце его было по-детски мягко. Так же точно и Серафимович говорит о себе в комментариях к сборнику своих произведений, названному «В дыму орудий»:

«Я получил в семье двойственное воспитание. На белой половине меня учили «благородным манерам» и «хорошему тону». Заботливая нянька пичкала меня всякой вкусной снедью. На черной же половине я узнавал от денщиков и горничных многое такое, что знать мне возбранялось. Тут я узнавал, в каких тяжелых условиях и в каком порабощении живут трудящиеся. Многое из тогдашних впечатлений на кухне оставило след на всю жизнь».

Уже с тех пор подросток, потом юноша, выглядевший немного увальнем (что сам Серафимович в себе отмечает), молчаливым степняком, стремится постичь быт обездоленных и трудовых масс.

Писатель-реалист, писатель-народник, однако без народнических односторонностей, присматривавшийся с большим вниманием к пролетариату, Серафимович завоевал внимание интеллигентской публики, а через то и доступ в журналы; но его слишком плебейские, слишком глубоко со дна черпавшие свой материал рассказы прочитывались обычно хозяевами литературы с «кислой рожей».

Эта «кислая рожа» в известной части (в то время очень и очень широкой части) русской интеллигенции превратилась в гримасу отвращения и негодования, когда Серафимович решительно встал на точку зрения пролетарской революции и принял на себя от Московского Совета исполнение известных, довольно важных функций.

Сам Серафимович так картинно описывает это событие, что мы считаем полезным воспроизвести его здесь еще раз.

Пришел он на так называемую «литературную среду». Было это вскоре после его назначения заведующим художественным отделом «Известий Московского Совета».

«Вдруг встает один художник и говорит: «Господа, прежде чем приступить... и так далее, должен сделать заявление: среди нас находится лицо, которому не место здесь. Это лицо сотрудничает в газете Московского совдепа. Я вынужден предложить этому лицу оставить собрание... и так далее». Юлий Бунин, помню, тогда председательствовал. Потом встает один из молодых писателей. «Я,— говорит,— горячо присоединяюсь к предложению. Что у нас может быть общего с большевиками, этими узурпаторами, не признающими свободы печати?..» и т. д. Тут я подумал: «Пожалуй, выгонят, сукины дети!» Я и говорю: «Что же? Все присоединяются?» Все как в рот воды набрали. Я нервничал, конечно. Повернулся к выходу. Один писатель, тот, что говорил об «узурпаторах», протянул ноги. Я споткнулся, чуть не упал. После там, говорят, были восторги такие, что трудно описать. «Русские ведомости», захлебываясь, писали об этом».

Наш писатель, протянувший так смело руку пролетарской революционной организации, оказался, таким образом, выброшенным из среды пишущей братии. Он, однако, не так легко сдался, он протестовал. В его фельетоне дан ответ изгонявшим его господам. В этом фельетоне он спрашивал себя: «Как могло случиться, что пострадавшие за мужика и рабочего, вплоть до каторги, и те с ненавистью говорили об этом мужике, рабочем, солдате?» И он отвечал: «Это объясняется тем, что наступила социальная революция и, как масло в воде, отделились все имущие от неимущих. И стали мужики и рабочие на одном краю глубочайшей пропасти, а имущие и все связанные с имущими — на другом».

Прекрасно объяснил это явление т. Серафимович еще в таких словах: «30 лет и 3 года без ног сидел народ, а теперь поднимается. И пока без ног лежал, как чудесно, как тонко, как художественно воссоздавали его художники, как проникновенно, любовно писали они мужика, забитого, темного, корявого, озлобленного! А когда он стал подниматься, когда широко разомкнулись на сотни лет сомкнувшиеся глаза, когда он пытается говорить не косноязычное «тае», а по-человечески, тогда от него слепота перекинулась на художников».

С тех пор А. Серафимович проникся еще бо́льшим желанием целиком и полностью пойти на службу революции. На службе у нее написал он и свою большую повесть «Железный поток», которая является только началом цикла «Борьба». На службе у нее написал он множество других прекрасных повестей и острых, правдивых летучих корреспонденций; на службе у нее он работал в качестве заведующего ЛИТО. И — как это я лично помню, ведь мы всегда работали в Наркомпросе вместе,— как заведующий заботился Серафимович прежде всего о привлечении талантов из самых недр пролетариата, об обучении их, о помощи им. Недаром еще в том фельетоне, которым он отмахнулся от своих врагов, он писал: «Продолжайте, товарищи, охранять чудесное наследство искусства прошлого и готовьте новое поколение, которое бы достойно умножило его. Берегите как зеницу ока то, что родилось среди вас, родилось, развернулось в громадное дарование и не оторвалось от вас».

На службе революции остается маститый писатель и сейчас, и мы еще ждем новых даров от его творчества.

III

Постараемся охарактеризовать коротко этот дар Серафимовича, каким он лежит сейчас перед нами.

С самого начала, когда у писателя проснулась жажда литературного творчества, он обратил внимание на то, что всегда призывало его, призывало мучительно: на судьбу тружеников. Серафимович прекрасно понимает, что труд — великое благо, что труд — все порождающая сила, что труд — творческая радость. Но в действительности он не находил такого труда. Характерным для труда, для работы того времени было своеобразное полурабство, которое, уже освободившись от легальных крепостнических черт, экономически было не менее мощным и мрачным. «Суровый и

угрюмый север», куда закинула Серафимовича ссылка, показал ему на своих детях этот «проклятый» труд, безрадостно напряженный, отдающий свои плоды другому, эксплуататору-имущему. Картины этого жестокого, как пытка, труда, связанного с постоянным риском жизнью, проходят в первых полотнах Серафимовича, и они-то заставили такого мастера, как Короленко, признать крупнейшее дарование новичка.

Замечательно, однако, что в этой первой серии рассказов («Месть», «На море» и др.) Серафимович изображает не только труд. Он имеет дело с тружениками-собственниками или с таким слоем, где труд и собственность сталкиваются и соприкасаются. Столько же места, как безрадостный героизм труда на других, занимает в произведениях Серафимовича и жажда приобретения, стяжательная страсть. Когда затронута собственность этого корявого, сурового, северного морского человека, он не знает пощады, он преобразуется в лютого зверя, и вы чувствуете, как ужасающе сильна власть демона-собственника над человеком.

Помните, читатель, как после страшного побоища между мелкими собственниками-рыбаками и ворами в живых остаются только двое? Обессиленные, они взбираются на опрокинутый баркас. Сперва, спасшись, они разговаривают довольно мирно. Мелкий собственник расспрашивает: как же это воровали, почем продавали.

«Тот молчал, и мрачное серо-зеленое лицо его чуть тронулось:

— Да сот на шесть...

И осекся. Этот, с задрожавшим от ярости подбородком, прохрипел, давясь словами:

— Нашими... кровными... трудовыми... а-а, кровопийцы!

Вцепился в горло, и оба рухнули в расступившуюся воду».

Серафимович насмотрелся много этакого, и с жуткой силой и простотой, правдивым художественным словом изображает он эксцессы, муки, преступления собственности.

Мы живем в первую пору организующегося социализма, но было бы странно отыскать среди нас человека, который бы не понял всего значения анализа полного скорби и ненависти изображения собственничества. Это наваждение еще не прошло, оно держит в своих руках огромное количество мещан наших городов и крестьян обновляющейся страны.

Недаром предупреждал нас великан Ленин, что легче покончить с титанической мощью крупного капитала, владеющего сотнями миллионов, обладателями заводов, копей, железных дорог, чем с этой мещанской мошкарой, с этим мещанским гнусом, который все еще наполняет воздух вокруг нас.

Оздоровить воздух, почву можно, только отдавая себе полный отчет в том, каков этот враг наш. И потрясающие повести Серафимовича о собственническом озверении — мотив, проходящий через многие и многие его произведения, — остаются поучительными и сейчас.

Но, раз начав свои очерки труда, Серафимович переходит прямо к рабочему. Конечно, его рассказы о рабочих— «Шахтер», «Под землей», «На заводе», «Стрелочник» и другие — рисуют еще рабочих старого времени. В их героях еще нет настоящей активности. Это не классово сознательный пролетариат. Серафимович относится с состраданием к этим труженикам, как сострадал он нищим-рыбакам, работавшим на хозяина. Но он сострадает им с глубоким уважением.

Особое место занимают в жизни и творчестве нашего писателя очерки, написанные им под влиянием потрясающих событий 1905 года. Пожалуй, и тут Серафимович еще не распознал до конца или, по крайней мере, не сделал объектом своего художественного внимания активность пролетариата в ее сознательной форме. Две вещи бросаются ему в глаза, две линии явлений и сопровождающих их чувств видим мы в этих рассказах: героическую решимость протестовать и жесточайшую кару, которая обрушивается за этот протест на рабочих:

«А как убьют? — спрашивают рабочего. — Под грохот канонады?» Тот отвечает: «Убьют — не откажешься... Нас давно убивают, не в диковину».

Рассказы-очерки «На Пресне», «Мертвый на улице» и другие остаются прекрасным памятником тех многознаменательных дней.

Проникнутый уважением к рабочему, Серафимович накопляет тем большее презрение к празднoболтающему либералу, к слабодушному меньшевику (рассказ «Мать»). Эти по размерам еще мелкие, но уже очень глубокие произведения подводят Серафимовича к большому полотну — «Город в степи». Это — роман, достойный Бальзака. Перед нами громадный организм города, возникшего около железной до-

роги и по-американски растущего так, что меняется не только его облик, но и характер его жителей и взаимоотношений. Процесс капиталистического набухания города, процесс расслоения его на классы показан на десятках людей, из которых каждый представляет собой замечательный тип. Роман чрезвычайно богат содержанием. Его социологические выводы бьют далеко. Вместе с тем он читается с захватывающим вниманием. На каждой странице читатель найдет нечто поучительное и для нашего времени.

Пришла революция, пришел окончательный переход Серафимовича на ее службу. Во время гражданской войны Серафимович работает больше всего как революционный корреспондент с театра военных действий, отчасти из тыла.

Вся серия в широком смысле слова батальных произведений Серафимовича собрана в томе «В дыму орудий». К этому тому Серафимович приложил свои комментарии. Они заслуживают большого внимания. Автор пишет в них:

«У меня был опыт «военного корреспондента», но корреспондировать в буржуазную газету — это одно, а в пролетарскую — совсем другое. Я, можно сказать, был пионером, бродил ощупью. Но как-то инстинктивно осмысливал, что самое главное и важное — быть ближе к правде. Читателю-пролетарию не нужно никакого приукрашательства. Нужно, чтобы он вполне поверил корреспонденту. Тогда затраченная энергия не пропадает даром. Я ставил себе чисто утилитарные цели. Нужно было, чтобы из моей работы получился определенный результат».

Вот почему Серафимович как корреспондент не бил «на чувство, на психологию». Он говорит:

«Прежнее романтизирование театра войны было неуместно, тон моих корреспонденций был деловой. В империалистическую войну можно было более медлительно обрабатывать материал и давать образы.

В гражданскую же войну некогда было. Нужен был практический подход».

Из этих слов автора можно как бы сделать вывод, что его корреспонденции с театра гражданской войны менее художественны, менее обработаны, чем корреспонденции с театра войны империалистической. Однако это вовсе не верно. Простота тона, отсутствие украшений, стремление к деловитости сказались также и художественно большим плюсом.

Что мы находим в образцовых произведениях Серафимовича, написанных среди тягот похода, часто в условиях невероятно тяжелых? Прежде всего необыкновенную серьезность автора; вдумчивыми, зоркими глазами смотрит он на эти лица, на эти черты, слушает эти слова, пропускает через себя чувства суровые, простые, героические. Но и за этим серьезным и скупым, но верным, как хорошая гравюра, изображением стоят определенные чувства, крепко сросшиеся с идеей: идея — чувство, трепетное участие в этом деле, желание победы, желание содействовать, помочь.

Самым большим произведением Серафимовича, написанным на службе революции, является «Железный поток». Я уже говорил о том, каково значение этого произведения в смысле самоутверждения пролетарской литературы. Но это формальное значение может быть великим только в силу глубокой значительности произведения по существу. Хотя «Железный поток» стратегически есть отступление (его даже сравнивали с «Анабазисом» Ксенофонта — отступление 10 тысяч греков из Малой Азии), но политически это наступление. Отступление шло среди боев, среди страшных бедствий, среди огромного напряжения сил, среди возникших эпидемий, сомнений и протестов, вызванных чрезмерными, почти нечеловеческими усилиями. Все это нужно было побеждать. Целью отступления было, во-первых, спасти жизнь колонны, во-вторых, привести ее на соединение с главными силами, социалистическими силами Красной Москвы.

Именно этот характер повести придает ей значение прообраза.

Составленная из мелкого люда, казацкой и крестьянской бедноты, колонна крепнет в боях. Путь ее поистине тернист: она внутренне, социально-психологически несет в себе полярные процессы: с одной стороны, мы видим людей, готовых отпасть, усталых, озлобленных, отчаивающихся; с другой стороны, какие-то иные силы колонны оказываются мощно центростремительными, преодолевают все препятствия, чтобы победить, дойти!

Так наша страна, как гигантская колонна, тоже в огромном большинстве по составу своему пестрая, крепнет, идя через неслыханные трудности, потому что она сознает в себе железную волю вождей, которые в состоянии побудить и принудить ее к действию и в то же время поддержать, обнадежить, руководить, организовать.

Вот почему, помимо своих огромных непосредственных художественных достоинств, помимо яркого реалистического описания этого непомерного похода через горы и бои, «Железный поток» близок сердцу каждого из нас, ибо, повторяю, он есть прообраз всего великого наступления, которое мы ведем уже второй десяток лет и которое так часто делало нас свидетелями явлений, близких к изображенным Серафимовичем.

IV

Несколько слов о методах Серафимовича как художника.

Серафимович — убежденнейший реалист. Он говорит в одном месте:

«Я твердо усвоил, что романтизм противоестествен. То, что не соответствует правде, меня в литературе всегда отвращало».

Действительно, правдивость — это сила Серафимовича. Его правдивость, однако, особенная. Он говорит:

«Я всегда боялся что-нибудь подсказать читателю, я хотел, чтобы мои образы, как зубами, схватили его и привели к должным выводам».

Как видите, Серафимович одновременно чуждается тенденциозности, чуждается белых и красных ниток в своем произведении, но в то же время прекрасно сознает, что образы должны убедительно приводить к определенным выводам.

Но для этого нужно соответствующим образом распределить наблюденный материал, сделать его выпуклее, значительнее, выдвинуть на первый план то, что важнее для цели, поставленной себе автором. Это делает Серафимовича представителем социалистического реализма. Он не фотограф, он проповедник, но проповедует он образами.

Проповедует он и тем, что показывает ужасы жизни, ужасы нищеты, ужасы подневольного труда, ужасы забитости женщины, ужасы невежества, мещанского лицемерия и т. д. и т. д. Временами Серафимович так ярко изображает эти ужасы, что его больно читать. Но это нужно, это «страшное» в жизни приковывает читателя, как голова Медузы.

Серафимович совсем не похож на таких реалистов-полуромантиков, как Флобер или Мопассан в его романах. Он

показывает ужасы не для того, чтобы поделиться своим унынием, и не для того, чтобы растворить этот страх в совершенстве передающих его образов. Нет. Серафимович полон любви. Он полон надежды. Без этих двух чувств нет социалистического реализма.

Чем он беспощаднее обрисовывает уродство людей, чем более отвратительны их поступки, вытекающие из их жизни и положения, чем более они раздавлены, чем более свирепы кары, низвергающие их и заставляющие протестсвать, тем сильнее звучит в глубине вера в возможность исхода и тем громче слышится биение сердца, полного симпатии к страдающему люду.

Серафимовичу повезло — он дожил до социалистической революции, он узнал ее, он пришел к ней. Вот почему поздние его произведения озарены солнцем революции. Отблеск этого солнца пышно и богато лег на весь путь Серафимовича, пройденный им тяжелой и размеренной поступью. Все те литературные памятники, которые построил Серафимович вдоль этого пути, навсегда останутся в русской литературе и, что еще важней, в пролетарской литературе.

А. В. Луначарский

1933

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК

I

В неоглядно знойных облаках пыли, задыхаясь, потонули станичные сады, улицы, хаты, плетни, и лишь остро выглядывают верхушки пирамидальных тополей.

Отовсюду многоголосо несется говор, гул, собачий лай, лошадиное ржанье, лязг железа, детский плач, густая матерная брань, бабьи переклики, охриплые забубенные песни под пьяную гармонику. Как будто громадный невиданный улей, потерявший матку, разноголосо-растерянно гудит нестройным больным гудом.

Эта безграничная горячая муть поглотила и степь до самых ветряков на кургане,— и там несмолкаемо-тысячеголосое царство.

Только пенисто-клокочущую реку холодной горной воды, что кипуче несется за станицей, не в силах покрыть удушливые облака. Вдали за рекой синеющими громадами загораживают полнеба горы.

Удивленно плавают в сверкающем зное, прислушиваясь, рыжие степные разбойники-коршуны, поворачивая кривые носы, и ничего не могут разобрать — не было еще такого.

Не то это ярмарка. Но отчего же нигде ни палаток, ни торговцев, ни наваленных товаров?

Не то — табор переселенцев. Но откуда же тут орудия, зарядные ящики, двуколки, составленные винтовки?

Не то — армия. Но почему же со всех сторон плачут дети; на винтовках сохнут пеленки; к орудиям подвешены люльки; молодайки кормят грудью; вместе с артиллерийскими лошадьми жуют сено коровы, и загорелые бабы, девки подвешивают котелки с пшеном и салом над пахуче-дымящимися кизяками?

Смутно, неясно, запыленно, нестройно; перепутано гамом, шумом, невероятной разноголосицей.

В станице только казачки, старухи, дети. Казаков ни одного, как провалились. Казачки поглядывают в хатах в оконца на Содом и Гоморру, разлившиеся по широким, закутанным облаками пыли улицам и переулкам:

— Щоб вам повылазило!

II

Выделяясь из коровьего мычанья, горластого петушиного крика, людского говора, разносятся то обветренные, хриплые, то крепкие степные звонкие голоса:

— Товарищи, на митинг!..

— На собрание!..

— Гей, собирайся, ребята!..

— До громады!

— До витряков!

Вместе с медленно остывающим солнцем медленно садится горячая пыль, и во всю громадную вышину открываются пирамидальные тополя.

Сколько глаз хватает, проступили сады, белеют хаты, и все улицы и все переулки от края до края заставлены повозками, арбами, двуколками, лошадьми, коровами,— и в садах и за садами, до самых ветряков, что на степном кургане растопыривают во все стороны длинные перепончатые пальцы.

А вокруг ветряков с возрастающим гомоном все шире растекается людское море, неохватимо теряясь пятнами бронзовых лиц. Седобородые старики, бабы с измученными лицами, веселые глаза дивчат; ребятишки шныряют между ногами; собаки, торопливо дыша, дергают высунутыми языками,— и все это тонет в громадной, все заливающей массе солдат. Лохмато-воинственные папахи, измызганные фуражки, войлочные горские шляпы с обвисшими краями. В рваных гимнастерках, в вылинявших ситцевых рубахах, в черкесках, а иные до пояса голые, и по бронзово-мускулистому телу накрест пулеметные ленты. Нестройно, как попало, глядят во все стороны над головами темно-вороненые штыки. Потемнелые от старости ветряки с удивлением смотрят: никогда не было такого.

На кургане возле ветряков собрались полковники, батальонные, ротные, начальники штаба. Кто же эти полковники, батальонные, ротные? Есть дослужившиеся до офицера солдаты царской армии, есть парикмахеры, бондари, столяры, матросы, рыбаки из городов и станиц. Все это начальники маленьких красных отрядов, которые они организовали на своей улице, в своей станице, в своем хуторе, в своем поселке. Есть и кадровые офицеры, примкнувшие к революции.

Командир полка Воробьев, с аршинными усами, косая сажень, взобрался на заскрипевший под ним поворотный брус с колесом на конце, и его голос зычно прозвучал толпе:

— Товарищи!

Какой же он крохотный, этот голос, перед тысячами бронзовых лиц, перед тысячами устремленных глаз. Около столпился весь остальной командный состав.

— Товарищи!..

— Пошел к черту!..

— Долой!..

— К бисовой матери!

— Ня ннадо...

— Начальник, мать вашу!..

— Али в погонах не ходил?!

— Та вин давно сризав их...

— Чего гавкаешь?..

— Бей его, разэтак их!

Неохватимое человеческое море взмыло лесом рук. Да разве можно разобрать, кто что кричал!

У ветряка стоит низкий, весь тяжело сбитый, точно из свинца, со сцепленными четырехугольными челюстями. Из-под низко срезанных бровей, как два шила, посверкивают маленькие, ничего не упускающие глазки, серые глазки. Тень от него лежит короткая — голову ей оттаптывают кругом ногами.

А с бруса с большими усами, надсаживаясь, зычно кричит:

— Да подождите, выслушайте!.. Надо же обсудить положение...

— Пошел к такой матери!

Шум, ругань потопили его одинокий голос.

Среди моря рук, среди моря голосов поднялась исхудалая, длинная, сожженная солнцем и работой, горем,

костлявая бабья рука, и замученный бабий голос заметался:

— И слухать не будемо, и не вякай, стерьво ты конячее... А-а! Корова була та дви пары быкив, та хата, та самовар — де воно всэ?

И опять исступленно забушевало над толпой,— каждый кричал свое, не слушая.

— Да я б теперъ с хлебом был, коли б убрал.

— Сказывали, на Ростов надо пробиваться.

— А почему гимнастерок не выдали? Ни портянок, ни сапог?

А с бруса:

— Так зачем же вы все потянулись, ежели...

Толпу взорвало:

— Через вас же. Вы же, сволочи, завели, вы сманули! Вси дома сидели, хозяйство було, а теперь як неприкаянные по степу шаландаем.

— Знамо, завели,— густо отдались солдатские голоса, темно колыхнувшись штыками.

— Куды жа мы теперь?!

— До Екатеринодара.

— Та там кадеты.

— Никуды податься...

У ветряка стоит с железными челюстями и тоненько смотрит острыми, как шило, серыми глазками.

Тогда над толпой непоправимо проносится:

— Прода-али!

Этот голос услышался во всех концах, а которые и не расслышали, так догадались, среди повозок, колыбелей, лошадей, костров, зарядных ящиков. Судорога побежала по толпе, и стало тесно дышать. Высоко метнулся истерический бабий голос, но кричала не баба, а маленький солдатик с птичьим носом, голый до пояса, в огромных, не по нем, сапогах.

— Торгуют нашим братом, як дохлою скотиною!..

Из толпы, на целую голову выше ее, расталкивая локтями, молча к ветрякам пробирается с неотразимо красивым лицом, с едва пробивающимися черненькими усиками, в матросской шапочке, и две ленточки бьются сзади по длинной загорелой шее. Он продирается, не спуская глаз с кучки командиров, зажимая в руках злобно сверкающую винтовку.

«Ну... шабаш!»

Человек с железными челюстями еще больше их стянул. С тоской оглядел бушевавшее человеческое море до самых краев: черно кричащие рты, темно-красные лица, и из-под бровей искрятся злобно кричащие глаза.

«Где жена?..»

В матросской шапочке с прыгающими ленточками был уже недалеко, все так же сжимая винтовку, не спуская глаз, как будто боялся потерять из виду, упустить, и так же расталкивая густо зажимавшую его толпу, в шуме и криках шатавшуюся в разные стороны.

Человеку с стянутыми челюстями особенно горько: ведь с ними плечо в плечо дрался пулеметчиком на турецком фронте. Моря крови... Тысячи смертей над головой... Последние месяцы вместе дрались против кадетов, казаков, генералов: Ейск, Темрюк, Тамань, кубанские станицы...

Он разжал челюсти и сказал железно-мягким голосом, но в шуме и гуле было всюду слышно:

— Меня, товарищи, вы знаете. Вмистях кровь проливали. Сами выбрали в командиры. А теперь, колы так будэ, все ведь пропадем. Козачье с кадетами со всих сторон навалилось. Одного часа упускать нельзя.

Он говорил с украинским говором, и это подкупало.

— Та хиба ж ты погонов не носил?! — пронзительно закричал голый до пояса, маленький.

— Чи я их искал, погоны? Сами знаете, дрался на фронте, начальство и привесило. Разве ж я не ваш? Разве ж однаково не нес хребтом бедность та работу, як вол?.. Не пахал с вами, не сиял?..

— Що правда, то правда,— загудело в мечущемся шуме,— наш!

Высокий, в матроске, наконец, выдрался из толпы, в два скачка очутился около и, все так же молча, не спуская глаз, изо всей силы размахнулся штыком, задев кого-то сзади прикладом. Человек с железными челюстями не сделал ни малейшей попытки отклониться, лишь судорога, похожая на улыбку, дернула мгновенно пожелтевшие, как кожа, черты.

Сбоку, нагнув, как бычок, голову, изо всей силы поддал плечом низенький, голый под локоть матросу:

— Та цю тебе!

И размахнувшийся штык, сбитый в сторону, вместо человека с стянутыми челюстями по самую шейку вбе-

жал в живот стоявшему рядом молоденькому батальонному. Тот шумно, точно вырвавшийся пар, выдыхнул и повалился на спину. Высокий остервенело старался выдернуть застрявшее в позвоночнике острие.

Ротный, с безусым, девичьим лицом, ухватился за крыло ветряка и покарабкался вверх. Крыло со скрипом опустилось, и он опять очутился на земле. Остальные, кроме человека с четырехугольными челюстями, вынули револьверы,— и на изуродованных бледных лицах тоска.

Из толпы к ветряку выдиралось еще несколько человек с безумно разинутыми глазами, судорожно зажимая винтовки.

— Собакам собачья смерть!

— Бей их! Не оставляй для приплоду!..

Внезапно все смолкло. Все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону.

По степи, стелясь к самому жнивью, вытягиваясь в нитку, скакал вороной, а на нем седок в красно-пестрой рубахе навалился грудью и головой на лошадиную гриву, спустив по обеим сторонам руки. Ближе, ближе... Видно, как изо всех сил рвется обезумевшая лошадь. Бешено отстает пыль. Хлопьями пены белоснежно занесена грудь. Потные бока взмылились. А седок, все так же уронив на гриву голову, шатается в такт скоку.

В степи опять зачернелось.

По толпе побежало:

— Другий скаче!

— Бачьте, як поспишае...

Вороной доскакал, храпя и роняя белые клочья, и сразу перед толпой осел, покатившись на задние ноги; всадник в полосато-красной рубахе, как куль, перевернулся через лошадиную голову и глухо плюхнулся о землю, раскинув руки и неестественно подогнув голову.

Одни кинулись к упавшему, другие к вздыбившейся лошади, черные бока которой были липко-красны.

— Та це Охрим! — закричали подбежавшие, бережно расправляя стынущего. На плече и груди кроваво разинулась сеченая рана, а на спине черное запекшееся пятнышко.

А уж по всей толпе, за ветряками и между повозками, по улицам и переулкам бежало непотухающей тревогой:

— Охрима порубалы козаки!..

— Ой, лишенько мени!..

— Якого Охрима?

— Тю, сказывся, не знаешь! Та с Павловской. Понад балкою хата.

Подскакал второй. Лицо, потная рубаха, руки, босые ноги, порты — все было в пятнах крови,— своей или чужой? А глаза круглые. Он спрыгнул с шатающейся лошади и бросился к лежащему, по лицу которого неотвратимо потекла прозрачно восковая желтизна и по глазам ползали мухи.

— Охрим!

Потом быстро стал на четвереньки, приложил ухо к залитой кровью груди и сейчас же поднялся и стоял над ним, опустив голову:

— Сынку... сыне мий!..

— Вмер,— сдержанным гулом отозвалось вокруг.

Тот опять постоял и вдруг хрипуче закричал навек простуженным голосом, который отдался у самых крайних хат, среди повозок:

— Славянская станица пиднялась, и Полтавская, и Петровская, и Стиблиевская. И за́раз поперед церкви на площади в кажной станице виселицу громадят, всих вишают подряд, тильки б до рук попался. В Стиблиевскую пришли кадеты, шашками рубают, вишают, стреляют, конями в Кубань загоняют. До иногородних нэма жалости,— стариков, старух — всих под одно. Воны кажуть, вси болшевики. Старик Опанас, бахчевник, хата его противу Явдохи Перепе(/)речицы...

— Знаемо! — загудело коротким гулом.

— ...просил, в ногах валялся,— повисили. Оружия у них тьма. Бабы, ребятишки день и ночь копают на огородах, в садах из земли винтовки, пулеметы, тягают из скирдов цилии ящики со снарядами, с патронами,— всего наволокли с турецкого фронту, нэма ни коньца ни краю. Орудия мают. Чисто сказылись. Як пожар. Вся Кубань пылае. Нашего брата в армии дуже мучуть, так и висять по деревьях. Которые отряды отдельно в разных мистах пробиваются, хто на Екатеринодар, хто до моря, хто на Ростов, да вси ложатся пид шашками.

Опять постоял над мертвецом, сронив голову.

И в недвижимой тишине все глаза глядели на него.

Он пошатнулся, хватаясь впустую руками, потом схватил уздечку и стал садиться на все так же носив-

шую потными боками лошадь, судорожно выворачивавшую в торопливом дыхании кровавые ноздри.

— Куды? Чи с глузду зъихав?! Павло!..

— Стой!.. Куды?! Назад!..

— Держить ёго!..

А уже топот пошел по степи, удаляясь. Во все плечо ударил плетью, и лошадь, покорно вытянув мокрую шею, прижав уши, пошла карьером. Тени ветряков косо и длинно погнались за ним через всю степь.

— Пропадэ ни за грош.

— Та у него семейства там осталась. А тут сын, вишь, лежить.

С железными челюстями разжал их и, тяжело ворочая, медлительно заговорил:

— Видали?

И толпа мрачно:

— Не слепые.

— Слыхали?

Мрачно:

— Слыхали.

А железные челюсти неумолимо перемалывали:

— Нам, товарищи, теперь нэма куды податься: спереду, сзаду — всэ смерть. Энти вон,— он кивнул на порозовевшие казачьи хаты, на бесчисленные сады, на громадные тополя, от которых длинно легли косые тени,— може, сегодняшнюю ночь кинутся нас ризать, а у нас ни одного часового, ни одного дозора, некому распорядиться. Надо отступать. Куда? Прежде надо перестроить армию. Выберите начальников, но только раз, а потом они будут над жизнью и смертью вольны — дисциплина шоб железная, тогда спасение. Пробьемось к нашим главным силам, а там и из России руку подадут. Согласны?

— Согласны! — дружным взрывом охнула степь, и между повозками по улицам и переулкам, и между садов, и по всей станице до самого до края, до самой до реки.

— Так добре. Зараз выбирать. А потом сейчас переформировать части. Обоз отделить от строевых частей. Командиров распределить по частям.

— Согласны! — опять дружно отдалось в бескрайной, узко-желтеющей степи.

В передних рядах стояла благообразная борода. Без особенных усилий густым, слегка хриповатым голосом он покрыл всех:

— Та куды мы идэмо? Чого шукаты?.. Это ж разорение: всэ бросилы — и скотину и хозяйство.

Будто камень кто кинул — расступилась, зашаталась, зашумела толпа, и пошло кругами:

— А тебе куды? назад? шоб перебилы всих?..

А благообразная борода:

— Зачем бить, як сами придэмо, оружие сдадим,— не звери ж воны. Вон моркушинские сдались, пятьдесят чоловик, и оружие выдалы, винтовки, патроны, козаки волоса не тронулы, и посейчас пашуть.

— Та це кулачьё ж и сдалось.

Загудело, замелькало над головами, над разгоряченными лицами:

— Та ты понюхай черного кобеля пид хвост.

— Нас без слов вишать начнуть.

— Кому пахать-то пийдемо?! — закричали тонкими голосами бабы.— Опять же козакам та ахвицерам.

— Чи опять в хомут?

— Пид козачий кнут?.. пид ахвицеров та генералов!..

— Уходи, бисова душа, поки цел.

— Бей его! Свои продают...

А борода:

— Та вы послухайте... що ж лаетесь, як кобели?..

— Та и слухать нэма чого. Одно слово—хферт!

Возбужденные, красные лица оборачивались друг к другу, злобно блестели глаза, над головами мотались кулаки. Кого-то били. Кого-то гнали по шее в станицу.

— Помолчите, граждане!

— Та постойте... куды вы меня!.. Що я вам дался, чи сноп, чи що?

С железными челюстями разжал их:

— Товарищи, бросьте,— треба делом заниматься. Выбрать командующего, а уж он остальных сам назначит. Кого выбираете?

Секунду неподвижное молчание: степь, и станица, и бесчисленная толпа — все замерло. Потом поднялся лес мозолистых, заскорузлых рук, и по степи до самых краев, и в станице вдоль бесконечных садов, и за рекой грянуло одно имя:

— Кожу-ха-а-а!..

И покатилось, и долго еще под самыми под синеющими горами стояло:

— ...а-а-а-а!..

Кожух сомкнул каменные челюсти, сделал под козырек, и видно было, как под скулами играли желваки. Подошел к мертвецам, снял грязную соломенную шляпу. И, как ветром, поднялись все шапки, обнажились все головы, сколько их тут ни было, а бабы всхлипнули. Кожух, опустив голову, постоял над мертвыми:

— Похороним наших товарищей со всеми почестями. Подымайте.

Разостлали две шинели. К батальонному, у которого на груди по гимнастерке кровавилось широкое застывшее пятно, подошел высокий красавец в матросской шапочке,— по шее спускались ленточки,— молча нагнулся, осторожно, точно боясь сделать больно, поднял. Подняли и Охрима. Понесли.

Толпа расступалась, потом свертывалась и текла бесконечным потоком с обнаженными головами. И за каждым неотступно шла длинная косая тень, и идущие ее топтали.

Молодой голос запел мягко, печально:

Вы жер-тво-ю па-а-ли в борь-бе-е ро-ко-вой...

Стали присоединяться другие голоса, грубые и неумелые, невпопад, розня и перевирая слова, и нестройно и разноголосо, кто куда попало, но все шире расплывалось:

...люб-ви без-за-ве-е-етной к на-ро-о-ду...

Разноголосо, невпопад, но отчего же впивается тонкая печаль, которая странно вяжется в одно и с одинокой смутно-задумчивой степью, и с старыми почернелыми ветряками, и с высокими, чуть тронутыми позолотой тополями, и с белыми хатами, мимо которых идут, и с бесконечными садами, мимо которых несут,— как будто здесь все родное, близкое, будто здесь родились, тут и умирать.

И засинели густою вечерней синевой горы.

Баба Горпина, та самая, которая подняла среди леса рук и свою костлявую руку, вытирает захлюстанным подолом красные глаза, мокрые, набитые пылью морщинки и шепчет, всхлипывая и неустанно крестясь:

— Святый боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас... святый боже, святый крепкий...— и горько сморкается в тот же подол.

Дружно идут солдаты, размашистым шагом, с замкнутыми лицами, насунутыми бровями, и стройно колыхаются рядами темные штыки.

...вы отда-а-ли все, что мог-ли, за не-е-го...

Задремавшая на ночь пыль опять вечерне подымается ленивыми клубами, все заволакивая.

И ничего не видно, только слышен густой гул шагов, да —

...святый крепкий, святый бессмертный...—
...из-ны-ва-ли... в тюрь-мах сы-рых...

Потемневшие на покой ночи траурные громады гор загораживают первые робкие звезды.

Вот и кресты. Одни упали, другие покосились. Тянутся пустыри, поросшие кустами. Мягко пролетела сова. Беззвучно запорхали нетопыри. Иногда смутно забелеет мрамор, пробьется сквозь вечернюю мглу золото надписей,— памятники над богатеями казаками, торговцами, памятники над крепкой хозяйской жизнью, над нерушимым укладом,— а над ними идут и поют:

...па-дет про-из-вол, и вос-ста-нет народ...

Вырыли рядом две могилы. Тут же торопливо сколачивали смутно белевшие свежим пахучим тесом гробы. Положили покойников.

Кожух встал на свеженасыпанную землю с обнаженной головой:

— Товарищи! Я хочу сказать... погибли наши товарищи. Да... мы должны отдать им честь... они погибли за нас... Да, я хочу сказать... С чого ж воны погибли?.. Товарищи, я хочу сказать, Советская Россия не погибла, она будэ стоять до скончания вика. Мы тут, товарищи, я хочу сказать, зажаты, а там — Россия, Москва, Россия возьмет свое. Товарищи, в России, я хочу сказать, рабоче-крестьянская власть... От этого всё образуется. На нас идут кадеты, то есть, я хочу сказать, генералы, помещики и всякие капиталисты, одним словом, я хочу сказать, живодеры, сволочь! Но мы им не дадимся, мать их так, да! Мы им покажем. Товарищи, э-э... мм... я хочу сказать, засыпем наших товарищей и поклянемся на их могилах, постоим за советску власть...

Стали опускать. Баба Горпина, зажимая рот, начала всхлипывать, тихонько, по-щенячьи повизгивая, потом заголосила; за ней другая, третья. Все кладбище заметалось бабьими голосами. И каждая старалась протолкнуться, нагнуться, черпнуть рукой земли и кинуть в могилу. Земля глухо сыпалась.

Кожуха на ухо спросили:

— Сколько патронов дать?

— Штук двенадцать.

— Жидко будет.

— Знаешь, патронов нет. Каждую штуку приходится беречь.

Рванул негустой залп, другой, третий. Мгновенно, раз за разом ярко выхватывались лица, кресты, быстро работавшие лопаты.

И когда смолкло, все вдруг почувствовали: стоит ночь, тишина, пахнет теплой пылью, и немолчный шум воды нагоняет дрему, не то смутные воспоминания,— не вспомнишь о чем, а за рекой, на краю, далеко протянувшись, лежит тяжелыми изломами густая чернота гор.

III

Ночные оконца черно смотрят в темноту, и в их неподвижности зловещая затаенность.

От жестяной, без стекла, лампочки на табурете бежит к потолку, торопливо колеблясь, черный траур. Густо накурено. На полу фантастический ковер с бесчисленными знаками, линиями, зелеными, синими пятнами, черными извивами — громадная карта Кавказа.

В распоясанных рубахах, босые, осторожно ползают по ней на четвереньках — командный состав. Одни курят, стараясь не уронить на карту пепел; другие, не отрываясь, все лазят по ней. Кожух с сжатыми челюстями сидит на корточках, смотрит мимо крохотными светлоколючими глазками, а на лице — свое. Все тонет в сизом табачном дыму.

В черноту окошечек, ни на секунду не смолкая, накатывается полный угрозы шум реки, который днем забывается.

Осторожно, полушепотом, хотя из этой и из соседних хат все выселены, перекидываются:

— Мы все тут пропадем: ни один боевой приказ не выполняется. Разве не видите?..

— С солдатами ничего не поделаешь.

— Так и они все подло пропадут — всех казаки изрубят.

— Гром не грянет, мужик не перекрестится.

— Какой черт — не грянет, коли кругом пожаром все пылает.

— Ну, пойди, расскажи им.

— А я говорю — Новороссийск надо занять и там отсиживаться.

— О Новороссийске не может быть и речи,— сказал в чисто вымытой подпоясанной рубахе, гладко выбритый,— у меня донесение товарища Скорняка. Там невылазная каша: там и немцы, и турки, и меньшевики, и эсеры, и кадеты, и наш ревком. И все митингуют, без конца обсуждают, толкаются с собрания на собрание, вырабатывают тысячи планов спасения,— и все это переливание из пустого в порожнее. Ввести армию туда — значит, окончательно ее разложить.

В непотухающем шуме реки явственно отпечатался выстрел. Он был далекий, но сразу ночные оконца своей таящей неподвижностью и чернотой сказали: «Вот... начинается...»

Все внутренне напряженно вслушивались, а внешне, не выпуская папирос и отчаянно дымя, продолжали ездить пальцами по изученной до последней черточки карте.

Но, сколько ни езди, было все то же: налево, не пуская, синеет синей краской море; направо и кверху пестреет множество враждебных надписей станиц и хуторов; книзу, на юге, рыже-желтой краской загораживают дорогу непроходимые горы,— как в западне.

Огромным табором стоят вот у этой черной извивающейся по карте реки, шум которой все время вкатывается в черные окошечки. А в помеченных всюду на карте балках, в камышах, лесах, степях, в хуторах и станицах собираются казаки. До сих пор еще кое-как подавляли порознь восставшие станицы, хутора, а теперь пылает в восстании вся громада Кубани. Советская власть всюду сметена; представители ее по хуторам, по станицам изрублены, и, как кресты на кладбище, всюду густо стоят виселицы: вешают большевиков, а их боль-

ше всего среди иногородних, но есть и казаки-большевики; те и другие болтаются на виселицах. Куда же отступать? Где спасение?

— Ясно дело, на Тихорецкую пробираться, а там — на Святой Крест, а там — в Россию уйдем...

— Умная голова — Святой Крест! Как же ты до него доберешься через всю восставшую Кубань, без патронов, без снарядов?

— А я говорю, к главным силам пробиваться...

— Да где они, главные-то силы? Ты эстафету получил, что ли? Так скажи нам.

— Я говорю, Новороссийск занять и отсиживаться, пока из России не подойдет помощь.

Они говорят, а за словами у каждого стоит:

«Если б мне поручили все дело, я бы отличный план составил и всех бы спас...»

Снова зловеще, покрывая ночной шум реки, раздался далекий выстрел; немного погодя сдвоило, потом еще раз, да вдруг посыпало из решета — и смолкло.

Все повернули головы к неподвижно черным оконцам.

Не то за стенкой очень близко, не то на чердаке заорал петух.

— Товарищ Приходько,— разжал челюсти Кожух,— пойдите, узнайте там.

Молодой невысокий кубанский казак, с красивым, слегка прихваченным оспой лицом, в тонко перетянутом бешмете, вышел, осторожно ступая босыми ногами.

— А я говорю...

— Извините, товарищ, совершенно недопустимо...— перебивает гладко выбритый, спокойно стоя и глядя на них сверху: все это — выбившиеся на войне в офицеры солдаты из крестьян, либо бондари, столяры, парикмахеры, а он—с военным образованием и давнишний революционер,— совершенно недопустимо вести армию в таком состоянии, это значит — погубить ее: не армия, а митингующий сброд. Необходимо реорганизовать. Кроме того, десятки тысяч беженских повозок совершенно связывают по рукам и ногам. Их необходимо оторвать от армии — пусть идут, куда хотят, или возвращаются домой; армия должна быть совершенно свободна и не связана. Пишите приказ: «Остаемся в станице на два дня для реорганизации...»

Он говорил, и слова заслоняли ход и язык мысли: «У меня широкие знания, соединение теории с практикой, глубоко историческое изучение военного дела,— почему же он, а не я? Толпа слепа, и всегда толпа...»

— Чого ж вы захотели? — голосом ржавого железа заговорил Кожух.— У кажного солдата в обозе мать, отец, невеста, семейство,— та разве ж он покинет их? Коли будемо сидеть тут, дождемся — вырежут до одного. Идтить надо, идтить и идтить! На ходу переформируемся. Надо скорее мимо города, не останавливаться, а идтить берегом моря. Дойдем до Туапсе, там по шоссе перевалим через главный хребет и соединимся с главными силами. Они далеко не ушли. А тут кажный день смерть обступает.

Тогда все разом заговорили, и у каждого был отличный для него и никуда не годный для других проект.

Кожух поднялся, заиграл железными желваками и, тоненько покалывая крохотными глазками отлива серой стали, сказал:

— Завтра выступать... с рассветом.

И думал: «Не выполнят, сволочи!..»

Все нехотя замолчали, и за этим молчанием стояло: «Дураку закон не писан».

IV

Когда Приходько вышел, шум воды вырос, наполняя всю темноту. У дверей на черной земле темный и низкий пулемет. Возле две темные фигуры с темными штыками.

Приходько идет, присматриваясь. Небо сплошь загорожено теплыми невидимыми тучами. Далеко собаки лают в разных концах, упорно, без устали, на разные голоса. Замолчат, послушают: шумит река, и опять — упорно, надоедливо.

Смутно белеющими пятнами проступают неугадываемые хаты. На улице черно наворочено; присмотришься — повозки; густо несется храп и заливистое сонное дыхание и из-под повозок и с повозок — везде навалены люди. Высоко чернеет посреди улицы: тополь— не тополь и не колокольня; присмотришься — оглобля поднята. Мерно и звучно жуют лошади, вздыхают коровы.

Алексей осторожно шагает через людей, освещая на

секунду папиросой. Мирно и тихо, а чего-то ждешь, далекого выстрела, что ли, и чтоб опять сдвоило?

— Хто идет?

— Свой.

— Хто идет... тудды тебе!

Слабо различимые, легли на руки два штыка.

— Командир роты,— и, нагнувшись, шепотом: — «Лафет».

— Верно.

— Отзыв?

Солдат, щекотно влезая жесткими усами в ухо, хриповато шепчет:

— «Коновязь»,— и из-под усов густо расплывается винный дух.

Он идет, и опять черно-неразличимые повозки, звучно жующие лошади, сонное дыхание, ни на минуту не прерывающийся шум воды, упорный, надсадистый собачий лай. Осторожно переступает через руки, ноги. Кое-где под повозками незаснувший говорок — солдаты с женами; а под плетнями — тайный смех, задавленные взвизги — с любезными.

«Спохватились-таки, да и то пьяные, канальи. Все вино у казаков небось вылакали. Да это что ж: пей, да ума не пропивай... Как это казаки не вырезали нас до сих пор? Дурачьё!»

Забелелось... не то узкая хата, не то блеснул в темноте белизной холст.

«Да и сейчас не поздно: на брата с десяток патронов наберется, нет ли, на орудие десятка полтора снарядов, а у них всего...»

Белое шевельнулось.

— Ты, Анка?

— А, ты чего по ночам блукаешь?

Темная, должно быть вороная, лошадь жует наваленное в оглоблях сено... Он стал свертывать другую папиросу. Она, держась за повозку, почесала босую ногу о ногу. Под повозкой разостланная полсть, и слышится здоровенный храп — отец спит.

— Долго мы будем прохлаждаться?

— Скоро,— и пыхнул папиросой.

Озаренно проступил кусок его носа, коричнево-табачные концы пальцев, искорки в глазах девушки, крепко выбегающая из белой рубахи шея, монисто, потом

опять — мгновенная тьма, уродливые очертания повозок; коровы вздыхают, жуют лошади, и шумит река. Отчего не слыхать выстрела?

«Взять да жениться на ней...»

И сейчас же, как это всегда бывало, проступает тоненькая, как стебелек, шейка незнаемой девушки, голубые глаза, нежное голубовато-сквозное платье... Гимназию кончила... И даже не жена, а невеста... девушка, которую он никогда не видал, но которая где-то есть.

— Я, если козаки до нас приступят, заколюсь.

Она полезла за пазуху, вытащила оттуда тускло поблескивавшее.

— Во — острый... попробуй.

Ти-ли-ли-ли...

Странный ночной удаляющийся голос, тонко хватающий за душу, только не детский плач; должно быть, филин.

— Ну, надо уходить, нечего тут валандаться...

И никак не отдерет ног, приросли. И, чтобы отодрать их, думает:

«Как корова, почесалась ногой за ухом...»

Но это не помогает, и он стоит, затягивается, — и опять мгновенно из тьмы кусок носа, пальцы, крепкая девичья шея с ямочкой, монисто и молодая грудь, облитая белой, с вышивкой рубахой... снова тьма, шум реки, людское дыхание.

Лицо близко около ее глаз. Иглы, кольнув, разбежались, он берет за локоть.

— Анка!

От него пахнет табаком, молодым, здоровым телом.

— Анка, пойдем до садов, посидим...

Она уперлась обеими руками ему в грудь, рванулась так, что он пошатнулся, наступая сзади кому-то на ноги, на руки. Белое торопливо мелькнуло в заскрипевшую повозку, покатился подмывающий смешок, и угомонилось; а баба Горпина подняла голову с подушки, села в повозке и отчаянно заскреблась.

— У-у, полуношница!.. И коли тоби угомон возьме? Хтось такий?

— Я, бабо.

— А-а, Алешенька. Це ты? Не спизнала. Що таке буде, солодкий мий? Ой, горя-несчастя выпьемо. Чуе

мое сердце. Як выизжалы, перше кошка дорогу перебигла, така здорова та брюхата, а писля того — заяц як стрикане, боже ж ты мий милосердный! Що ж таке балшавики думають: усе добро оставилы. Як замуж мене за старика отдавалы, мамо и каже: от тоби самовар, береги ёго, як свой глаз; будешь помирать, шоб дитям твоим и внукам. Як Анку буду выдавать, ей отдам. А теперь усе бросилы, худобу усю бросилы. Що балшавики думають? И що буде совитска власть робиты? Та нэхай ция власть подохне, як пропадэ мий самовар! На три дня, казалы, выизжайте, через три дня усе на место стане, а от уж цилу недилю блукаем, як неприкаянные. Яка ж вона совитска власть, як не може ничого для нас робиты? Кобелю власть. Геть козаки пиднялись, як оглашеннии. Жалко наших, Охрима тай того... молоденький такий. О, боже ж мий милий!..

Баба Горпина все скребет себя, и, когда замолчала, забывшаяся река напомнила о себе: шумит, наполняя всю громаду ночи.

— Э-э, бабо, що скулить,— с того добра нэ будэ.

Опять пыхнул папиросой, думая о своем: не то с ротой остаться, не то при штабе. Где же и когда встретит голубые глаза, тоненькую шейку?

Но баба уж не угомонится. Как тень, за нею долгая жизнь,— трудно. Два сына на турецком фронте легли; два тут в армии под ружьем. Старик под повозкой храпит, а эта сорока тыхесенько притулилась, должно, спит, да разве ее узнаешь? Ой, трудно! Жилы все повытягала за свою долгую жизнь — шестой десяток пошел. И старик, и сыновья — хребтина трещала от работы. А на кого работали? На козаков та на ихних генералов, ахвицеров. У них вся земля, а иногородний, как собака... Ой, лишенько! Так и работали, глядя в землю, як быки. Утром, вечером, каждый день царя в молитвах поминала,— родителей, потом царя, потом детей, потом всех православных христиан. А он — не царь, а кобель серый, его и спихнули. Ох, лишенько, аж поджилки затряслись, страшно стало, как услыхала, что царя спихнули. А потом так и надо — кобель и кобель.

— Блох нонче сила.

И баба опять зачухалась. Потом глянула в темноту,— шумит река,— покрестилась:

— Должно, утро скоро.

Прилегла, да не спится, вся жизнь стоит, как тень над человеком, и никуда не уйдешь,— стоит, молчит, как нету ее, а сама вся тут...

— Балшавики в бога не верють. Шо ж, мабуть, знають, свое делають: пришлы, усе сразу як поваляли. Ахвицера, помещики утеклы швидко. От козаки и озверинилысь... Дай им, господи, здоровья, даром шо в бога не верють. Опять же свои, не басурманы... Як бы пораньше объявилысь, не було б цией проклятой войны, живы були б мои сыночки. У Туретчине сплять... И откуда ции балшавики взялысь? Кажуть, у Москви народилысь, а которы кажуть, у Германии,— германьский царь породил та на Россию наслав. А воны, як приихалы, в одно горло: землю и землю людям, щоб над той землей робилы на себе, а не на козаков. Хорошии чоловики, тильки чого воны мий само... спл... сплять... сы... сыно... доб... добра... кошка... ди... ты...

Задремала старая, уронила голову,— должно быть, заря скоро.

У каждого свое. Под повозкой, придвинутой к самому плетню, как будто горлинка воркует. И откуда бы горлинке ночью ворковать под повозкой у плетня, ворковать и делать гулюшки и пускать пузыри маленьким ротиком? «Вввв-ва» и «уа-вва-ва...» Но, должно быть, кому-то это сладко, и милый грудной материнский молодой голос тоже воркует:

— Та що ж ты, мое квиточко, мий цвиточек? Та покушай ще. Ну, нá, нá! Та шо ж ты нэ берэшь? От як мы умием — головой верть, та языком геть мамкину сиську.

И она смеется таким заразительно-счастливым смехом, что кругом посветлело. Не видать, но, наверное, черные брови и мутные серебряные серьги в маленьких ушах.

— Не хочешь? Що ж ты, мое шишечко? Ой, якии сердитый! Як мамкину сиську тискае рученятками. А ноготки, як бумага папиросна... Дай поцелую кажный пальчик: раз! та ще два! та три!.. О-о, яки велики пузыри пускае! Великий чоловик будэ. А мамка будэ старенька, тай беззуба, а сын скаже: «Ну, старá, садись

до стола, буду тебе кашей тай саламатой годуваты». Степан, Степан, та що ж ты спишь? Та проснись, сын гуляе...

— Постой!.. фу-у... не трожь, пусти... спать хо́чу...

— Та, Степане, проснись же, сын гуляе. Який же ты неповоротливый! От я тоби сына кладу. Таскай ёго, сынку, за нос та за губу,— от так! от так!.. Батько твий не нагуляв ще бороды соби и усив, так ты ёго за губу, за губу таскай.

А в темноте сначала заспанный, а потом такой же радостно улыбающийся голос:

— Ну, ложись, ложись, сынку, до мене, нечего тоби с бабой возиться, будемо мужыковаты. Зараз на войну пидемо, а там работать с тобой у паре будемо, землю годуваты... Э-э, та що ж ты пид мене моря пущаешь?

А мать смеется неизъяснимо-радостным, звенящим смехом.

Приходько идет, осторожно шагая через ноги, дышла, хомуты, мешки, временами освещая папиросой.

Уже все замолкло. Всюду темно. И даже под повозкой у плетня тихо. Собаки молчат. Только река шумит, но и ее шум присмирел, куда-то отодвинулся, и громадный сон мерным дыханием покрывает десятки тысяч людей.

Приходько шагает, уже не ждет вздваивающихся выстрелов; слипаются глаза; чуть начинают угадываться неровные края гор.

«А ведь на самой на заре и нападают...»

Пошел, доложил Кожуху, потом разыскал в темноте повозку, влез, и она заскрипела и закачалась. Хотел думать... о чем, бишь?! Завел слипающиеся глаза и стал сладко засыпать.

V

Звон железа, лязг, треск, крики... Та-та-та...

— Куды?! куды?! постой!..

Что это пылает во все небо: пожар или заря?

— Первая рота, бего-ом!

Черные полчища грачей без конца мелькают по красному небу с оглушительным криком.

Всюду в предрассветной серости надеваемые хомуты, вскидываются дуги. Беженцы, обозные, роняя оглобли, задевают друг друга, неистово ругаются...

...бумм! бумм!..

...лихорадочно запрягают, цепляются осями, секут лошадей, и с треском, с гибелью, с отлетающими колесами безумно несутся по мосту, поминутно закупоривая.

...тра-та-та-та... бумм... бумм!..

Утки несутся в степь на кормежку. Отчаянно голосят бабы...

...та-та-та-та...

Артиллеристы лихорадочно прихватывают к валькам постромки.

С выпученными глазами, в одной коротенькой гимнастерке, без штанов, мелькает волосатыми ногами солдатик, волоча две винтовки, и кричит:

— Иде наша рота?.. иде наша рота?..

А за ним, истошно голося, простоволосая расхристанная баба:

— Василь!.. та Василь!.. та Василь!..

Та-та-трра-та-та!.. бумм!.. бумм!..

Вон уже началось: в конце станицы над хатами, над деревьями быстро поднимаются клубящимися громадами столбы дыма. Ревет скотина.

Да разве кончилась ночь? Разве только что не была разлита темнота, и сонное дыхание десятков тысяч, и неумирающий шум реки, и разве не лежали на краю невидимой чернотой горы?

А теперь они не черные и не голубые, а розовые. И, заслоняя их, заслоняя померкший шум реки, грохот, треск, скрип подымающихся обозов, раскатывается, наполняя холодком сжимающееся сердце: ррр... трра-та-та-та...

Но все это кажется маленьким, ничтожным, когда из расколотого воздуха вываливается сотрясающий грохот: бба-бах!!.

...Кожух сидит перед хатой. Лицо спокойно-желтое,— как будто кто-то собирается уезжать по железной дороге, и все суетятся, спешат; а вот уйдет поезд, и опять все будет тихо, спокойно, обыкновенно. Поминутно к нему прибегают или скачут на взмыленной лошади с донесениями. Около наготове адъютант и ординарцы.

Выше подымается солнце, нестерпимо раскатывается ружейная и пулеметная трескотня.

А у него на все донесения одно:

— Берегти патроны, берегти, як свой глаз; расходовать только в самом крайнем случае. Подпускать близко, и в атаку. Не допускать до садов, до садов не допускать! Возьмите две роты из первого полка, отбейте ветряки, поставьте пулеметы.

К нему со всех сторон бегут с тревожными донесениями, а он все такой же спокойно-желтый, лишь желваки перекатываются на щеках, и кто-то, сидя внутри, весело приговаривает: «Дóбре, хлопьята, дóбре!..» Может быть, через час, через полчаса казаки ворвутся и будут всех наповал рубить! Да, он это знает, но он и видит, как послушно и гибко рота за ротой, батальон за батальоном выполняют приказания, как яростно дерутся те батальоны и роты, которые еще вчера анархически орали песни, в грош не ставили и командиров и его и лишь пили да возились с бабами; видит, как точно приводят в исполнение все его распоряжения командиры, те самые командиры, которые еще этой ночью так дружно презрительно помыкали им.

Привели солдата, захваченного и отпущенного казаками. У него отрезаны нос, уши, язык, обрублены пальцы, и на груди его же кровью написано: «С вами со всеми то же будет, мать вашу...»

«Дóбре, хлопьята, дóбре...»

Яростно наседают казаки.

Но когда прибежали из тыла и, задыхаясь, сказали: «Там, перед мостом, идет бой...» — он пожелтел, как лимон,— идет бой промеж обозных и беженцев...— Кожух бросился туда.

Перед мостом— свалка: рубят топорами друг у друга колеса, возят друг дружку кнутами, кольями... Рев, крик, бабий смертный вой, детский визг... На мосту громадный затор, сцепившиеся осями повозки, запутавшиеся в постромках, храпящие лошади, зажатые люди, в ужасе орущие дети. Тра-та-та...— из-за садов... Ни взад, ни вперед.

— Сто-ой!.. стой!..— хрипучим, с железным лязгом, голосом ревел Кожух, но и сам себя не слышал. Выстрелил в ухо ближайшей лошади.

На него кинулись с кольями.

— Га-а, бисова душа! Животину портить!.. Бей его!!.

Кожух с адъютантом, с двумя солдатами отступал, прижатый к реке, а над ними гудели колья.

— Пулемет...— прохрипел Кожух.

Адъютант, как вьюн, скользнул под повозки, под лошадиные пуза. Через минуту подкатили пулемет, и прибежал взвод солдат.

Мужики заревели, как раненые быки:

— Бей их, христопродавцев! — и стали кольями выбивать винтовки из рук.

Солдаты отбивались прикладами — не стрелять же в отцов, матерей и жен.

Кожух прыгнул, как дикий кот, к пулемету, заложил ленту и: та-та-та... веером поверх голов, и ветер смерти с пением зашевелил волосы. Мужики отхлынули. А по-за садами по-прежнему: та-та-та...

Кожух перестал стрелять и, надсаживаясь, стал выкрикивать трехэтажные матерные ругательства. Это сразу успокоило. Приказал повозки на мосту, которые нельзя было расцепить, скинуть в реку. Мужики повиновались. Мост расчистили. Перед мостом стал взвод с винтовками на руку, а адъютант стал пропускать по очереди.

Повозки неслись вскачь через мост по три в ряд; бежали, мотая рогами, привязанные коровы; отчаянно визжа и натягивая веревки, карьером неслись свиньи, и грохотал настил моста, прыгали доски, как клавиши, и в грохоте тонул шум реки.

Солнце все выше. Расплавленным блеском нестерпимо играет вода.

За рекой широчайшей полосой несутся обозы, теряясь в облаках пыли, все больше и больше пустеют площади, улицы, переулки, вся станица.

Огромной, поминутно вспыхивающей выстрелами дугой охватили казаки станицу, упираясь концами в реку. Всё ýже дуга, всё теснее в ней станице, садам, обозам, которые непрерывно сыплются через мост. Бьются солдаты, отстаивают каждую пядь, бьются за своих детей, отцов, матерей, берегут каждый патрон, редко стреляют, но каждый выстрел родит казачьих сирот, слезы и плач в казачьих семьях.

Остервенело наваливаются казаки, близко, совсем близко мелькает их цепь, уже заняли окраину садов,

мелькают из-за деревьев, из-за плетней, из-за кустов. Залегли, шагов с десяток, между цепями. Стихло,— берегут солдаты патроны: караулят друг друга. Крутят носами: чуют — несет из казачьей цепи густым сивушным перегаром. Завистливо тянут раздувшиеся ноздри:

— Нажрались, собаки... Эх, кабы достать!..

И вдруг не то возбужденно-радостный, не то по-звериному злобный голос из казачьей цепи:

— Бачь! та це ж ты, Хвомка!!. Ах, ты, ммать ттвою крый, боже!..

И сейчас же из-за дерева воззрился говяжьими глазами молодой гололицый казачишка, весь вылез, хоть стреляй в него.

А из солдатской цепи также весь вылез такой же гололицый Хвомка:

— Це ты, Ванька?! Ах, ты, ммать ттвою, байстрюк скаженний!..

Из одной станицы, с одной улицы, и хаты рядом под громадными вербами. А утром, как скотину гнать, матери сойдутся у плетня и калякают. Давно ли мальчишками носились вместе верхами на хворостинках, ловили раков в сверкающей Кубани, без конца купались. Давно ли вместе спивалы с дивчатами ридны украински писни, вместе шли на службу, вместе, окруженные рвущимися в дыму осколками, смертельно бились с турками.

А теперь?

А теперь казачишка закричал:

— Шо ж ты тут робишь, лахудра вонюча?! Спизнался с проклятущими балшевиками, бандит голопузый?!

— Хто?! Я бандит?! А ты що ж, куркуль поганый... Батько твий мало драл с народу шкуру с живово и с мертвово... И ты такий же павук!..

— Хто?! Я — павук?! Ось тоби!! — откинул винтовку, размахнулся — рраз!

Сразу у Хвомки нос стал с здоровую грушу. Размахнулся Хвомка — рраз!

— На, собака!

Окривел казак.

Ухватили друг дружку за душу — и ну молотить!

Заревели быками казаки, кинулись с говяжьими глазами в кулаки, и весь сад задохся сивушным духом.

Точно охваченные заразой, выскочили солдаты и пошли работать кулаками, о винтовках помину нет,— как не было их.

Ох, и дрались же!.. В морду, в переносье, в кадык, в челюсть, с выдохом, с хрустом, с гаком — и нестерпимый, неслыханный дотоле матерный рев над ворочавшейся живой кучей.

Казачьи офицеры, командиры солдат, надрываясь от хриплого мата, бегали с револьверами, тщетно стараясь разделить и заставить взяться за оружие, не смея стрелять,— на громадном расстоянии ворочался невиданный человеческий клубок своих и чужих, и несло нестерпимым сивушным перегаром.

— А-а, с...сволочи!..— кричали солдаты.— Нажрались, так вам море по колено... мать, мать, мать!..

— Хиба ж вам, свиньям, цию святую воду травить... мать, мать, мать!..— кричали казаки.

И опять кидались. Исступленно зажимали в горячих объятиях — носы раздавливали, и опять без конца били кулаками, куда и как попало. Дикая, остервенелая ненависть не позволяла ничего иметь между собой и врагом, хотелось мять, душить, жать, чувствовать непосредственно под ударом своего кулака хлюпающую кровью морду врага, и все покрывала густая — не продыхнешь — матерная ругань и такой же густой, непереносный водочный дух.

Час, другой... всё — исступленный мордобой, всё — исступленный матерный рёв. Никто не заметил — стало темно.

Два солдата долго в темноте старательно лупили друг друга, кряхтя, матюкая, да на минутку оторвались, всмотрелись друг в друга.

— Це ты, Опанас?! Та що ж ты, мать твою в душу, лупишь мене, як сноп на току!

— Ты, Миколка? А я думав — козак. Що ж ты, утроба поганая, усю морду мени расковыряв, що я тоби сдався, чи казенный, чи що?

Отирая кровавые лица, переругиваясь, медленно отходят в цепь и в темноте ищут свои винтовки.

А рядом два казака, долго крякая, возили друг друга кулаками, по очереди сидели друг на друге верхом, потом вгляделись:

— Та що ж ты на мени ездишь, туды и растуды тебе, як на старом мерине?!

— Це ты, ты, Гараська?! Та що ж ты не кричав? Тильки матюкается, як скаженний, а я думав — солдат.

И, вытирая кровь, пошли в казачий тыл. Смолкла наконец подлая матерная ругань, и стало слышно: шумит река да бесконечно барабанит досками мост — нескончаемо катятся обозы, да чуть багрово шевелятся края черных туч от догорающего пожара. Вдоль садов залегла цепь солдат, а кругом в степи — казачья цепь. Молчали, перевязывая вспухшие, в фонарях, рожи. Все тарахтит мост, шумит река. Перед самым утром станицу очистили. Последний эскадрон перешел, стуча по настилу, и мост запылал, а вслед уходящим со всей станицы посыпались залпы, затрещали пулеметы.

VI

По станичным улицам идут с песнями, мотая длиннополыми перетянутыми черкесками, казаки, пластунские батальоны; на лохматых черных папахах белеют ленточки. А лица изукрашены: у одного глаз сине-багрово заплыл; у другого вместо носа кровавый бугор; вздулась щека; как подушки, губошлепые губы,— ни одного казака, чтоб у него не глядели с лица самые густые фонари.

Но идут весело, густо, и над вздымающейся взрывами из-под ног пылью — рубленым железом марш в такт дружно отдающемуся в земле шагу:

Як не всхо-ти-лы,
за-бун-то-ва-лы...

густо, сильно, отдаваясь в садах, за садами, в степи, над станицей:

...тай у-те-ря-лы Вкра-и-ину!

Каза́чки встречают, высматривают каждая своего,— бросается радостно или вдруг заломит руки, заголосит, покрывая песни, а старая мать забьется, вырывая седые волосы, и понесут ее дюжие руки в хату.

...за-бун-то-ва-лы...

Бегут казачата... Сколько их! И откуда только они повылезли, ведь не видать было все время; бегут и кричат:

— Батько!.. батько!..

— Дядько Микола!.. дядько Микола!..

— А у нас красные бычка зъилы.

— А я одному с самострела глаз вышиб,— он пьяный в саду спал.

На месте прежнего по улицам, по переулкам раскинулся другой и, видно, свой лагерь. Уже задымились по всем дворам летние кухоньки. Суетятся казáчки. Пригнали откуда-то из степи спрятанных коров; привезли птицу; идет и варево и жарево.

А на реке жаркая своя работа — в обгонку стучат топоры, заглушая даже шум реки, летит во все стороны, сверкая на солнце, белая щепа,— рвутся казаки, наводят мост вместо сгоревшего, чтоб поспеть нагнать врага.

А в станице — свое. Идет формирование новых казачьих частей. Офицеры с записными книжками. Прямо на улице за столами писаря составляют списки. Идет перекличка.

Казаки поглядывают на похаживающих офицеров,— поблескивают на солнце погоны. А давно ли, каких-нибудь шесть-семь месяцев назад, было совсем другое: на площадях, на станичных улицах, по переулкам кровавым мясом валялись вот такие же офицеры с сорванными погонами. А по хуторам, в степях, по балкам ловили прятавшихся, привозили в станицу, беспощадно били, вешали, и они висели по нескольку дней, чтоб воронъё растаскивало.

И началось это около году назад, когда на турецкий фронт докатился пожар, полыхавший в России.

Кто такое?! Что такое?..

Ничего неизвестно. Только объявились неведомые большевики, и — точно у всех с глаз бельма слизнуло — вдруг все увидали то, что века не видали, но века чувствовали: офицерьё, генералитет, заседателей, атаманов, великую чиновную рать и нестерпимую военную службу, дотла разорявшую. Каждый казак должен был на свой счет справлять сыновей на службу: а три, четыре сына — каждому купить лошадь, седло, обмундирование, оружие,— вот и разорился двор. Мужик же приходит на призыв голый: всё дадут, оденут с головы до ног.

И казацкая масса постепенно беднела, разорялась и расслоялась: слой богатого казачества всплывал, креп, обрастал, остальные понемногу тонули.

Нестерпимо, ослепительно глядит крохотное солнце на весь развернувшийся под ним край. Марево трепещет знойным трепетанием.

А люди говорят:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край...

Слепящий блеск играет в плоскодонном море. Чуть приметно набегают стекловидные зеленые морщины, лениво моют прибрежные пески. Рыба кишмя кишит.

Рядом другое море — бездонно-голубое, и до дна, до самого дна отражается опрокинутая синева. Бесчисленно дробится нестерпимое сверкание — больно смотреть. Далеко по голубому дымят пароходы, черно протянув тающие хвосты,— за хлебом идут, гроши везут.

А от моря густо-синею громадой громоздятся горы; верхи завалены первозданными снегами, глубоко залегли в них голубые морщины.

В бесконечных горных лесах, в ущельях, в низинах и долинах, на плоскогорьях и по хребтам — всякой птицы, всякого зверя, даже такого, которого уже нигде не сыщешь во всем свете,— зубр.

В утробе диких громад, размытых, загроможденных, навороченных — и медь, и серебро, и цинк, и свинец, и ртуть, и графит, и цемент, и чего-чего только нет,— а нефть, как черная кровь, сочится по всем трещинам, и в ручьях, в реках тонко играют радугой расплывающиеся маслянистые пленки и пахнут керосином...

«Найкращий край...»

А от гор, а от морей потянулись степи, потянулись степи и потеряли границы и пределы.

«Та нэма ж им конца, и краю нэма!..»

Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над болотами. Белыми пятнами белеют станицы, хутора, села в неоглядной густоте садов, и остро вознеслись над ними в горячее небо пирамидальные тополя, а на знойно трепещущих курганах растопырили крылья серые ветряки.

По степи сереют отары неподвижно уткнувшихся друг в друга овец; густо колышется над ними с гудением миллионно-кишащее царство оводов, мошкары, комаров.

Лениво по колено отражается в зеркале степных вод красный скот. Тянутся к балкам, мотая головами, лошадиные косяки.

А над всем — изнеможенно звенящий, неумирающий зной.

На бегущих по дороге в запряжке лошадях соломенные шляпы — иначе падают от смертельно-пристального взгляда крохотного солнца. И люди, неосторожно обнажившие голову, пораженные, с внезапно побагровевшим лицом, валятся на обжигающую пыль дороги, стеклеют глаза... Тонко звенящий, всюду трепещущий зной.

Когда запряженный тремя, четырьмя парами крутоcrогих быков тяжелый плуг режет в бескрайной степи борозду, отбеленный лемех отваливает такую жирную, маслянистую землю, что не земля, а намазал бы, как черное масло, да ел. И сколько вглубь ни забирай тяжелым плугом, как ни взрезывай отбеленным лемехом,— все равно до мертвой глины не доберешься, все равно сияющая сталь отворачивает нетронутые, девственные, единственные в мире пласты — чернозем — местами до сажени.

И какая же сила, какая же нечеловечески родящая сила! Заткнет в землю, балуясь, мальчишка валяющуюся жердь — глядь, побеги выбросила, глядь, уже дерево шатром ветки раскинуло. А виноград, арбузы, дыни, груши, абрикосы, помидоры, баклажаны,— да разве перечесть! И всё — громадное, невиданное, противоестественное.

Заклубятся облака в горах, поползут над степями, польют дожди, напьется жадная земля, а потом начинает работать безумное солнце — и засыпается страна невиданным урожаем:

— Та нэма ж края найкращего, як цей край!

Кто же хозяева этого чудесного края?

Кубанские казаки — хозяева этого чудесного края. И есть у них работники, народ-работник, и столько же его, сколько самих казаков; и так же поют украинские песни и говорят родным украинским языком.

Братья родные два народа,— и те и другие пришли с милой Украины.

Не пришли казаки — пригнала их царица Катька полтораста лет назад; разрушила вольную Запорожскую Сечь и пригнала сюда; пожаловала им этот дикий тогда,

страшный край. От ее пожалования плакали запорожцы кровавыми слезами, тоскуя по Украине. Повылезали из болот, из камышей скрюченные пожелтевшие лихорадки, впились в казаков, не щадили ни старого, ни малого, много выпили народу. В острые кинжалы да в меткие пули приняли невольных пришельцев черкесы,— кровавыми слезами плакали запорожские казаки, поминали родную Сечь и день и ночь бились с желтыми лихорадками, с черкесами, с дикой землей,—нечем было поднять ее вековых, не тронутых человеком залежей.

А теперь... теперь:

— Та нэма ж края найкращего, як наш край!

А теперь все зарятся на этот край, как чаша переполненный невиданными богатствами. Потянулись гонимые нуждой из Харьковской губернии, из Полтавской, из Екатеринославской, с Киевщины, потянулись голь и беднота со скарбом, с детьми, расселились по станицам и щелкают, как голодные волки, зубами на чудесную землю.

— На-кось! съешь фигу,— землю захотели!

И стали батраками переселенцы у казаков, дали им имя «иногородние». Всячески теснили их казаки, не пускали их детей в казацкие народные школы, драли с них по две шкуры за каждую пядь земли под их хатами, садами, за аренду земли, взвалили на них все станичные расходы и с глубоким презрением называли их: «бисовы души», «чига гостропуза», «хамсел» (то есть хамом сел на казацкую землю).

А иногородние, упорные, как железо, без своей земли поневоле бросающиеся на всякие ремесла, на промышленную деятельность, изворотливые, тянущиеся к знанию, к культуре, к школе,— платят казакам тою же монетой: «куркуль» (кулак), «каклук», «пугач»... Так горит взаимная ненависть и презрение, а царское правительство, генералы, офицеры, помещики радостно раздувают эту звериную вражду.

Прекрасный край, дымящийся, как горькой желчью, едкой злобой, ненавистью и презрением.

Но не все казаки, не все иногородние так относятся друг к другу. Выбившиеся из нищеты, выбившиеся из нужды сметкой, упорством, железным трудом иногородние в почете у богатых казаков. Держат они мельницы на откупу, много держат казацкой земли в аренде, дер-

жат батраков из своей же иногородней бедноты, и лежат у них в банках деньги, ведут торговлю хлебом. Уважают их те казаки, у которых дома под железными крышами и амбары ломятся от хлеба,— ворон ворону глаз не выклюет.

Отчего это с гиком и посвистом скачут по улицам казаки в черкесках, заломив папахи, скачут взад и вперед, раскидывая лошадиными копытами глубокую мартовскую грязь, и блестят выстрелы в весеннее синее небо? Праздник, что ли? И колокола, надрываясь, мечут веселый синий звон по станицам, по хуторам, по селам. А люди в праздничной одежде, и казаки, и иногородние, и дивчата, и подростки, и седые старики, и старухи с завалившимся ртом — все, все на весенних праздничных улицах.

Уж не пасха ли? Да нет же, не поповский праздник! Человечий праздник, первый праздник за века. За века, сколько земля стоит, первый праздник.

Долой войну!..

Казаки обнимают друг друга, обнимают иногородних, иногородние — казаков. Уже нет казаков, нет иногородних — есть только граждане. Нет «куркулей», нет «бисовых душ» — есть граждане.

Долой войну!..

В феврале согнали царя, в октябре что-то произошло в далекой России; никто толком не знал, что произошло, одно только врезалось в сердце:

Долой войну!..

Врезалось и было безумно понятно.

И повалили полки за полками с турецкого фронта. Повалила казацкая конница, шли плотно батальоны пластунов-кубанцев, шли иногородние пехотные полки, погромыхивала конная артиллерия,—и всё это непрерывающимся потоком к себе на Кубань, в родные станицы, со всем оружием, с припасами, с военным снаряжением, с обозами. А по дороге разбивали водочные заводы, склады, опивались, тонули, горели живьем в выпущенном море спирта, уцелевшие валили к себе в станицы и хутора.

А на Кубани уж советская власть. А на Кубань уж налетели рабочие из городов, матросы с потопленных

кораблей, и от них всё вдруг стало ясно, отчетливо: помещики, буржуи, атаманы, царское разжигание ненависти между казаками и иногородними, между всеми народами Кавказа. И пошли лететь головы с офицеров, и полезли они в мешки и в воду.

А пахать надо, а сеять надо, а солнце, чудесное южное солнце, разгоралось на урожай всё больше и больше.

— Ну, як же ж нам пахаты? Треба землю делить, а то время упустишь,— сказали иногородние казакам.

— Землю вам?! — сказали казаки и потемнели.

Стала меркнуть радость революции.

— Землю вам, злыдни?!

И перестали бить своих офицеров, генералов, и поползли они изо всех щелей, и на тайных казацких сборищах стучали себе в грудь и говорили зажигательно:

— У большевиков постановлено: отобрать у козаков всю землю и отдать иногородним, а козаков повернуть в батраки. Несогласных — высылать в Сибирь, а все имущество отбирать и передавать иногородним.

Потемнела Кубань, тайно низом пополз загорающийся пожар по степям, по оврагам, по камышам, по задворкам станиц и хуторов.

— Та нэма найкращего края, як наш край!

И опять стали казаки — «куркули», «каклуки», «пугачи».

— Та нэма ж найкращего края, як цей край!

И опять стали иногородние — «бисовы души», «хамселы», «чига гостропуза».

Заварилась каша веселая в марте восемнадцатого года; стали расхлебывать ее, до слез горячую, в августе, когда в этом крае еще знойно солнце и видимо-невидимо ходят облака горячей пыли.

Не потечь Кубани вспять в гору, не воротить старого; не козыряют казаки офицерам, а когда и в зубы им заглядывают, помнят, как ездили те на них, и они делали из офицерья кровавое мясо. Но к речам офицерским теперь прислушиваются и приказания их исполняют.

Звенят топоры, летит белая щепа, приткнулся мост в другой берег. Быстро и гулко переходит его конница, пластуны; спешат нагнать уходящего красного врага казаки.

VII

Скрипят обозы, идут солдаты, поматывают руками. У этого — заплыли глаза. У этого нос здоровенной сливой. У этого запеклись скулы,— ни одного нет, чтобы не синели фонари. Идут, поматывают руками и весело рассказывают:

— Я его у самую у сапатку я-ак кокну,— он так ноги и задрав.

— А я сгреб, зажал голову промеж ног и давай молотить по ж... а он, сволочь, ка-ак тяпнет за...

— Го-го-го!.. ха-ха-ха!..— зареготали ряды.

— Як же ж ты до жинки теперь?

Весело рассказывают, и никак никто не вспомнит, как же это случилось, что вместо того, чтоб колоть и убивать, они в диком восторге упоения лупили по морде один другого кулаками.

Ведут четырех захваченных в станице казаков и допрашивают их на ходу. У них померкшие глаза, лица в синяках, кровоподтеках, и это сближает с солдатами.

— Що ж вы, кобылятины вам у зад, вздумали по морде? Чи у вас оружия нэма?

— Та що ж, як выпилы,— виновато ссутулились казаки.

У солдат заблестели глаза:

— Дэ ж вы узялы?

— Та ахвицеры, як прийшлы до блищей станицы, найшлы у земли закопани в саду двадцать пять бочонкив, мабуть, с Армавиру привезлы наши, як завод с горилкою громилы, тай закопалы. Ахвицеры построилы нас тай кажуть: «Колы возьмете станицу, то горилки дадим». А мы кажем: «Та вы дайте зараз, тоди мы их разнесем, як кур». Ну, воны дали кажному по дви бутылки, мы выпилы,— а йисты не позволилы, щоб дущей забрало. Мы и кинулысь, а винтовки мешають.

— Э-э, ссволочи!! — подскочил солдат.— Як свыньи,— и со всего плеча размахнулся, чтоб в зубы.

Его удержали:

— Посто-ой! Ахвицеры стравилы, а его бьешь?

За поворотом остановились, и казаки стали рыть себе общую могилу.

А бесконечные обозы, вздымая все закрывающие клубы пыли, двигались, скрипя, извиваясь на десятки верст по проселку, и синели впереди горы. В повозках краснели накиданные подушки, торчали грабли, лопаты, кадушки, блестели ослепительно зеркала, самовары, а между подушками, между ворохами одежи, полстей, тряпья виднелись детские головенки, уши кошек, кудахтали в плетеных корзинках куры, на привязи шли сзади коровы, и, высунув языки и торопливо дыша, тащились, держась в тени повозок, лохматые, в репьях, собаки. Скрипели обозы с наваленным на них скарбом—бабы и мужики жадно и впопыхах кидали на телеги все, что попадалось под руки, когда пришлось бежать из своей хаты от восставших казаков.

Не в первый раз так подымались иногородние. Вспышки отдельных казачьих восстаний против советской власти за последнее время уже не раз выгоняли их из насиженных гнезд, но это продолжалось два-три дня; приходили красные войска, водворяли порядок,— и все возвращались назад.

А теперь это тянется слишком долго — вторую неделю. А хлеба захватили всего на несколько дней. И каждый день, каждый день ждут — вот-вот скажут: «Ну, теперь можно возвращаться» — а оно все дальше, все запутаннее; все злее подымаются казаки; отовсюду вести: по станицам стоят виселицы, вешают иногородних. И когда этому будет конец? И что теперь с оставленным хозяйством?

Скрипят телеги, повозки, фургоны; поблескивают на солнце зеркала; качаются между подушек детские головенки; и разношерстными толпами идут солдаты по дороге, по пашням вдоль дороги, по бахчам, с которых начисто, как саранча, снесли все арбузы, дыни, тыквы, подсолнухи. Нет рот, батальонов, полков,— все перемешалось, перепуталось. Идет каждый где и как попало. Одни поют песни, другие спорят, кричат, матюкаются, третьи забрались на повозки и сонно мотают головами во все стороны.

Об опасности, о враге никто не думает. И о командирах никто не думает. Когда пробуют этот текучий поток хоть как-нибудь организовать,— командиров посылают к такой матери и, закинув на плечи винтовки, как дубины, прикладами кверху, раскуривают люльки,

либо орут срамные песни — «это вам не старый прижим».

Кожух тонет в этом непрерывно льющемся потоке, и как сжатая пружина теснит грудь: если навалится казачьё, все лягут под шашками. Одна надежда — глянет смерть, и все, как вчера, дружно и послушно встанут в ряды, только не будет ли поздно? И ему хочется, чтоб скорей тревога.

А в дико шумящем потоке идут и идут демобилизованные из царской армии и мобилизованные советской властью; идут добровольно вступившие в красные войска, в большинстве мелкие ремесленники — бондари, слесаря, лудильщики, столяры, сапожники, парикмахеры, и особенно много рыбаков. Всё это перебивавшиеся с хлеба на квас иногородние, всё это трудовой люд, для которого приход советской власти внезапно приоткрыл краешек над жизнью,— вдруг почуялось, что она может быть и не такой собачьей, как была. Подавляющая масса все-таки крестьянская. Эти поднялись со своих хозяйств почти сплошь. Остались богатеи — офицерство и хозяйственные казаки их не трогали.

Странно поражая глаз, колыхаясь стройными, перетянутыми в черкесках фигурами, едут на добрых конях кубанские казаки,— нет, не враги, а революционные братья, казачья беднота, в большинстве—фронтовики, в сердца которых среди дыма, огня, тысяч смертей революция заронила непотухающую искру.

Эскадрон за эскадроном в мохнатых папахах, на которых красные ленточки. И винтовки за плечами, и сияют черные с серебром кинжалы, шашки,— стройно, в порядке, среди текучего разброда.

Мотают головами добрые кони.

Будут биться с отцами и братьями. Дòма бросили всё: хаты, скотину, домашность,— хозяйство разорено. Едут стройные, ловкие, ало краснеют алые банты, завязанные милой рукой на папахе, и поют молодыми, сильными голосами украинские песни.

Любовно смотрит на них Кожух: «Добре, хлопцы! на вас вся надия». Любовно смотрит, но еще любовнее—на эту бредущую в облаках пыли, как попало, отрепанную, босую иногороднюю орду,—ведь он — кость от кости, плоть от плоти ее.

И неотступно тянется за ним его жизнь длинной косой тенью, которую можно забыть, но от которой нельзя уйти. Самая обыкновенная степная, трудовая, голодная, серая, безграмотная, темная-темная, косая тень. Мать еще молодая, а сама с изрезанным морщинами лицом, как замученная кляча,— куча ребятишек на руках, за подол цепляются. Отец — вековечный казачий батрак, жилы вытянул: да сколько ни бейся, все равно— ни кола ни двора.

Кожух с шести лет — общественный пастушонок. Степь, балки, овцы, лес, коровы, облака бегут, а понизу бегут тени — вот его учеба.

Потом сметливым, расторопным мальчишкой у станичного кулака в лавке,— потихоньку и грамоте выучился; потом в солдаты, война, турецкий фронт... Он— великолепный пулеметчик. В горах забрался с пулеметной командой в тыл туркам, в долину,— турецкий фронт тянулся по хребту. Когда турецкая дивизия, отступая, стала спускаться на него, он заработал пулеметом, стал косить; люди, как трава,— рядами, и побежала на него, дымясь, горячая кровь, и никогда он прежде не думал, что человечья кровь может бежать в полколена,— но это была турецкая кровь и забывалась.

За невиданную храбрость его послали в школу прапорщиков. Как трудно было! Голова лопалась. Но он с бычьим упорством одолевал учебу, и... срезался. Офицеры хохотали над ним, офицеры-воспитатели, офицеры-преподаватели, юнкера: мужик захотел в офицеры! Экая сволочь... мужик... тупая скотина! Ха-ха-ха... в офицеры!

Он их ненавидел молча, стиснув зубы, глядя исподлобья. Его возвратили в полк как неспособного.

Опять шрапнели, тысячи смертей, кровь, стоны, и опять его пулеметы (у него изумительный глаз) режут, и ложится рядами человечья трава. Среди нечеловеческого напряжения, среди смертей, поминутно летающих вокруг головы, не думалось, во имя чего кровь в полколена,— царь, отечество, православная вера? Может быть, но как в тумане. А близко, отчетливо — выбиться в офицеры, выбиться среди стонов, крови, смертей, выбиться, как он выбился из пастушонков в лавочные мальчики. И он — спокойно, с каменными челюстями в безумно рвущихся шрапнелями местах, как у себя

в хозяйстве, за сенокосом, и ложится кругом покошенная трава.

Его во второй раз посылают в школу прапорщиков,— офицеров-то нехватка, в боях всегда офицеров нехватка, а он фактически исполняет обязанности офицера, иногда командуя довольно крупными отрядами, и еще не знал поражения. Ведь для солдат он свой, земляной, такой же хлебороб, как они, и они беззаветно идут за ним, за этим корявым, с каменными челюстями, идут в огонь и в воду. Во имя чего? Царя, отечества, православной веры? Может быть. Но это — как в кровавом тумане, а возле — идти-то надо, идти неизбежно: сзади — расстрел, так веселей идти за ним, за своим, за корявым, за мужиком.

Как трудно, как мучительно трудно! Голова лопается. Куда труднее усвоить десятичные дроби, чем спокойно идти на смерть под пулеметным огнем.

А офицеры покатываются,— офицеры, набившиеся в школу нужно и не нужно,— а больше не нужно: тыл ведь всегда укромное местечко и загроможден спасающимися от фронта, и для спасающихся создаются тысячи ненужных тыловых должностей. Офицеры покатывались: мужик, растопыра, грязная сволочь!.. Как издевались, как резали на ответах, в конце концов вполне правильных,— овладел-таки.

И отослали, и отослали в полк за... неспособностью.

Огневые вспышки орудий, взрывы шрапнелей, бездушное татаканье, кроваво-огненный ураган, «и смерть, и ад со всех сторон», а он как дома — хозяйственный мужичок.

Хозяйственный мужичок тяжело-упрям, как бык, на все наваливается каменной глыбой; недаром — украинец, и череп насунулся на самые глаза — маленькие колючие глаза.

За хозяйственность среди смертной работы его в третий раз, в третий раз посылают в школу.

А офицеры покатываются: опять? Мужик... сволочь... раскоряка!.. И... и отсылают в полк — за неспособностью.

Тогда из штаба раздраженно: выпустить прапорщиком — в офицерах громадная убыль.

Хе-хе! В офицерах громадная убыль,— и в боях, и в бегах в тыл.

Презрительно выпустили прапорщиком. Явился в роту, а на плечах поблескивает,— добился. И радостно и не радостно.

Радостно: добился-таки, добился своего страшной тяжестью, нечеловеческим напором. И не радостно: поблескивавшее на плечах отделило от своих, от близких, от хлеборобов, от солдат,— от солдат отделило, а к офицерам не приблизило: вокруг Кожуха замкнулся пустой круг.

Офицеры вслух не говорили: «мужик», «сволочь», «раскоряка», но на биваках, в столовой, в палатках, всюду, где сходились два-три человека в погонах, вокруг него — пустой круг. Они не говорили словами, но молча говорили глазами, лицом, каждым движением: «сволочь, мужик, вонючая растопыра...»

Он ненавидел их спокойно, каменно, глубоко-запрятанно. Ненавидел. И презирал. И от этой ненависти и от своей отделенности от солдат закрывался холодным бесстрашием среди тысяч смертей.

И вдруг все покачнулось: и горы Армении, и турецкие дивизии, и солдаты, и генералы с изумленно-растерянными лицами, и смолкшие орудия, и мартовские снега на вершинах, точно треснуло пространство и разинулось невиданно-чудовищное,— невиданное, но всегда жившее тайно в тайниках, в глубине; не называемое, но — когда сделалось явным — простое, ясное, неизбежное.

Приехали люди, обыкновенные, с худыми желтыми фабричными лицами, и стали раздирать эту треснувшую расщелину, все шире и шире раскрывая ее. Забила оттуда вековая ненависть, вековая угнетенность, возмутившееся вековое рабство.

Кожух в первый раз пожалел, что на плечах блестит то, чего так каменно добивался: он оказался в одних рядах с врагами рабочих, с врагами мужиков, с врагами солдат.

После докатившихся октябрьских дней с отвращением сорвал и закинул погоны и, подхваченный неудержимо шумящими потоками войск, устремившимися домой, запрятавшись в темный угол, стараясь не показываться, ехал в набитой тряской теплушке. Пьяные солдаты орали песни и охотились на скрывавшихся офицеров,— не доехать бы ему, если б его заметили.

Когда приехал, все валялось кусками, весь старый строй, отношения, а новое было смутно и неясно. Казаки обнимались с иногородними, ловили офицеров и расправлялись.

Как зернышки дрожжей, упали в ликующее население приехавшие с заводов рабочие, привалившие с потопленных кораблей матросы, и Кубань революционно поднялась, как опара. В станицах, в хуторах, в селах — советская власть.

Кожух хотя словами не умел сказать: «Классы, классовая борьба, классовые отношения»,— но глубоко почуял это из уст рабочих, схватил ощущением, чувством. И то, что наполняло его каменной ненавистью,— офицерьё,— теперь оказалось крохотным пустяком пред ощущением, пред этим чувством неизмеримой классовой борьбы,— офицерьё — только жалкие лакеи помещика и буржуя.

А следы добытых когда-то с таким нечеловеческим упорством погонов жгли плечи,— хоть и знали его за своего, а косились.

И так же каменно, с таким же украинским упорством он решил каленым железом, своей кровью, своей жизнью выжечь эти следы и так послужить,— нет, неизмеримо больше послужить громаде бедноты, кость от кости которой он был.

А тут как раз подошло. Беднота искореняла буржуев. А так как под это подходили все, у кого была лишняя пара штанов, то хлопцы ходили по дворам, разбивали у всех сундуки, вытаскивали и делили, тут же напяливая на себя: потому — надо сделать между всеми уравнение.

Заглянули и к Кожуху в его отсутствие, выбрали, какое оказалось, платье, и приехавший Кожух, как был — в рваной гимнастерке, в старой, обвислой соломенной шляпе, в опорках — так и остался, а жена его — в одной юбке. Махнул Кожух рукой, весь переполненный одним ощущением, одной упорной мыслью.

Стали уравнивать хлопцы и казаков, а когда добрались до уравнения земли, закипела Кубань — и советскую власть смахнуло.

И Кожух едет теперь среди скрипа, говора, шума, лошадиного фырканья и бесконечных облаков пыли.

VIII

На последней станции перед горами столпотворение вавилонское: шум, крики, плач, матерная отборная ругань, разрозненные воинские части, отдельные группы солдат, а за станцией выстрелы, крики, смятенье. От времени до времени бухают орудия.

Тут и Кожух со своей колонной и своими беженцами. Подошел и Смолокуров со своей колонной и беженцами. Непрерывно подходят и другие отряды,— тянулись отовсюду, теснимые и гонимые казаками. И на этом последнем клочке сбились десятки тысяч обреченных людей: кадеты и казаки никому не дадут пощады, ни старому, ни малому,— все лягут под шашками, под пулеметами или повиснут на деревьях, либо, сваленные в глубоких оврагах, будут живьем засыпаны камнями и землей.

И в отчаянии уже разносится неоднократно раздававшееся: «Продали... пропили нас командиры!» И когда усилилась орудийная пальба, вдруг вспыхнуло:

— Спасайся, кто может!.. Разбегайся, ребята!

Хлопцы из колонны Кожуха кое-как сдерживали казаков и панику, но — чуялось — не надолго.

Командиры поминутно совещались, но из пустого в порожнее, и никто не знал, что произойдет в следующую минуту.

Кожух заявил:

— Единственное спасение — перевалить горы и по берегу моря усиленными маршами идтить в обход на соединение с нашими главными силами. Я сейчас выступаю.

— Если попробуешь выступить, открою по тебе огонь,— сказал Смолокуров, гигант с черной окладистой бородой, ослепительно сверкая зубами,— надо с честью защищаться, а не бежать.

Через полчаса колонна Кожуха выступила, никто не осмелился ее задержать. И как только выступила — десятки тысяч солдат, беженцев, повозок, животных в панике кинулись следом, теснясь, загромождая шоссе, стараясь обогнать друг друга, сбросить мешающих в канавы.

И поползла в горы бесконечная живая змея.

IX

Шли весь день, шли всю ночь. Пред зарей, не выпрягая, остановились, заняв много верст шоссе. Над перевалом, совсем близко, играли крупные звезды. Неумолчно звенела в ущелье говорливая вода. Всюду мгла и молчание, как будто ни гор, ни лесов, ни обрывов. Только лошади звучно жуют. Не успели завесть глаза — стали меркнуть звезды: проступили дальние лесистые отроги; в ущельях потянули молочные туманы. Опять зашевелились, и поползло на десятки верст шоссе.

Из-за далеких хребтов ослепительно брызнуло выплывающее солнце и длинно погнало по горам голубые тени. Голова колонны выбралась на перевал. Выбралась на перевал, и ахнуло у каждого: неизмеримым провалом обрывается хребет, и, как несбыточный намек, неясно белеет внизу город. А от города, поражая неожиданностью, неохватимой синей стеной подымается море, такой невиданно-огромной стеной, что от ее синей густоты поголубели у всех глаза.

— О, бачь, море!

— А чого ж воно стиной стоить?

— Це придеться лизти через стину.

— А чому, як на берегу стоишь, воно лежить ривно геть до самого краю?

— Хиба ж не чул, як Моисей выводив евреев с египетского рабства, от як мы теперь, море встало стиною, и воны прошли як по суху?

— А нам, мабуть, загородило, не пускае.

— Та це через Гараську, у ёго новые чоботы, так щоб не размочило.

— Треба попа, вин зараз усе смаракуе.

— Положи его, волосатого, соби в портки...

Размашистей идут под гору ряды, веселей мотаются руки, говор и смех разбегаются по рядам, ниже и ниже спускается колонна, и никто не думает о черном гигантском утюге, что зловеще неподвижен, угрюмо дымит, уродуя голубое лицо бухты,— немецкий броненосец. Вокруг него тоненькими черточками — турецкие миноносцы, и от них тоже черные дымки.

А из-за гребня вываливаются все новые и новые ряды весело шагающих солдат, и всех одинаково пора-

жает густая синяя стена до неба, и голубеют глаза, и возбужденно мотаются руки в размашистом спуске по белому петлистому шоссе.

А там и обозы. Потряхивают лошади с насунутыми на уши хомутами. Грациозно рысцой бегут коровы. С визгом несутся на хворостинках ребятишки. Уторопленно поспешают взрослые, поддерживая накатывающиеся повозки. И все вместе, поминутно виляя по петлям направо-налево, весело торопятся навстречу неведомой судьбе.

Сзади поднялся гребень перевала, закрыл полнеба.

Спустившаяся голова, бесконечной змеей обогнув город между бухтой и цементными заводами, далеко втянулась в узкую полосу. С одной стороны к самому берегу придвинулись каменные лысые горы, с другой — сердце ахнуло: такой голубоглазой нежностью пустынно лег морской простор.

Ни дымка, ни белеющего паруса. Только сквозные тающие кружева без конца и меры прозрачно всплывают и исчезают на влажных камнях. И в бездонном молчании, слышимая только сердцем, звучит первозданная песнь.

— Бачь, море опять лягло.

— А ты думав, воно так и буде стиной стоять? То с горы воно обманывало. А то як же ж бы по йому йиздиты?

— Эй, Гараська, теперь пропали твои чоботы, наскрозь промокнуть, як побредешь через море.

А Гараська весело шагает под винтовкой босиком.

Дружный смех катится по рядам, и задние, ничего не слышавшие и не знающие в чем дело, весело регочут.

А мрачный голос:

— Все одно нам теперича никуды не вывернуться: отцеда вода, оттеда горы, а сзади — козаки. И рад свернуть, да некуды. При вперед, больше никаких!

Голова потянулась далеко по узкому берегу, скрылась за морской извилиной, середина бесконечно огибала город, а хвост все еще весело извивался по шоссе, спускавшемуся белыми петлями с хребта.

Немецкий комендант, пребывавший на броненосце, заметил непредусмотренное движение в чужом, но под его кайзеровскими пушками, городе, а это уже беспорядок: отдал распоряжение, чтобы неизвестные люди,

обозы, солдаты, дети, женщины — все это, торопливо уходившее мимо города, чтобы немедленно остановилось и чтобы сдали оружие, запасы, фураж, хлеб и ждали дальнейших распоряжений.

Но пыльная серая змея все так же поспешно уползала; все так же торопливо, иноходью трусили озабоченные коровы; ухватившись за повозки, мелкая ножонками, семенили ребятишки; взрослые молча нахлестывали вытягивавшихся лошадей,— и от рядов шел густой, размашистый, дружный гул, отдававшийся в глубине; клубами всплывала ослепительно белая пыль.

В этот нескончаемый поток с треском, с матерной руганью просоленных морскими ветрами голосов, ломая чужие оси и колеса, стал вливаться из города другой поток груженых повозок. На этих нескончаемых повозках виднелись кряжистые, плотно сбитые, проспиртованные фигуры матросов; синели на белых матросках отложные воротники, полоскались свешивавшиеся с круглых шапочек черно-желтые — полосками — ленточки. Больше тысячи повозок, бричек, дрожек, фаэтонов, колясок влилось в проползавшие обозы, а на них крашеные бабы и тысяч пять матросов, ругающихся самыми солеными матерными ругательствами.

Немецкий комендант подождал и не дождался остановки.

Тогда, вдруг разорвавши голубое спокойствие, ахнуло с броненосца, и пошло ломаться и грохотать по горам, ущельям, будто валились гигантские обломки. А через секунду отдалось в тридесятом царстве, за недвижимо потерявшейся голубой далью.

Над уползающей змеей загадочно и мягко родился белый клубочек, лопнул с тяжелым треском и, медленно относимый, стал таять.

Гнедой мерин, казавшийся ночью вороным, неожиданно вскинулся на дыбы и с размаху грохнулся, ломая оглобли. Человек двадцать бросились к нему, ухватили кто за гриву, кто за хвост, за ноги, за уши, за челку, сразу сволокли с шоссе в канаву, опрокинули туда же и повозку, и громада обоза, ни на секунду не запнувшись, во всю ширину шоссе, повозка в повозку, неудержимо катилась вперед. Горпина и Анка с плачем выхватили, что попалось под руку, с опрокинутой повозки, рассовали по чужим и пошли пешком, а старик то-

ропливо срезал дрожащими руками шлею и стаскивал хомут с мертвой лошади.

Второй раз с броненосца ослепительно блеснуло громадным языком, опять грохнуло в городе, покатилось в горах, через секунду глухо отозвалось за морской гладью; опять родился в сверкающей голубой высоте снежный комочек, в разных местах со стоном попадали люди, а на повозке, на руках у молодки, с черными бровями и серьгами в ушах, торопливо сосавший грудь ребенок обмяк, отвалились ручонки, и губки, холодея, раскрылись, выпустив сосок.

Она закричала диким, звериным голосом. К ней кинулись, она не давалась, злобно вырываясь и суя в холодеющий ротик грудь, из которой белыми каплями капало молоко. Маленькое личико с полузаведенными глазками погасало, наливаясь желтизной.

А змея все ползла, все ползла, огибая город. Высоко на перевале, под самым солнцем, показались люди, лошади. Они были крохотны, едва различимы — меньше ноготка. Что-то делали, отчаянно суетились около лошадей, а потом вдруг замерли.

И тотчас же там ахнуло раз за разом четыре раза, и пошло ломаться и перекатываться по горам, а внизу, по сторонам шоссе, в разных местах в воздухе стали торопливо рождаться белые комочки и лопаться сначала высоко, потом все ниже и ниже, все ближе к шоссе, и то там, то тут стали падать со стоном люди, лошади, коровы. Людей, не слушая их стонов, быстро клали на повозки, лошадей и скотину сволакивали в сторону, и змея ползла и ползла, не размыкаясь,— повозка в повозку.

Кайзеровский комендант обиделся. Женщин, детей он мог расстреливать — этого требовал поря́док, но другие этого не смели делать без его, коменданта, разрешения. Длинный хобот орудия на броненосце поднялся и ахнул огромным языком. Высоко над голубой бездной, над обозом, над горами полетело, торопливо удаляясь: клы-клы-клы... и грохнуло там, у перевала, где были крохотные, с ноготок, люди, лошади, орудия. Люди там опять засуетились. Четырехорудийная батарея очередь за очередью стала посылать коменданту, и уже над «Гебеном» стали рождаться в голубом воздухе белые комочки. «Гебен» сердито замолчал. Из трубы его

густо повалили громадные черные клубы. Угрюмо двинулся, медленно вышел из голубой бухты в густую синеву моря, повернулся, и...

...потрясающе взорвало море и небо. Морская синева померкла. Под ногами с нечеловеческой силой содрогнулось: мучительно отдалось в груди, в мозгу; в домах распахнулись окна, двери, и все на минуту оглохли.

У перевала, не пробиваемая солнцем, подымалась нечеловеческая громада, траурно-зеленоватая, медленно клубясь. И в ядовитых парах ее кучки уцелевших казаков озверело секли плетьми смертельно рвавшихся карьером в гору лошадей с оставшимся орудием и через минуту пропали за гребнем. И все стояла зеленовато-траурная громада, медленно-медленно расплываясь.

От нечеловеческого сотрясения расселась земля, раскрылись могилы: по всем улицам появились мертвецы. Восковые, с черно-провалившимися ямами вместо глаз, в рваном вонючем белье, они тащились, ползли, шкандыбали, и все в одном направлении — к шоссе. Одни молча, сосредоточенно, не спуская глаз, мучительно передвигали ноги, другие размашисто перекидывали за костылями безногое тело, обгоняя идущих, третьи бежали, крича непонятными, хриплыми, срывающимися голосами.

И тоненько, как подстреленная птица, где-то стояло:

— Пи-ить... пи-ить... пи-и-ить,— тонко, как раненая птица над сухим голодным лугом.

Совсем молоденький, в рваном белье, сквозь которое желтеет тело, равнодушно переставляет мертвые ноги, глядя и не видя перед собой горячечными глазами:

— Пи-и-ить... пи-и-ить...

Сестра, с мальчишеской, наголо остриженной головой, с полинялым крестом на драном рукаве, босая, бежит за ним:

— Постой, Митя... Куда ты?.. Сейчас дам воды, чаю, постой же... Пойдемте назад... не звери же они.

— Пи-и-ить... пи-и-ить..

В обывательских домах торопливо закрываются окна, двери. С чердаков, из-за заборов стреляют в спины. А из лазаретов, из госпиталей, из частных домов

все вылезают, вываливаются из окон, падают из верхних этажей и тянутся и ползут за уходящим обозом.

Вот и цементные заводы и шоссе... А по шоссе торопленно проходят коровы, лошади, собаки, люди, повозки, арбы,— уползает змеиный хвост.

Безногие, безрукие, с раздробленными, грязно обмотанными челюстями, с накрученными из кровавых тряпок чалмами на головах, с забинтованными животами, спешат, не спуская горячечных глаз с шоссе, а повозки все уходят, и у людей, шагающих возле повозок, лица замкнутые, нахмуренные, смотрят только перед собой. И стоит, не падая, умоляющее:

— Братцы!.. братцы!.. товарищи!..

Несутся отовсюду то охриплые, то срывающиеся голоса, то пронзительно-звонко слышно у самых гор:

— Товарищи, я — не тифозный, я — не тифозный, я — раненый, товарищи!..

— И я — не тифозный... товарищи!

— И я— не тифозный...

— И я...

— И я...

Уползают повозки.

Один ухватился за нагруженную доверху скарбом и детьми арбу и, держась обеими руками, прыгает на одной ноге. Седоусый хозяин арбы, с почернелым, выдубленным солнцем и ветром лицом, нагибается, хватает его за единственную ногу и всовывает в арбу на голову отчаянно завизжавших детей...

— Та цю! Схаменыся, дитей передушив! — кричит баба с сбившимся платком.

У безногого лицо счастливейшего в мире человека. А вдоль шоссе все идут и идут, спотыкаясь, падая, подымаясь или оставаясь белеть неподвижно на обочине.

— Ро́дные мои, та всих бы забралы, як бы можно, та куды ж? Скильки своих раненых, а йисты нэма чого, пропадете вы з нами, и жалко вас...— Бабы сморкаются и вытирают упрямо набегающие слезы.

Громадного роста солдат, с нахмуренным лицом и одной ногой, сосредоточенно глядя перед собой, далеко закидывает вперед костыли, потом сильное тело, без отдыху широко отмеривая шоссе, и приговаривает:

— Матть вашу так и так... так вас, разэтак!..

А обоз уходит и уходит. Последние колеса уже далеко подымают пыль, и слабо доносится постукивание железных осей. Город, бухта — позади. Только пустынное шоссе, а по нему, далеко растянувшись, медленно двигаются за скрывшимся обозом восковые мертвецы. Мало-помалу бессильно останавливаются, садятся и ложатся по обочине. И все одинаково тянутся померкшими глазами в ту сторону, где скрылась последняя повозка. Тихо садится тронутая закатом пыль.

А высокий безногий солдат все так же перекидывает костылями сильное тело по безлюдному шоссе и бормочет:

— Матть вашу так!! Кровь за вас проливали... Так вас и так!..

С противоположной стороны в город входят казаки.

X

Тянется усталая ночь, и, ни на минуту не прерывая шумящего, не утихающего движения, льется черный человеческий поток.

Уже изнеможенно бледнеют звезды. Проступают бурые, пустынно-сожженные горы, промоины, ущелья.

Светлеет и светлеет небо. Неизмеримо открывается непрерывно меняющееся море, то нежно-фиолетовое или дымчато-белесоватое, то подернутое голубизной потонувшего в нем неба.

Верхи гор осветились. Осветились темные, бесчисленно колыхающиеся штыки.

По скалистым обрывам, надвинувшимся к самому шоссе,— виноградники; белеют дачи, пустые виллы. Изредка там стоят люди с лопатами, с кирками, в соломенных самоделковых шляпах, стоят, смотрят: мимо без конца, мотая руками, идут солдаты, и бесчисленно остро колышутся штыки.

Кто они? Откуда они? Куда так безостановочно идут, устало мотая руками? Желтые, как дубленая кожа, лица. Запыленные, изодранные. Черные круги вокруг глаз. Скрипят повозки, глухо постукивают усталые копыта. Выглядывают из повозок дети. Должно быть, без отдыху, и лошади опустили морды.

Опять вскидывают землю лопаты. Какое им дело!.. Но когда от усталости разгибают спины, по шоссе, по-

слушно изгибаясь по извилинам берега, всё идут и идут, и бесчисленно колышутся штыки.

А уж солнце куда выше гор, и земля наливается зноем, и на блеск моря больно смотреть. Час, два, пять — всё идут и идут. Люди стали шататься, лошади останавливаться.

— Чи вин с глузду зъихав, цей Кожух!

Всплывает матерная брань.

Кожуху доложили, что от его колонны оторвались присоединившиеся две колонны Смолокурова со своими обозами и заночевали в селении на пути, и теперь между ними верст на десять свободное шоссе. Он сузил маленькие глазки, пряча не к месту насмешливые огоньки, и ничего не сказал. И всё шли и шли.

— Он нас загоняет,— глухо стало всплывать по колонне.

— А чево гонит: отседа море, отседа горы, кто нас тронет? А так и без казаков все с натуги пропадем. Вон уже пять лошадей бросили, не идут. И люди ложатся по обочинам.

— Чего вы смотрите на него! — кричат матросы, обвешанные револьверами, бомбами, пулеметными лентами, обходя двигавшиеся повозки, вмешиваясь в идущие ряды,— не видите, свое гнет. Али не он был офицером? Золотопогонщик и есть. Вот попомните: заведет он вас. Будете локотки кусать, да поздно.

Когда солнце сделало тени страшно короткими, остановились на четверть часа, напоили лошадей, напились взмокшие от пота люди и опять двинулись по раскаленному шоссе, тяжело передвигая свинцовые ноги, и струился обжигающий воздух. Невыносимо-ослепительно сверкает море. И всё идут, и глухой ропот уже явственно и грозно расстраивает ряды. Некоторые командиры рот и батальонов заявили Кожуху, что выделят свои части на остановку и пойдут самостоятельно. Кожух потемнел, ничего не ответил. Колонна всё идет и идет.

Ночью остановились. В темноте на десятки верст вдоль шоссе заблистали костры. Рубили корявое, низкорослое, сухое, цепкое держи-дерево — в этой пустыне нет лесов,— растаскивали заборы в попадающихся дачах, выламывали рамы, вытаскивали мебель, жгли. Над огоньком кипели котелки с варевом.

Казалось, от нечеловеческой усталости все должны свалиться пластом и спать как убитые. Но озаренная кострами темнота красно шевелилась, была странно оживлена. Слышался говор, смех, звуки гармошки. Солдаты баловались, пихали друг друга на огонь. Уходили в обоз, играли с дивчатами. В котелках кипела каша. Огонь больших костров лизал черные ротные котлы. Редко дымили военные кухни.

Этот бесконечный табор, похоже, расположился надолго.

XI

Ночь, пока шла со всеми, была едина. А как только остановились, распалась на кусочки, и каждый кусочек жил по-своему.

Около небольшого огонька с висевшим над ним котелком, который вместе с другими вещами и с провизией успели выхватить из брошенной повозки, на корточках сидела растрепанная, похожая при красноватом освещении на ведьму, баба Горпина. Возле на разостланном по земле суконном архалуке, несмотря на теплую ночь, прикрыв лицо углом, спал старик. Баба, сидя у огня, причитала:

— Як нэма ни чашки, ни ложки... И кадушечка осталась; кому вона достанеться? Така славна та крепка, кленовая. Чи буде у нас коняка, як тый Гнедко? Який бегучий — кнута николи не просив. Старик, иди снидать.

Из-под свиты хрипло:

— Нэ хочу.

— Та що ж ты робишь! Нэ исты, занедужишь,— що ж, тебе на руках нести тоди?

Старик молча лежит на земле с закрытым в темноте лицом.

Недалеко возле повозки на шоссе стройно белеет в темноте девичья фигура и девичий голос:

— Та лышечко мое, та серденько, та отдай же! Нельзя ж так...

Бабы смутно белеют вокруг повозки, в несколько голосов:

— Та отдай же, треба похороныты андельскую душку. Господь его приме...

Молча стоят мужики.

А бабы:

— Сиськи набрякли, не удавишь.

Суют руки и пробуют выпятившиеся, не поддающиеся под пальцами груди. Простоволосая голова с блестящими в темноте, как у кошки, глазами наклоняется над выпукло белеющей из разорванной рубахи грудью, и привычные пальцы, перехватив сосок, нежно вкладывают в неподвижно открытый холодный ротик.

— Як каменная.

— Та уж смердить, нельзя стоять.

Мужичьи голоса:

— Та шо з ей балакаты,— узять, тай квит.

— Зараза. Як же ж так можно! Треба похоронить.

И двое мужиков, здоровые, сильные, берут ребенка, разжимают материнские руки. Темноту пронизывает исступленно-звериный визг,— слышно у костров, уходящих цепочкой вдоль шоссе; пронеслось над смутно невидимым морем; и в пустынных услышали горах, если кто там затаился. Повозка скрипит и качается от остервенелой борьбы.

— Куса-аться!..

— Та чертяка з ей—уси зубы у руку загнала.

Мужики отступаются. Опять, пригорюнясь, стоят бабы. Понемногу расходятся. Подходят другие. Щупают набрякшие груди.

— И вона помре, спеклося молоко.

А на повозке все так же сидит расхристанная, поминутно поворачивает во все стороны простоволосую голову, сторожко блестит сухим звериным глазом, каждую секунду готовая остервенело защищаться. В промежутках нежно кормит грудью окостенелый, холодный ротик.

Дрожат огни, далеко пропадая в темноте.

— Та сѐрденько, та отдай же ёго, отдай, бо вин мертвый. А мы похороним, а ты поплачь. Чого ты не плачешь?

Девушка прижимает к груди эту растрепанную ведьмину голову с горящими в темноте волчьими глазами. А та говорит, заботливо отстраняя, говорит хриплым голосом:

— Тыхесенько, Анка, шш... вин спить, не баламуть ёго. От всю ночь спить, а пид утро будэ гуляты, пид-

жидае Степана. Як Степан прийдэ, зараз зачне пузыри пускаты, та ноженятки раскоряче, та гулюшки пускае. Ой, така мила дитына та понятлива, така разумна!..

И она тихонечко смеется милым сдавленным смешком.

— Тссс...

— Анка! Анка! — доносится от костра,— що ж ты не идешь вечеряты... Старик не ийде, и ты погибла... От, коза востроглаза... Усе засухарилось.

Бабы всё приходят, пощупают, поболезнуют и уходят. Или стоят, подперев подбородок и поддерживая локоток, смотрят. Смутно раскуривают люльки мужики, на секунду красновато озаряя заросшие лица.

— Треба за Степаном послаты, а то вин сгние у нэи на руках, черви заведуться.

— Та вже ж послалы.

— Микитка хромый побиг.

XII

Эти огни особенные. И говор особенный, и смех, и женские игривые взвизги, и густая матерная брань, и звон бутылок. То вдруг разом ударят несколько мандолин, гитар, балалаек,— целый оркестр зазвучит струнно упруго, совсем не похоже на тьму, на цепочку огней во тьме. Неподвижны черные горы; невидимое море молчаливо, чтоб не мешать своей громадой.

И люди—особенные, крупные, широкоплечие, с уверенными движениями. Когда попадают в красно-колеблющийся круг костра,— отъевшиеся, бронзовые, в черно болтающихся штанах клеш, в белых матросках, с низко открытой бронзовой шеей и грудью, и на спине с круглых шапочек болтаются ленточки. Ни одного слова, ни одного движения без матерной ругани.

Женщины, выхваченные из темноты мигающим отсветом костра, мелькают крикливыми пятнами. Смех, взвизги — любезные балуются. Подобрав цветные юбки, на корточках готовят на огне костров, подпевая подозрительно хриплыми голосами, а на четырехугольно белеющих на земле скатертях — коробки с икрой, сардины, шемая, бутылки вина, варенье, пироги, конфеты, мед. Этот табор далеко тянется во тьме гомоном, зво-

ном, разухабистым смехом, бранью, перекликами, неожиданно стройными, струнно-звенящими звуками мандолин и балалаек. Или вдруг мощно заполнит темноту пьяный, но спевшийся, дружный хор, да оборвут: вот видели, мол, нас? всё можем. И опять то же — звон, смех, говор, взвизги, шуточная, любя, матерщина.

— Товарищи!

— Есть.

— Отдавай концы.

— Играй, растак вашего отца, прадеда до седьмого колена!..

— Ой, Камбуз! Браслетку оборвал... да ну тебя!.. Браслетка поте...

Голос перехватился.

— Товарищи, на каком мы тут основании?.. Али офицерские времена ворочаются?.. Почему Кожух распоряжается?.. Кто его в генералы производил? Товарищи — это эксплуатация трудового народа. Враги и эксплуататоры...

— Бей их, так-растак...

И дружно и стройно:

Сме-ло, то-вари-щи, в но-огу,
Ду-ухом окре-е-пне-е-м в борь-бе-е...

XIII

Он сидит, озаренный костром, охватив колени, и неподвижен. Из темноты за спиной выставилась в красно-озаренный круг лошадиная голова. Мягкие губы торопливо подбирают брошенное на землю сено; звучно жует; большой черный глаз поблескивает умно и внимательно фиолетовым отливом.

— Та так,— говорит он, все так же задумчиво охватывая колени, не мигая глядит в этот шевелящийся огонь, рассказывает,— пригнали полторы тыщи матросов, собрали всех, кого захватили. Та и они дураки: мы на воде, наше дело морское, нас не тронуть. А их пригнали, поставили та и кажуть: «Ройте». А кругом пулеметы, два орудия, козаки с винтовками. Ну, энти, небоги, роють, кидають лопатами. Молодые всё, здоровые. На полугорье народу набилось. Бабы плачуть. Ахвицеры ходють с левольверами. Которые нешвыдко лопатами кидають, стреляють ему у животи, щоб довго

мучився. Энти роють соби, а которые с пулями у животи — ползають у крови вси, стогнуть. Народ вздыхает. Ахвицеры: «Мовчать, вы, сукины диты!»

Он рассказывает это, а все молча прислушиваются к тому, чего он не рассказывает, но что все откуда-то знают.

Стоят вокруг, красно-освещенные, без шапок, опираясь о штыки; иные лежат на животе, слушают, и из темноты выступают лохматые, внимательные головы, подпертые кулаками. Старики — уткнув бороды. И бабы белеют, пригорюнившись. А когда огонь замирает, сидит только один, охватив колени; лошадиная голова на минуту опускается за спиной, подымается и звучно жует, черно блестит умный слушающий глаз. И кажется, кроме одного — никого, беспредельная темь. И перед глазами: степь, ветряки, и по степи вороной стелется, карьером доскакал и плюхнулся, как мешок кроваво порубанный. А за ним другой, соскочил, ухо к груди: «Сынку мий... сынку...»

Кто-нибудь подбросит на тлеющие угли корявое, сухое, цапастое держи-дерево. Закорежится, вспыхнет, отодвинет темноту,— и опять стоят, опираясь о штыки; уткнулись в бороду старые; бабы пригорюнились; озаренно проступают подпертые кулаками внимательные головы.

— Дуже дивчину мучилы, ой як мурдовалы. Козаки, цила сотня... один за одним сгнушалысь над ней, так и умерла пид ими. Сестрой у наших у госпитали була, стрижена, як хлопец, босиком все бигала, работница с заводу; конопата та ризва така. Не схотила тикать от раненых: никому присмотреть, никому воды подать. У тифу богато лижало. Всих порубилы — тысяч с двадцать. Со второго этажа кидалы на мостовую. Ахвицеры, козаки с шашками по всиму городу шукалы, всих до одного умертвилы. Богато залило увись город.

И уже нет звездной ночи, нет чернеющих гор, а стоит: «Товарищи! товарищи!.. я — не тифозный, я — раненый...» — немеркнуще стоит перед глазами.

Опять темь, и над тьмой звезды, и он спокойно рассказывает, и все опять чувствуют то, о чем молчит: двенадцатилетнему сыну прикладом размозжили голову; старуху мать засекли плетьми; жену насиловали, сколько хотели, потом вздернули петлей на колодезный

журавель, а двое маленьких неведомо куда пропали,— молчит, но все это откуда-то знают.

В странной связи стоит великое молчание в таинственной черноте гор, в заслоненном темнотой морском просторе — ни звука, ни огонька.

Мигает красный отсвет, колебля сузившийся круг темноты. Сидит озаренный человек, охватив колени. Звучно жует лошадь.

Да вдруг засмеялся молодой, который опирался о штык, и белые зубы розовато блеснули на безусом лице.

— У нашей станицы, як прийшлы с фронта козаки, зараз похваталы своих ахвицеров, тай геть у город к морю. А у городи вывелы на пристань, привязалы каменюки до шеи тай сталы спихивать с пристани в море. От булькнуть у воду, тай все ниже, ниже, все дочиста видать — вода сы-ыня та чиста, як слеза,— ей-бо. Я там был. До-овго идуть ко дну, тай все руками, ногами дрыг-дрыг, дрыг-дрыг, як раки хвостом.

Он опять засмеялся, показал белые, чуть подернутые краснотой зубы. Перед костром сидел человек, охватив колени. Стояла красно мигающая темнота, а в темноте нарастала слушающая толпа.

— А як до дна дойдуть, аж в судорогах ущемляются друг с дружкой тай замруть клубком. Все дочиста видать,— вот чудно.

Прислушались: далеко-далеко, и мягко, и говоря о чем-то сердцу, плыли стройные струнные звуки.

— Матросня! — сказал кто-то.

— А у нашей станицы козаки ахвицеров у мешок заховалы. Сховають у мешок, увяжуть та айда у море.

— Як же ж то можно людэй у мешках топить...— печально проговорил заветренный, степной голос, помолчал, и не видно, кто потом невесело сказал: — мешкив дэ теперь достанешь, нэма, без мешкив в хозяйстве хочь плачь,— з России не везуть.

Опять молчание. Может быть, потому, что сидит перед костром человек, недвижимо охватив колени.

— В России совитска власть.

— У Москви-и!

— Та дэ мужик, там и власть.

— А до нас рабочие приизжалы, волю привезлы, совитов наробылы по станицам, землю казалы отбирать.

— Совесть привезлы, а буржуев геть.

— Та хиба ж не мужик зробыв рабочего? Бачь, скильки наших на цементном роботае, а на маслобойном, на машинном, та скризь по городам на заводах.

Откуда-то слабо доносилось:

— Ой, мамо...

Потом младенец заплакал. Бабий голос уговаривал. Должно быть, на шоссе, в смутно чернеющих повозках.

Человек рознял колени, поднялся, по-прежнему красновато освещенный с одной стороны, дернул за холку опустившуюся было лошадиную голову, взнуздал, подобрал с земли в притороченный мешок остатки сена, вскинул за плечи винтовку, вскочил в седло и разом потонул. Долго, удаляясь и слабея, цокали копыта и тоже погасли.

И опять чудилось: будто нет темноты, а бескрайно степь и ветряки, и от ветряков пошел топот, и тени косо и длинно погнались, а вдогонку: «Куды? Чи с глузду зъихав?.. назад!..» — «Та у него семейства там, а тут сын лежить...»

— Эй, вторая рота!..

Сразу опять темь, и далекой цепочкой горят огни.

— Пойихав до Кожуха докладать,— все чисто у козаков знае.

— Ой, скильки вин их поризав, и дитэй и баб!

— Та у него ж все козацкое — и черкеска, и газыри, и папаха. Козаки за свово приймають. «Какого полка?» — «Такого-то»,— и йиде дальше; баба попадется, шашкой голову снесе, малая дитына — кинжалом ткнэ. Дэ мисто припадэ, с-за скирды або с-за угла козака з винтовки рушить. Все дочиста у них знае, яки части, дэ скильки, все Кожуху докладае.

— Диты чим провинилысь, несмыслени? — вздохнула баба, опираясь горько на ладонь и поддерживая локоть.

— Эй, вторая рота, чи вам уши позатыкало!..

Кто лежал, не спеша поднялись, потянулись, зевнули и пошли. Звезды над горой высыпали новые. Возле котлов расселись по земле, стали хлебать варево.

Торопливо носят ложками из ротного котла, жгутся, а каждый спешит, чтоб не отстать от других. Во рту все сварилось, тряпки на языке и с нёба свесились, и горло обожжено, больно глотать, и спешит, торопливо ныряя в дымящийся котел. Да вдруг цап с ложки — мясо пой-

мал и в карман, после съест, и опять торопливо ныряет под завистливые искоса взгляды ныряющих ложками солдат.

XIV

Даже в темноте чувствовалось — шли толпой, буйной, шумной, и смутно белели. И говор шел с ними, возбужденный, не то обветренных, не то похмельных голосов, пересыпаемый неимоверно завертывающейся руганью. Те, что носили ложками из котелков, на минуту повернули головы.

— Матросня.

— Угомону на них нэма.

Подошли, и разом отборно посыпалось:

— Расперетак вас!.. Сидите тут — кашу жрете, а что революция гинет, вам начхать... Сволочи!.. Буржуи!..

— Та вы що лаетесь!.. брехуны!..

На них косо глядят, но они с ног до головы обвешаны револьверами, пулеметными лентами, бомбами.

— Куды вас ведет Кожух?!. подумали?.. Мы революцию подымали... Вон весь флот ко дну пустили, не посмотрели на Москву. Большевики там шуры-муры с Вильгельмом завели, а мы никогда не потерпим предательства интересов народных. Ежели интересы народа пренебрег — на месте! Кто такой Кожух? Офицер. А вы — бараны. Идете, уткнув лбами. Эх, безрогие!..

Из-за костра, на котором чернел ротный котел, голос:

— Та вы со шкурами до нас присталы. Цилый бардак везетэ!

— А вам чево?! Завидно?.. Не суй носа в чужую дверь: оттяпают. Мы свою жизнь заслужили. Кто подымал революцию? Матросы. Кого царь расстреливал, топил, привязывал к канатам? Матросов. Кто с заграницы привозил литературу? Матросы. Кто бил буржуев и попов? Матросы. Вы глаза только продираете, а матросы кровь свою лили в борьбе. А как мы свою революционную кровь лили, вы же нас пороли царскими штыками. Сволочи! Куда вы годитесь, туды вас растуды!

Несколько солдат отложили деревянные ложки, взяли винтовки, поднялись, и темнота разом налилась, а костры куда-то провалились:

— Хлопцы, бери их!..

Винтовки легли на изготовку.

Матросы вынули револьверы, другой рукой торопливо отстегивали бомбы.

Седоусый украинец, проведший всю империалистическую войну на западном фронте, бесстрашием и хладнокровием заслуживший унтера, в начале революции перебивший в своей роте офицеров, забрал губами горячую кашу, постучал ложкой, отряхая о край котелка, вытер усы.

— Як петухи: ко-ко-ко-ко! Що ж вы не кукарекаете?

Кругом засмеялись.

— Та що ж воны глумляються! — сердито повернулись к седоусому хлопцы.

Сразу стали видны далеко уходящие костры.

Матросы засовывали револьверы в кобуры, пристегивали бомбы.

— Да нам начхать на вас, так вас растак!..

И пошли такой же шумной, взбудораженной ватагой, смутно белея в темноте, потом потонули, и уходила цепочка огней.

Ушли, но что-то от них осталось.

— Бочонкив с вином у их дуже богато.

— У козаков награбилы.

— Як, награбилы? За усэ платилы.

— Та у них грошей — хочь купайся.

— Вси корабли обобралы.

— Та що ж пропадать грошам треба, як корабли потопли? Кому от того прибыль?

— К нам у станицу як прийшлы, зараз буржуазов всих дочиста пид самый пид корень тай бедноти распределилы, а буржуазов разогналы, ково пристрелилы, ково на дерево вздернулы.

— У нас поп,— торопливо, чтобы не перебили, отозвался веселый голос,— тильки вин с паперти, а воны его трах! — и свалывся поп. Довго лижав коло церкви, аж смердить зачав,— нихто не убирае.

И веселый голос весело и поспешно засмеялся, точно и тут боялся, чтоб не перебили. И все засмеялись.

— О, бачь — звезда покатылась.

Все прислушались: оттуда, где никого не было, где была ночная неизмеримая пустыня, принесся звук, или всплеск, или далекий неведомый голос, принесся с невидимого моря.

Подержалось молчание.

— Та воны правду говорять, матросы. Ось хочь бы мы: чого мы блукаем? Жили соби, у кажного було и хлиб и скотина, а теперь...

— Та правду ж и я говорю: пийшлы за ахвицером неположенного шукаты...

— Який вин ахвицер? Такий же, як и мы с тобою.

— А почему совитска власть подмоги ниякой не дае? Сидять соби у Москви, грають, а нам хлебать, що воны заварылы.

Далеко где-то у слабо горевших костров слышались ослабленные расстоянием голоса, шум — матросы бушевали,— так и шли от костра к костру, от части к части.

XV

Ночь начала одолевать. В разных местах стали гаснуть костры, пока совсем не пропала золотая цепочка — всюду черный бархат да тишина. Нет голосов. Только одно наполняет темноту — звучно жуют лошади.

Кто-то темный торопливо пробирается среди черных неподвижных повозок, а где возможно, бежит с боку шоссе, перепрыгивая через спящие фигуры. За ним с трудом поспевает другой, такой же неузнаваемо-черный, припадая на одну ногу. Возле повозок кто-нибудь проснется, подымет голову, проводит в темноте быстро удаляющиеся фигуры.

— Чого им туточка треба? Хто такие? Або шпиёны...

Надо бы встать, задержать, да уж очень сон долит, и опускается голова.

Все та же черная ночь, тишина, а те двое бегут и бегут, перепрыгивая, продираясь, когда тесно, и лошади, сторожко поводя ушами, перестают жевать, прислушиваются.

Далеко впереди и справа, должно быть, под чернеющими горами, выстрел. Одиноко и ненужно, в виду этого покоя, мирного звука жующих лошадей, в виду пустынности, отпечатался в темноте, и уже опять тишина, а этот неслышный отпечаток все еще чудился, не растаял. Двое побежали еще быстрей.

Раз, раз, раз!.. Все там же, справа под горами. Даже среди темноты различишь, как густо чернеет разинутая пасть ущелья. Да вдруг пулемет, сам за собою не по-

спевая: та-та-та!.. и еще немного, договаривая недосказанное та... та!

Подымается, чернея, одна голова, другая. Кто-то сел. Один торопливо встал и, не попадая, стал нащупывать в составленных пирамидой винтовках свою. Да так и не нащупал.

— Эй, Грицько, слышь... та слышь ты!

— Отчепысь!

— Та слышь ты,— козаки!

— Фу-у, бисова душа... а то в зубы дам!.. ей-бо, дам...

Тот покрутил головой, поскреб поясницу, зад, потом подошел к разостланной по земле шинели, лег, подвигал плечами, чтоб ладнее лежать...

...та-та-та...

...раз!.. раз!.. раз!..

Тоненькие, как булавочные уколы, рождаются на мгновение огоньки в разинутой темноте ущелья.

— А, матть их суку! спокою нэма. Тильки люди прийшлы с устатку, а они на! як собаки. Нехай же вам у животи такое скорежится! Анахвемы! Ну, бейся, як умиешь — до упаду, со злом, аж зубами грызи, а як на спокой люды полягалы, не трожь, все одно — ничего не зробите, так тильки патроны потратите, и квит! — а людям отдыху нэма.

Через минуту в звучное мерное лошадиное жевание вплетается звук еще одного сонного человеческого дыхания.

XVI

Тот, что бежал впереди, переводя дух, сказал:

— Та дэ ж воны?

А другой тоже на бегу:

— Туточки. Аккурат дерево, а воны на шаше,— и закричал: — Ба-бо Горпино-о!

А из темноты:

— Що?

— Чи вы тут?

— Та тут.

— Дэ повозка?

— Та тут же, дэ стоитѐ, вправо через канаву.

И сейчас же в темноте голос воркующей горлинки, вдруг зазвеневший слезами:

— Степане!.. Степане! ёго вже нэма...

Она протянула, покорно отдавая. Он взял завернутый, странно холодный, подвижной, как студень, комочек, от которого, поражая, шел тяжелый дух. Она прижала голову к его груди, и темнота вдруг засветилась звенящими, хватающими слезами, невозвратными слезами.

— Его вже нэма, Степане...

А бабы тут как тут,— на них ни устали, ни сна. Мутно проступают вокруг повозки, крестятся, вздыхают, подают советы.

— Перший раз заплакала.

— Легше буде.

— Треба молоко отсосаты, а то у голову вдарить.

Бабы наперебой щупают набрякшие груди.

— Як камень.

Потом, крестясь, шепча молитвы, прижимаются губами к ее соскам, сосут, молитвенно сплевывают на три стороны, закрещивая.

Рыли во тьме среди цепких низкоросло-колючих кустов держи-дерева, в темноте бросали лопатами землю. Потом что-то завернутое положили, потом заровняли.

— Его вже нэма, Степане...

Смутно видно, как чернеющий в темноте человек обхватил обеими руками колючее дерево, засопел носом, сдавленно, не то икая, не то гыгыкая, как мальчишки, когда давят друг из друга масло. А горлинка обвила шею руками.

— Степане!.. Степане!.. Степане!..

И опять засветились звенящие в темноте слезы:

— Нэма ёго... нэма, нэма, Степане!..

XVII

Ночь одолела. Ни огонька, ни говора. Лишь звук жующих лошадей. А потом и лошади перестали. Некоторые легли; заря скоро.

Вдоль молчаливых черных гор немо чернеет бесконечно протянувшийся лагерь.

Только в одном месте сеявшая неодолимую предутреннюю дремоту ночная темнота не могла одолеть: сквозь деревья спящего сада виднеется огонек — кто-то не спит за всех.

В громадной столовой, отделанной под дуб, с проткнутыми и разорванными по стенам дорогими картинами, в слабом озарении приклеенной восковой свечи вид-

ны наваленные по углам седла, составленные пирамиды винтовок, солдаты в мертвых странных позах храпят на разостланных по полу дорогих, с окон, занавесях и портьерах, и стоит тяжелый потный человечий и лошадиный дух.

Узко и черно смотрит в дверях пулемет.

Нагнувшись над великолепным дубовым резным столом, длинной громадой протянувшимся посреди столовой, Кожух вцепился маленькими глазками, от которых не вывернешься, в разостланную на столе карту. Мерцает церковный огарок, капая стынущим воском, и живые тени торопливо шевелятся по полу, по стенам, по лицам.

Над синим морем, над хребтами, похожими на лохматых сороконожек, наклоняется адъютант, вглядываясь.

Стоит в ожидании ординарец с подсумком, с винтовкой за спиной, с шашкой сбоку, и на нем все шевелится от шевелящихся теней.

Огарок на минутку замирает, и тогда все неподвижно.

— Вот,— тычет адъютант в сороконожку,— с этого ущелья еще могут насесть.

— Сюда не прорвутся — хребет стал высокий, непроходимый, и им с той стороны до нас не добраться.

Адъютант капнул себе на руку горячим воском.

— Только бы дойти нам до этого поворота, там уж не долезут. Идтить треба з усией силы.

— Жрать нечего.

— Все одно, стоять — хлеба не родим. Ходу — одно спасение. За командирами послано?

— Зараз вси придуть,— шевельнулся ординарец, и лицо его, шея быстро заиграли мерцающими тенями.

Только в громадных окнах неподвижно чернела ночная чернота.

Та-та-та-та...— где-то далеко перекликнется в чернеющих ущельях, и опять ночь наливается угрозой.

Тяжелые шаги по ступеням, по веранде, потом в столовой, казалось, несут эту угрозу или известие о ней. Даже скудно мерцающий огарок озарил, как густо запылены вошедшие командиры, и от усталости, от жары, от непрерывного похода всё на лицах у них высовывалось углами.

— Що там? — спросил Кожух.

— Прогнали.

В громадной, едва озаренной столовой было смутно, неясно.

— Да им взяться нечем,— сказал другой заветренным, сиповатым голосом.— Кабы орудия имели, а то один пулемет вьюком.

Кожух окаменел, надвинул на глаза ровный обрез лба, и все поняли — не в нападении казаков дело.

Сгрудились около стола, кто курил, кто жевал корку, кто, не вникая, устало глядел на карту, так же смутно и неясно расстилавшуюся на столе.

Кожух процедил сквозь зубы:

— Приказы не сполняете.

Разом зашевелились мигающие тени по усталым лицам, по запыленным шеям; столовая наполнилась резкими, привыкшими к приказаниям на открытом воздухе голосами:

— Загнали солдат...

— Та у меня часть, не подымешь ее теперь...

— А у меня, как пришли, завалились и костров не разводили, как мертвые.

— Разве мыслимо идти такими переходами,— этак и армию погубить невдолге...

— Плевое дело...

Лицо Кожуха неподвижно. Из-под насунутого черепа маленькие глаза не глядели, а ждали, прислушиваясь. В громадно распахнутых окнах неподвижная чернота, а за ней ночь, полная усталости, задремавшего тревожного напряжения. Выстрелов со стороны ущелья не слышно. Чувствовалось, что там темнота еще гуще.

— Я, во всяком случае, не намерен рисковать своей частью! — гаркнул полковник, как будто скомандовал.— На мне моральная ответственность за жизнь, здоровье, судьбу вверенных мне людей.

— Совершенно верно,— сказал бригадный, выделяясь своей фигурой, уверенностью, привычкой отдавать приказания.

Он был офицер армии и теперь чувствовал — настал, наконец, момент проявить всю силу, все заложенное в нем дарование, которое так неразумно, нерасчетливо держали под спудом заправилы царской армии...

— ...совершенно верно. К тому же план похода совершенно не разработан. Расположение частей должно

быть совсем иное,— нас каждую минуту могут перерезать.

— Да приведись до меня,— запальчиво подхватил стройно и тонко перетянутый в черкеске, с серебряным кинжалом наискосок у пояса, в лихо заломленной папахе командир кубанской сотни,— приведись до меня, будь я от козаков, зараз налетел бы з ущелья, черк! — и орудия нэма, поминай, как звали.

— Наконец, ни диспозиций, ни приказов,— что же мы — орда или банда?

Кожух медленно сказал:

— Чи я командующий, чи вы?

И это нестираемо отпечаталось в громадной комнате,— маленькие тонко-колючие глазки Кожуха ждали,— только нет, не ответа ждали.

И опять зашевелились тени, меняя лица, выражения.

И опять заветренные, излишне громкие в комнате голоса:

— На нас, командирах, тоже лежит ответственность — и не меньшая.

— Даже в царское время с офицерами совещались в трудные моменты, а теперь революция.

А за словами стояло:

«Ты прост, приземист, нескладно скроен, земляной человек, не понимаешь, да и не можешь понять всей сложности положения. Дослужился до чина на фронте. А на фронте, за убылью настоящих офицеров, хоть мерина произведут. Массы поставили тебя, но массы ведь слепы...»

Так говорили глазами, выражением лица, всей своей фигурой бывшие офицеры армии. А командиры — бондари, столяры, лудильщики, парикмахеры — говорили:

«Ты из нашего же брата, а чем ты лучше нас? Почему ты, а не мы? Мы еще лучше тебя управимся с делом...»

Кожух слушал и тот и другой разговор, и словами и за словами, и с всё так же сощуренными глазками прислушивался к темноте за окнами — ждал.

И дождался.

Среди ночи где-то далеко родился слабый глухой звук. Больше и больше, яснее и яснее; медленно, все нарастая, глухо, тяжело и неуклюже наполнилась ночь отдававшимся шагом шедших во мраке. Вот шаги докатились до ступеней, на минуту потеряли ритм, расстро-

ились и стали вразбивку, как попало, подыматься на веранду, залили ее, и в смутно озаренную столовую через широко распахнутые, черно глядевшие двери непрерывным потоком полились солдаты. Они всё больше и больше наполняли столовую, пока не залили ее всю. Их с трудом можно было разглядеть, чувствовалось только — было их много, и все одинаковы. Командиры сгрудились у того конца стола, где разостлана карта. С трудом мерцает огарок.

Солдаты в полумгле откашливаются, сморкаются, сплевывают на пол, затирают ногой, курят цигарки, вонючий дым невидимо расползается над смутной толпой.

— Товарищи!..

Громадная комната, полная людей и полутьмы, налилась тишиной.

— Товарищи!..

Кожух с усилием протискивал сквозь зубы слова:

— Вы, товарищи представители рот, и вы, товарищи командиры, щоб вы знали, в яком мы положении. Сзади город и порт заняты козаками. Красных солдат там оставалось раненых и больных двадцать тысяч, и все двадцать тысяч истреблены козаками по приказанию офицеров; то же готовят и нам. Козаки наседают на наш арьергард в третьей колонне. С правой стороны у нас море, с левой — горы. Промежду ними — диря, мы в дире. Козаки бегут за горами, в ущельях прорываются до нас, а нам отбиваться кажную минуту. Так и будут наседать, пока не уйдем до того миста, где хребет поворачивает от моря,— там горы высоко и широко разляглысь, козакам до нас не добраться. Так дойтить нам коло моря до Туапсе, от сего миста триста верст. Там через горы проведено шоссе, по нем и перевалим опять на Кубань, а там — наши главные силы, наше спасение. Надо идтить з усией силы. Провианту у нас тильки на пять дней, вси подохнем с голоду. Идтить, идтить, идтить, бежать, бегом бежать, ни спаты, ни питы, ни исты, тильки бежать з усией силы — в этом спасение, и пробивать дорогу, колы хтось загородить!..

Он замолчал, не обращая ни на кого внимания.

Стояла тишина в комнате, наполненной людьми и последними тенями догорающего огарка; стояла такая же тишина в громаде ночи за черными окнами и над громадой невидимого и неслышимого моря.

Сотня глаз невидимым, но чувствуемым блеском освещала Кожуха. И опять сквозь стиснутые зубы белела у него слегка пузырившаяся слюна.

— Хлеба и фуража по дороге нэмае, треба бигты бегом до выхода на равнину.

Он опять замолчал, опустив глаза, потом сказал, протискивая:

— Выбирайте соби другого командующего, я слагаю командование.

Огарок догорел, и покрыла ровная темь. Осталась только неподвижная тишина.

— Нету, что ли, больше свечки?

— Есть,— сказал адъютант, чиркая спички, которые то вспыхивали, и тогда выступала сотня глаз, так же неподвижно, не отрываясь, смотревших на Кожуха, то гасли — и все мгновенно тонуло. Наконец тоненькая восковая свечка затеплилась, и это как будто развязало: заговорили, задвигались, опять стали откашливаться, сморкаться, харкать, растирать ногой, оглядываясь друг на друга.

— Товарищ Кожух,— заговорил бригадный голосом, которым как будто никогда не командовал,— мы все понимаем, какие трудности, огромные препятствия у нас на пути. Сзади — гибель, но и спереди гибель, если мы задержимся. Необходимо идти с наивозможной быстротой. И только вы вашей энергией и находчивостью сможете вывести армию. Это, надеюсь, и мнение всех моих товарищей.

— Верно!.. правильно... просим!..— поспешно откликнулись все командиры.

Сотня блестящих в полутьме солдатских глаз так же упорно смотрела на Кожуха.

— Як же вам отказуваться,— сказал командир конного отряда, убедительно сдвигая папаху на самый затылок, так что она почти сваливалась,— як вас выбрала громада.

Блестящими глазами, молча, смотрели солдаты.

Кожух глянул непримиримо из-под все так же насунутого черепа.

— До́бре, товарищи. Ставлю одно непременное условие, подпишитесь: хочь трошки неисполнение приказания — расстрел. Подпишитесь.

— Так что ж, мы...

— Да зачем?..

— Да отчего не подписаться...

— Мы и так всегда...— на разные голоса замялись командиры.

— Хлопцы! — железно стискивая челюсти, сказал Кожух,— хлопцы, як вы мозгуете?

— Смерть! — грянула сотня голосов и не поместилась в столовой,— гаркнуло за распахнутыми черными окнами, только никто там не слыхал.

— К расстрелу!.. Мать его так... Хиба ж ему у зубы смотреть, як вин не сполняе приказания... Бей их!

Солдаты, точно обруч расскочился, опять зашевелились, поворачиваясь друг к другу, размахивая руками, сморкаясь, толкая один другого, торопливо докуривая и задавливая ногами цигарки.

Кожух, сжимая челюсти, сказал, втискивая в мозги:

— Кажный, хтось нарушит дисциплину, хочь командир, хочь рядовой, подлежит расстрелу.

— К расстрелу!.. расстрелять сукиных сынов, хочь командир, хочь солдат, одинаково!..— опять с азартом гаркнула громадная столовая, и опять тесно,— не поместились голоса и вырвались в темноту.

— Добре. Товарищ Иванько, пишите бумажку, нехай подписуются командиры: за самое малое неисполнение приказа али за рассуждение — к расстрелу без суда.

Адъютант достал из кармана обрывок бумажки и, примостившись у самого огарка, стал писать.

— А вы, товарищи, по местам. Объявите в ротах о постановлении: дисциплина — железная, пощады никому...

Солдаты, толпясь, толкаясь и приканчивая цигарки, стали вываливаться на веранду, потом в сад, и голосами их все дальше и дальше оживала темнота.

Над морем стало белеть.

Командиры вдруг почувствовали — с них свалилась тяжесть, все определилось, стало простым, ясным и точным; перекидывались шутками, смеялись, по очереди подходили, подписывались под смертным приговором.

Кожух, с все так же ровно надвинутым на глаза черепом, коротко отдавал приказания, как будто то, что сейчас происходило, не имело никакого отношения к тому важному и большому, что он призван делать.

— Товарищ Востротин, возьмите роту и...

Послышался топот скачущей лошади и прервался у веранды. Слышно, как лошадь — должно быть, ее привязывали — фыркала и громко встряхивалась, звеня стременами.

В смутной мерцающей полумгле показался кубанец в папахе.

— Товарищ Кожух,— проговорил он,— вторая и третья колонны остановились на ночлег в десяти верстах сзади. Командующий приказывает, щоб вы дожидались, як их колонны пидтянутся до вас, щоб вмистях идтить...

Кожух глядел на него неподвижно-каменными чертами.

— Ще?

— Матросы ходють кучками по солдатам, по обозам, горлопанят, сбивають, щоб не слухали командиров, щоб сами солдаты командували; кажуть, треба убить Кожуха...

— Ще?

— Козаки выбиты из ущелья. Наши стрелки пиднялись по ущелью, погналы их на ту сторону, теперь тихо. Наших трое ранены, один убитый.

Кожух помолчал.

— Добре. Иды.

А уж в столовой стали яснее и лица и стены. В раме картины тронулось синевой чудесно сотворенное кистью море; в раме окна чуть тронулось чудесное засиневшее живое море.

— Товарищи командиры, через час выступить всем частям. Идтить наискорейше. Останавливаться, тильки щоб людям напиться и лошадей напоить. В кажном ущельи выставлять цепь стрелков с пулеметом. Не давать частям отрываться одна от другой. Наистрого следить, щоб жителей не обиждали. Доносить мне наичаще верховыми о состоянии частей!..

— Слушаем! — загудели командиры.

— Вы, товарищ Востротин, выведите вашу роту в тыл, отрежьте матросов и не допускайте идтить с нами, нехай с тими колоннами идуть.

— Слухаю.

— Захватите пулеметы и, колы що — строчите по них.

— Слухаю.

Командиры гурьбой пошли к выходу.

Кожух стал диктовать адъютанту, кого из них совсем отставить от командования, кого переместить, кому дать высшее назначение.

Потом адъютант сложил карту и вышел вместе с Кожухом.

В громадной опустелой комнате с заплеванным, в окурках, полом забыто мигал, краснея, огарок и стояла тишина и тяжелый после людей дух, и дерево под светильней начинало чернеть и коробиться и легонько дымиться. Ни винтовок, ни седел уже не было.

В громадно распахнутых дверях тонко курилось предутренним синеватым куревом море.

Вдоль берега, вдоль гор, далеко впереди и назади, как горох, сыпались барабаны, будя. Где-то заиграли трубы, точно странное гоготание стаи медных лебедей, и медь отозвалась под горами, и в ущельях, и у берега и умерла на море, потому что оно открылось безбрежно. Над только что брошенной чудесной виллой подымался громадный столб дыма,— забытый огарок не зевал.

XVIII

Вторая и третья колонны, шедшие за колонной Кожуха, далеко отстали. Никто не хотел напрягаться — жара, усталость. Рано становились на ночлег, поздно выступали утром. Пусто белевший простор по шоссе между головной и задними колоннами становился все больше и больше.

Когда останавливались на ночлег, лагерь точно так же протягивался на много верст вдоль шоссе между горами и берегом. Точно так же запыленные, усталые, заморенные зноем люди, как только дорывались до отдыха, весело раскладывали костры; слышался смех, шутки, говор, гармоника; разливались милые украинские песни, то ласковые, задушевные, то грозные и гневные, как история этого народа.

Точно так же между кострами ходили увешанные бомбами, револьверами, прогнанные из первой колонны матросы, площадно ругаясь, говорили:

— Бараны вы, ай кто? За кем идете? За золотопогонщиком царской службы. Кто такой Кожух? Царю

служил? Служил, а теперь в большевики переделался. А вы знаете, кто такие большевики? Из Германии в запломбированных их привезли на разведку, а в России дураков нашлось, лезут за ними, как из квашни опара. А вы знаете, у них тайное соглашение с Вильгельмом? А-а, то-то, бараны стоеросовые! Россию губите, народ губите. Нет, мы, социалисты-революционеры, ни на что не посмотрели: нам большевистское правительство из Москвы распоряжение — выдать немцам флот. А мы его потопили,— накось, выкуси! ишь чего захотели... Вы вот, шпана, стадо, ничего не знаете, идете, нагнув голову. А у них тайное соглашение. Большевики продали Вильгельму Россию со всей требухой; цельный поезд золота из Германии получили. Сволочь вы шелудивая, так вас, разэтак!

— Так вы чего лаетесь, як псы! Подите вы вон пид такую мать...

Солдаты ругались, но когда матросы уходили, начинали по их следам:

— Та що ж, що правда, то правда... Матросня хочь брехливый народ, а правду говорять. Чого ж балшевики нам не помогають? Козаки навалились, чого ж з Москвы подмоги не шлють — об себе тильки думають.

Из чернеющего даже среди темноты ущелья точно так же послышались выстрелы, и в разных местах на секунду вспыхивали и гасли огоньки, немножко потрещал пулемет, и лагерь медленно и громадно стал погружаться в тишину и покой.

И точно так же в пустой даче, выходившей верандой на невидимое море, собрался командный состав обеих колонн. Не открывали собрания, пока верховой во весь опор не прискакал и не подал стеариновых свечей, добытых на поселке. Так же на обеденном столе разостлана карта, паркетный пол в окурках, на стенах сиротливо и разорванно дорогие картины.

Смолокуров, громадный, чернобородый, добродушный, не знающий, куда девать физическую силу, сидит в белой матроске, расставив ноги, прихлебывает чай. Командиры частей кругом.

По тому, как курили, перебрасывались, давили ногой папиросы, чувствовалось — не знали, с чего начать.

И точно так же каждый из собравшихся считал себя призванным спасти эту громадную массу, вывести ее,

Куда?

Положение смутное, неопределенное. Что ждет впереди? Одно знали: сзади — гибель.

— Нам необходимо выбрать общего начальника над всеми тремя колоннами,— сказал один из командиров.

— Верно!.. правильно! — загудели.

Каждый хотел сказать:

«Разумеется, меня выбрать»,— и не мог сказать.

А так как все этого хотели, то молчали, не глядя друг на друга, и курили.

— Надо ж, в конце концов, что-нибудь делать, надо же кого-нибудь выбирать. Я — Смолокурова предлагаю.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Вдруг из неопределенности был найден выход. Каждый думал: «Смолокуров — отличный товарищ, рубаха-парень, беззаветно предан революции, голосище у него за версту, уж больно хорошо на митингах ревет, а на этом деле голову свернет, тогда... тогда, конечно, ко мне обратятся...»

И все опять дружно закричали:

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

Смолокуров растерянно развел громадными руками.

— Да я, что ж... я... сами знаете, я по морской части, там хоть дредноут сверну, а тут сухопутье.

— Смолокурова!.. Смолокурова!..

— Ну да что, я... хорошо... возьмусь, только помогайте вы все, братцы, а то что ж это выходит, я — один... Ну, хорошо. Завтра выступать — пишите приказ.

Все отлично знали, пиши — не пиши приказы, а больше делать нечего, как волочиться дальше,— не стоять же на месте и не идти назад к казакам, на гибель. И все понимали, что и им делать нечего, разве только дожидаться, когда Смолокуров запутается и своими распоряжениями свернет себе шею. Да и свернуть-то нечем — тащись и тащись за кожуховой колонной.

И кто-то сказал:

— Кожуху надо приказ послать — выбран новый командующий.

— Да ему все одно, он свое будет,— загудели кругом.

Смолокуров треснул кулаком, и под картой застонали доски стола.

— Я заставлю подчиниться, я ззаставлю! Он и к городу ушел с своей колонной, позорно бежал. Он должен был остаться и биться, чтобы с честью лечь костьми.

Все на него смотрели. Он поднялся во весь свой громадный рост, и не столько слова, сколько могучая фигура с красиво протянутой рукой были убедительны. Вдруг почувствовали — выход найден: кругом виноват Кожух. Он бежит вперед, не дает никому проявить себя, использовать вложенные в нем силы, и все напряжение, все внимание нужно на борьбу с ним.

Закипела работа. К Кожуху поскакал, догоняя среди ночи, ординарец. Сорганизовали штаб. Извлекли машинки, составили канцелярию, заработала машина.

Стали выстукивать на машинках обращение к солдатам с целью их воспитания и организации:

«Мы, солдаты, не боимся врага...»

«Помните, товарищи, что нашей армии трудности нипочем...»

Эти приказы размножались, читались в ротах, эскадронах. Солдаты слушали неподвижно, не сводя глаз, потом с большими усилиями, всякими хитростями, иногда с дракой доставали приказ, расправляли на колене, свертывали собачью ножку и закуривали.

Кожуху тоже посылали приказы, но он каждый день уходил все дальше и дальше, и все больше пустым пространством ложилось между ними безлюдное шоссе. И это раздражало.

— Товарищ Смолокуров, Кожух вас в грош не ставит, прет себе и прет,— говорили командиры,— и в ус не дует на все ваши приказы.

— Да что вы с ним поделаете,— добродушно смеялся Смолокуров,— я что ж, я по сухопутному не могу, я по морской части...

— Да вы ж командующий всей армией, вас же ведь выбрали, а Кожух — ваш подчиненный.

Смолокуров с минуту молчит, потом вся его громадная фигура наливается гневом:

— Хорошо, я его сокращу!.. Я ссокращу!..

— Что же мы плетемся у него в хвосте! Нам необходимо самим выработать план, наш собственный план. Он хочет берегом дойти до перевальной шоссейной дороги, которая от моря через горы в кубанские степи идет, а мы двинемся сейчас вот отсюда, через хребет, через

Дофиновку,— тут старая дорога через горы, и будет короче.

— Послать немедленно приказ Кожуху,— загремел Смолокуров,— чтобы ни с места с своей колонной, а самому немедленно явиться сюда на совещание! Движение армии пойдет отсюда через горы. Если не остановится, прикажу артиллерией разгромить его колонну.

Кожух не явился и уходил все дальше и дальше и был недосягаем.

Смолокуров приказал сворачивать армии в горы. Тогда его начальник штаба, бывший в академии и учитывавший положение, когда не было командиров, при которых Смолокуров становился на дыбы, осторожно — Смолокуров был невероятно упрям — сказал:

— Если мы пойдем тут через хребет, потеряем в невылазных горах все обозы, беженцев и, главное, всю артиллерию,— ведь тут тропа, а не дорога, а Кожух правильно поступает: идет до того места, где через хребет шоссе. Без артиллерии казаки нас голыми руками заберут, да к тому же разобьют по частям — отдельно Кожуха, отдельно нас.

Хоть это было ясно, но не это было убедительно. Было убедительно то, что начальник штаба говорил очень осторожно и предупредительно по отношению к Смолокурову, что за начальником — военная академия и что он этим не кичится.

— Отдать распоряжение двигаться дальше по шоссе,— нахмурился Смолокуров.

И опять шумными беспорядочными толпами потекли солдаты, беженцы, обозы.

XIX

Как всегда, в кожуховой колонне, остановившейся на ночлег среди темноты, вместо сна и отдыха — говор, балалайки, гармоники, девичий смех. Или, заполняя ночь и делая ее живой, разольются стройные, налаженные голоса, полные молодой упругости, тайного смысла, расширяющей силы.

Ре-вуть, сто-гнуть го-оры хви-и-ли
В си-не-сень-ким мо-о-ри...
Пла-чуть, ту-жать ко-за-чень-ки
В ту-рец-кий не-во-о-ли...

То вздымаясь, то опускаясь. И не море ли мерно подымается и опускается волнами молодых голосов? И не в темноте ли ночи разлилась нудьга,— тужать козаченьки, тужать молодые. И не про них ли, не они ли вырвались из неволи офицерья, генералов, буржуев, и не они ли идут биться за волю? И не печаль ли разлилась, печаль-радость в живой, переполненной напряжением темноте?

В си-не-сень-ким мо-о-ри...

А море тут же, внизу, под ногами, но молчит и невидимо.

И, сливаясь с этой радостью-печалью, тонко зазолотились края гор. От этого еще чернее, еще траурнее стоят их громады,— тонко зазолотились зубчатые изломы гор.

Потом через седловины, через расщелины, через ущелья длинно задымился лунный свет, и еще чернее, еще гуще потянулись рядом с ним черные тени от деревьев, от скал, от вершин,— еще траурнее, непрогляднее.

Тогда из-за гор вышла луна, щедро глянула, и мир стал иной, а хлопцы перестали петь. И стало видно — на камнях, на сваленных деревьях, на скалах сидят хлопцы и дивчата, а под скалами море, и на него не можно смотреть — до самого до края бесконечно струится, переливается холодное расплавленное золото. Нестерпимо смотреть.

— Хтось дыше,— сказал кто-то.

— А вот кажуть, все это бог сделал.

— А почему такое — поедешь прямо, в Румынию приедешь, а то в Одест, а то в город Севастополь,— куда конпас повернул, туда и приедешь?

— А у нас, братцы, на турецком, бывалыча, как бой, так поп молебны зараз качает. А сколько ни служил, нашего брата горы клали.

Прорываются все новые дымчато-синеватые полосы, ложатся по крутизне, ломаются по уступам, то выхватят угол белой скалы, то протянутые руки деревьев или обрыв, изъеденный расщелинами, и всё резко, отчётливо, живое.

По шоссе шум, говор, гул шагов и, как проклятие, брань, густая матерная брань.

Все подняли головы, повернули...

— Хтось такие? Какая там сволочь матюкается, матть их так!

— Та матросня неположенного ищет.

Матросы шли огромной беспорядочной гурьбой, то заливаемые лунным светом, то невидимые в черной тени, и, как смрадное облако, шла над ними, не продыхнешь, подлая ругань. Стало скучно. Хлопцы, дивчата почувствовали усталость и, потягиваясь и зевая, стали расходиться.

— Треба спаты.

С гамом, с шумом, с ругней пришли матросы к скалистому уступу. В мрачной лунной тени стояла повозка, а на ней спал Кожух.

— Куды вам?! — загородили дорогу винтовками два часовых.

— Где командующий?

А Кожух уже вскочил, и над повозкой в черноте загорелись два волчьих огонька. Часовые взяли на изготовку:

— Стрелять будем!

— Што вам надо? — голос Кожуха.

— А вот мы пришли до вас, командующий. У нас вышел весь провиянт. Что же нам — с голоду издыхать?! Нас пять тысяч человек. Всю жизнь на революцию положили, а теперь с голоду издыхать?!

Не видно было лица Кожуха, в такой черной тени стоял, но все видят, горят два волчьих огонька.

— Становитесь в ряды армии, выдадим винтовки, зачислим на довольствие. Продовольствие у нас на исходе. Мы не можем никого кормить, кроме бойцов под ружьем, иначе не пробьемся. Бойцам — и тем всем порции уменьшены.

— А мы не бойцы? Что вы нас силком загоняете? Мы сами знаем, как поступать. Когда надо будет драться, не хуже, а лучше вас будем биться. Не вам учить нас, старых революционеров. Где вы были, когда мы царский трон раскачивали? В царских войсках вы офицерами служили. А теперь нам издыхать, как отдали всё революции,— кто палку взял, тот у вас и капрал! Вон в городе наших полторы тысячи легло, офицерьё живыми в землю закопали, а...

— Ну, да ведь энти легли, а вы тут с бабами...

Заревели матросы, как стадо диких быков:

— Нам, борцам, глаза колоть!..

Ревут, машут перед часовыми руками, да волчьи

огоньки не обманешь,— видят, всё видят они: тут ревут и машут руками, а по сторонам, с боков, сзади пробираются отдельные фигуры, согнувшись перебегая мутно-голубые лунные полосы, и на бегу отстегивают бомбы. И вдруг ринулись со всех сторон на окруженную повозку.

В ту же секунду: та-та-та-та...

Пулемет в повозке засверкал. И как он послушен этому звериному глазу в этих перепутавшихся полосах черноты и дымно-лунных пятен,— ни одна пуля не задела, а только страшно зашевелил ветер смерти матросские фуражки. Все кинулись врассыпную.

— Вот дьявол!.. Ну и ловок!.. Таких бы пулеметчиков...

На громадном пространстве спит лунно-задымленный лагерь. Спят задымленные горы. И через все море судорожно переливается дорога.

XX

Не успело посветлеть небо, а уже голова колонны далеко вытянулась, поползла по шоссе.

Направо все тот же голубой простор, налево густо громоздятся лесистые горы, а над ними пустынные скалы.

Из-за скалистых хребтов выплывает разгорающийся зной. По шоссе те же облака пыли. Тысячные полчища мух неотступно липнут к людям, к животным,— свои, кубанские степные мухи преданно сопровождают отступающих от самого дома, ночуют вместе и, чуть зорька, подымаются вместе.

Извиваясь белой змеей, вползает клубящееся шоссе в гущу лесов. Тишина. Прохладные тени. Сквозь деревья — скалы. Несколько шагов от шоссе, и не продерешься — непролазные дебри; все опутано хмелем, лианами. Торчат огромные иглы держи-дерева, хватают крючковатые шипы невиданных кустарников. Жилье медведей, диких кошек, коз, оленей, да рысь по ночам отвратительно кричит по-кошачьи. На сотни верст ни следа человеческого. О казаках и помину нет.

Когда-то разбросанно по горам жили тут черкесы. Вились по ущельям и в лесах тропки. Изредка, как зернышки, серели под скалами сакли. Среди девственных ле-

сов попадались маленькие площадки кукурузы, либо в ущельях у воды небольшие, хорошо возделанные сады.

Лет семьдесят назад царское правительство выгнало черкесов в Турцию. С тех пор дремуче заросли тропинки, одичали черкесские сады, на сотни верст распростерлась голодная горная пустыня, жилье зверя.

Хлопцы подтягивают все туже веревочки на штанах,— все больше съеживаются выдаваемые на привалах порции.

Ползут обозы, тащатся, держась за повозки, раненые, качаются ребячьи головенки, натягивают постромки единственного орудия тощие артиллерийские кони.

А шоссе, шаловливо свернувшись петлей, извилисто спускается к самому морю. По голубой беспредельности легла — смотреть больно — ослепительно переливающаяся солнечная дорога.

Прозрачные, стекловидные, еле приметные морщины неуловимо приходят откуда-то издалека и влажно моют густо усыпанную по берегу гальку.

Громада ползет по шоссе, не останавливаясь ни на минуту, а хлопцы, дивчата, ребятишки, раненые, кто может, сбегают под откос, сдергивают на берегу тряпье штанов, рубашонки, юбки, торопливо составляют в козлы винтовки, с разбега кидаются в голубоватую воду. Тучи искр, сверкание, вспыхивающая радуга. И взрывы такого же солнечно-искрящегося смеха, визг, крики, восклицания, живой человеческий гомон,— берег осмыслился.

Море — нечеловечески-огромный зверь с ласково-мудрыми морщинами — притихло и ласково лижет живой берег, живые желтеющие тела в ярком движении сквозь взрывы брызг, крика, гоготанья.

Колонна ползет и ползет.

Одни выскакивают, хватают штаны, рубахи, юбки, винтовки и бегут, зажав под мышкой провонялую одежду, и капли жемчужно дрожат на загорелом теле, и, догнав своих, под веселое улюлюканье, гоготанье, скоромные шутки, торопливо вздевают, на шоссе, пропотелое тряпье.

Другие жадно сбегают вниз, на ходу раздеваются, кидаются в гомон, брызги, сверканье, и притихший зверь теми же набегающими старыми прозрачными морщинами ласково лижет их тела.

А колонна ползет и ползет.

Забелели дачи, забелели домики местечка, редко разбросанные по пустынному берегу. Сиротливо растянулись вдоль шоссе. Все жмется к узкому белому полотну — единственная возможность передвижения среди лесов, скал, ущелий, морских обрывов.

Хлопцы торопливо забегают на дачи, все обшарят,— пусто, безлюдно, заброшенно.

В местечке коричневые греки, с большими носами, черносливовыми глазами, замкнуты, молчат с затаенной враждебностью.

— Нету хлеба... Нету... сами сидим голодные...

Они не знают, кто эти солдаты, откуда, куда и зачем идут, не расспрашивают и замкнуто враждебны.

Сделали обыск — действительно нет. А по роже видно, что спрятали. За то, что это не свои, а грекосы, позабрали всех коз, как ни кричали черноглазые гречанки.

В широком, отодвинувшем горы ущелье русская деревня, неведомо как сюда занесенная. По дну извилисто поблескивает речонка. Хаты. Скот. По одному склону желтеет жнивье, пшеницу сеют. Свои, полтавцы, балакают по-нашему.

Поделились, сколько могли, и хлебом и пшеном. Расспрашивают, куда и зачем. Слыхали, что спихнули царя и пришли большевики, а як воно, що — не знают. Рассказали им всё хлопцы, и хоть и жалко было, ну, да ведь свои — и позабрали всех кур, гусей, уток под вой и причитанье баб.

Колонна тянется мимо, не останавливаясь.

— Жрать охота,— говорят хлопцы и еще туже затягивают веревочки на штанах.

Шныряют эскадронцы по дачам, шарят и на последней даче нашарили граммофон и целую кучу пластинок. Приторочили к пустому седлу, и среди скал, среди лесной тишины, в облаках белой пыли понеслось:

— ...бло-ха... ха-ха!.. бло-ха...— чей-то шершавый голос, будто и человеческий и нечеловеческий.

Ребята шагали и хохотали как резаные.

— А ну, ну, ще! Закруты ще блоху!

Потом ставили по порядку: «Выйду ль я на реченьку...», «Не искушай...», «На земле весь род людской...».

А одна пластинка запела: «Бо-оже, ца-ря храни...»

Кругом загалдели...

— Мать его в куру совсем и с богом!..

— Надень его себе на...!

Пластинку выдрали и кинули на шоссе под бесчисленные шаги идущих.

С этих пор граммофон не знал ни минуты покоя и, хрипя и надрываясь, с ранней зари и до глубокой ночи верещал романсы, песни, оперы. Переходил он по очереди от эскадрона к эскадрону, от роты к роте, и, когда задерживали, дело доходило до драки. Общим любимцем стал граммофон, и к нему относились, как к живому.

XXI

Пригнувшись к седлу, сбив папаху на самый затылок, скакал по краю шоссе навстречу двигающимся кубанец, крича:

— Дэ батько?

А лицо потное, и лошадь тяжело носит мокрыми боками.

Облака над лесистыми горами вылезли огромные, круглые, блестяще-белые и глядят на шоссе.

— Мабуть, гроза буде.

Где-то за поворотом шоссе стала голова колонны. Ряды пехоты, сходясь и густея, останавливались; наезжая на задки телег и задирая лошадям морды, останавливался обоз, и эта остановка побежала, передаваясь в хвост.

— Що таке?! Ще рано привал.

Бегучее потное лицо кубанца, торопливо носящая боками лошадь, неурочная остановка разлились тревогой, неопределенностью. Разом придавая всему зловещий смысл и значение, где-то далеко впереди слабо раздались выстрелы — и смолкли. Звук их отпечатался в наступившей тишине и уже не стирался.

Граммофон смолк. Торопливо проехал в бричке в голову колонны Кожух. Потом оттуда прискакали конные и, нечеловечески матерно ругаясь, загородили дорогу.

— Геть назад!.. Стрелять будемо!.. Щоб вы подохли тут до разу!..

— ...Вам говорять... Там бой зараз буде, а вы лизите. Не приказано. Кожух стрелять по вас звелив.

Сразу все налилось тревогой. Бабы, старики, старухи, дивчата, ребятишки подняли плач и крик.

— Та куда же мы?! Та що ж вы нас гоните, що нам робыты? И мы з вами. Колы смерть, так одна.

Но конные были неумолимы.

— Кожух звелив, щоб пьять верстов було промеж вами и солдатами, а то мешаете, драться не даете.

— Та чи мы не ваши? Там же мий Иван.

— А мий Микита.

— А мий Опанас.

— Вы уйдете, а мы останемся,— спокинете нас.

— Та вы задом думаете, чи як? Вам сказано: за вас же бьются. Як расчистють дорогу, то и вы пийдете по шаше за нами. А то мешаете, бой буде.

Повозки, сколько видно, грудятся друг на друга. Столпились пешие, раненые; мечется бабий вой. Запруживая все шоссе на десятки верст, замер обоз. Мухи обрадовались и густо чернеют на лошадиных спинах, боках, шеях; облепили ребятишек; и лошади отчаянно мотают головами, бьют копытом под пузо. Сквозь листву синеет море. Но все видят только кусок шоссе, загороженный конными, а за конными стоят солдатики, свои же хлопцы с винтовками, такие близкие, такие родные. То сидят, то свертывают цигарки из листьев широкой травы и насыпают сухую же траву.

Вот шевельнулись, лениво подымаются, тронулись, и все шире и шире открывается шоссе, и эта уширяющаяся полоса, над которой пустынно садится пыль, таит угрозу и несчастье.

Конные неумолимы. Проходит час, другой. Пустое шоссе впереди тягостно белеет, как смерть. Бабы с набрякшими глазами всхлипывают и причитают. Сквозь деревья голубеет море, а на море из-за лесных гор смотрят облака.

Неведомо где упруго и кругло всплывает орудийный удар, другой, третий. Загрохотал залп и пошел раскалываться и грохотать по горам, по лесам, по ущельям. Мертво и бесстрастно потянул дробную строчку пулемет.

Тогда все, сколько ни было кнутов, стали отчаянно хлестать лошадей. Лошади рванулись, но конные, сверхъестественно ругаясь, со всего плеча стали крестить нагайками лошадей по морде, по глазам, по ушам. Лошади, храпя, крутя головами, раздувая кровавые ноздри, выкатив круглые глаза, бились в дышлах, вскидывались на дыбы, брыкались. А сзади подбегали от дру-

гих повозок, нечеловечески улюлюкали, брали в десятки кнутов; ребятишки визжали как резаные, секли хворостинами по ногам, по пузу, стараясь побольнее; бабы истошно кричали и изо всех сил дергали вожжами, раненые возили по бокам костылями.

Обезумевшие лошади бешено рванули, смяли, опрокинули, разметали конных и, вырываясь из худой сбруи, в ужасе храпя, понеслись по шоссе, вытянув шеи, прижав уши. Мужики вскакивали в телеги; раненые, держась за грядки, бежали, падали, волочились, отрывались, скатывались в шоссейные канавы.

В белесо крутящихся клубах несся грохот колес, нестерпимое дребезжание подвешенных ведер, отчаянное улюлюканье. Сквозь листву мелькало голубое море.

Остановились и медленно поползли, только когда нагнали пехотные части.

Никто ничего не знал. Говорили, что впереди казаки. Только казакам неоткуда взяться — громады гор давно отгородили их. Говорили, будто черкесы, не то калмыки, не то грузины, не то народы неизвестного звания, и сила-рать их несметная. От этого еще неотступнее наседали беженские телеги на войсковые части,— ничем нельзя было отодрать, разве перестрелять всех до единого.

Казаки ли, грузины ли, черкесы ли, калмыки ли, а жить надо. Опять граммофон на лошади запел:

Уй-ми-итесь, вол-не-ния страс-ти...

В разных концах хлопцы заспивали. Шли как попало по шоссе. С шоссе карабкались в гору, драли о сучья, шипы, иглы последние лохмотья, искали одичавшие нестерпимо кислые мелкие яблоки и, сморщившись и по-звериному перекосив рожу, набивали живот кислицей. Под дубом собирали желуди, жевали их, и горькая, едкая слюна обильно бежала. Потом вылезли из лесу — голые, с кроваво-изодранной в лохмотья кожей — и обвязывали остатками тряпья стыдное место.

Бабы, девки, ребятишки — все продираются в лесу. Крики, смех, плач — впиваются в тело иглы, дерут шипы, цепко обвиваются лианы, и ни взад, ни вперед: да голод не тетка, все лезут.

Иногда раздвинутся горы, и по склону зажелтеет небольшое поле недозрелой кукурузы — где-нибудь под

берегом приткнулась деревенька. Поле разом, как саранчой, покрывается народом. Солдаты ломают кукурузные метелки, потом идут по шоссе, растирают на ладони, выбирают сырое зерно — и в рот, и долго и жадно жуют.

Матери, набрав зерен, тоже долго жуют, но не глотают, а теплым языком впихивают в ротик детям разжиженную слюной кашку.

А там впереди опять выстрелы, опять строчит пулемет, но никто уж не обращает внимания,— привыкли. Смолкает. Птичьим голосом тянет граммофон:

Уж я-а-а не ве-рю у-ве-ре-э-нья-ам...

Перекликаются, смеются в лесу, с разных сторон доносятся песни солдат. Обоз беженцев нераздельно сливается с последними пехотными частями, и всё вместе без отдыха течет по шоссе в безбрежных облаках пыли.

XXII

В первый раз враги перегородили дорогу, новые враги.

Зачем? Что им надо?

Кожух понимает — тут пробка. Слева — горы, справа — море, а между ними — узкое шоссе. По шоссе через пенистую горную речку мост железнодорожного типа,— мимо него нигде не пройдешь. А перед мостом врагами поставлены пулеметы и орудия. В этой сквозной, сплетенной из стальных балок дыре можно остановить любую армию. Эх, кабы развернуться можно! То ли дело в степях!

Ему подают приказ штаба Смолокурова, как действовать против неприятеля. Пожелтев, как лимон, и сжав челюсти, сминает приказ, не читая, и швыряет на шоссе. Солдаты бережно подбирают, расправляют на колене и крутят цигарки, насыпая сухими листьями.

Войска вытянулись вдоль шоссе. Кожух смотрит на них: оборванные, босые; у половины по два, по три патрона на человека, а у остальной половины одни винтовки в руках. Одно орудие, и к нему всего шестнадцать снарядов. Но Кожух, сжав челюсти, смотрит на солдат так, как будто у каждого в сумке по триста патронов, грозно глядят батареи, и переполнены снарядами зарядные ящики, а кругом родная степь, по которой привычно развернется вся колонна до последнего человека.

И с такими глазами и лицом он говорит:

— Товарищи! Бились мы с козаками, с кадетами. Знаемо, за що з ими бились — за тэ, що воны хотять задушить революцию.

Солдаты пасмурно смотрят на него и говорят глазами:

«Без тебя знаем. Що ж с того?.. А в дирочку на мосту все одно не полиземо...»

— ...от козаков мы оторвались,— горы нас отгородили, есть у нас передышка. Но новый враг заступил дорогу. Хтось такие? Це грузины-меньшевики, а меньшевики — одна цена с кадетами, одинаково еднаются с буржуями, сплять и во сне видють, щоб загубить совитску власть...

А солдатские глаза:

«Та цилуйся с своей совитской властью. А мы босы, голи, и йисты нэма чого».

Кожух понимал их глаза, понимал, что это — гибель.

И он, ставя последнюю карту, обратился к кавалеристам:

— Ваша, товарищи, задача: взять мост с маху на коне.

Кавалеристы, все как один, поняли, что сумасбродную задачу ставит им командующий: скакать гуськом (на мосту не развернешься) под пулеметным огнем — это значит, половина завалит мост телами, а вторая половина, не имея возможности через них проскочить, будет расстреляна, когда кинется назад.

Но на них были такие ловкие черкески, так блестело серебром отцовское и дедовское оружие, так красиво-воинственны папахи и барашковые кубанки, так оживленно мотают головами, выдергивая повода, чудесные степные кубанские кони, и, видимо, любуясь, все смотрят на них,—и они дружно гаркнули:

— Возьмем, товарищ Кожух!..

Скрытое орудие, наполняя ущелье, скалы, горы чудовищно разрастающимся эхом, раз за разом стало бить в то место за мостом, где притаились в гнездах пулеметы, а кавалеристы, поправив папахи, молча, без крика и выстрела, вылетели из-за поворота, и, в ужасе прижав уши, вытянув шеи, с кроваво-раздувшимися ноздрями, лошади понеслись к мосту и по мосту.

Грузинские пулеметчики, прижавшиеся под вспыхивавшими поминутно клубочками шрапнели, оглушенные

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК»



«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК»



дико разраставшимися в горах раскатами, не ожидавшие такой наглости, спохватились, застрочили... Упала лошадь, другая, третья, но уже середина моста, конец моста, шестнадцатый снаряд, и... побежали.

— Урра-а-а!! — пошли рубить.

Грузинские части, стоявшие поодаль от моста, отстреливаясь, бросились уходить по шоссе и скрылись за поворотом.

А те, что стояли у моста, отрезанные, кинулись к берегу. Но грузинские офицеры успели раньше вскочить в шлюпки, и шлюпки быстро ушли к пароходам. Из труб густо повалили клубы дыма: пароходы стали удаляться в море.

Стоя по горло в воде, грузинские солдаты протягивали руки к уходящим пароходам, кричали, проклинали, заклинали жизнью детей, а им рубили шеи, головы, плечи, и по воде расходились кровавые круги.

Пароходы чернелись на синеющем краю точками, исчезли, и на берегу уже никто не молил, не проклинал.

XXIII

Над лесами, над ущельями стали громоздиться скалистые вершины. Когда оттуда ветерок — тянет холодком, а внизу, на шоссе — жара, мухи, пыль.

Шоссе потянулось узким коридором — по бокам стиснули скалы. Сверху свешиваются размытые корни. Повороты поминутно скрывают от глаз, что́ впереди и сзади. Ни свернуть, ни обернуться. По коридору немолчно течет всё в одном направлении живая масса. Скалы заслонили море.

Замирает движение. Останавливаются повозки, люди, лошади. Долго, томительно стоят, потом опять двигаются, опять останавливаются. Никто ничего не знает, да и не видно ничего — одни повозки, а там — поворот и стена; вверху кусочек синего неба.

Тоненький голосок:

— Ма-а-мо, кисли-ицы!..

И на другой повозке:

— Ма-а-мо!..

И на третьей:

— Та цытьте вы! Дэ ии узяты?.. Чи на стину лизты? Бачишь, стины?

Ребятишки не унимаются, хнычут, потом, надрываясь, истошно кричат:

— Ма-а-мо!.. дай кукурузы!.. дай кислицы... ки-исли-цы!.. ку-ку-ру-узы... дай!..

Как затравленные волчицы с сверкающими глазами, матери, дико озираясь, колотят ребятишек.

— Цыть! пропасти на вас нету. Когда только подохнете, усю душу повтягалы,— и плачут злыми, бессильными слезами.

Где-то глухо далекая перестрелка. Никто не слышит, никто ничего не знает.

Стоят час, другой, третий. Двинулись, опять остановились.

— Ма-амо, кукурузы!..

Матери так же озлобленно, готовые перегрызть каждому горло, роются в телегах, переругиваются друг с другом; надергивают из повозки стеблей молодой кукурузы, мучительно долго жуют, с силой стискивают зубы, кровь сочится из десен; потом наклоняются к жадно открытому детскому ротику и всовывают теплым языком. Детишки хватают, пробуют проглотить, солома колет горло, задыхаются, кашляют, выплевывают, ревут.

— Не хо́-очу! Не хо̀-очу!

Матери в остервенении колотят.

— Та якого же вам биса?

Дети, размазывая грязные слезы по лицу, давятся, глотают.

Кожух, сжав челюсти, рассматривает в бинокль из-за скалы позиции врага. Толпятся командиры, тоже глядя в бинокли; солдаты, сощурившись, рассматривают не хуже бинокля.

За поворотом ущелье раздалось. Сквозь его широкое горло засинели дальние горы. Громада лесов густо сползает на массив, загораживающий ущелье. Голова массива кремниста, а самый верх стоит отвесно четырехсаженным обрывом,— там окопы противника, и шестнадцать орудий жадно глядят на выбегающее из коридора шоссе. Когда колонна двинулась было из скалистых ворот, батарея и пулеметы засыпали,— места живого не осталось; солдаты отхлынули назад, за скалы. Для Кожуха ясно — тут и птица не пролетит. Развернуться негде,

один путь — шоссе, а там — смерть. Он смотрит на белеющий далеко внизу городок, на голубую бухту, на которой чернеют грузинские пароходы. Надо придумать что-то новое,— но что? Нужен какой-то иной подход,— но какой? И он становится на колени и начинает лазать по карте, разостланной на пыльном шоссе, изучая малейшие изгибы, все складки, все тропинки.

— Товарищ Кожух!

Кожух подымает голову. Двое стоят веселыми ногами.

«Канальи!.. успели...»

Но на них молча смотрит.

— Так что, товарищ Кожух, не перескочить нам по шаше,— всех перебьет Грузия. Зараз мы были, как сказать, на разведке... добровольцами.

Кожух, так же не спуская глаз:

— Дыхни. Да не тяни в себе, дыхай на мене. Знаешь, за это расстрел?

— И вот те Христос, это лесной дух,— лесом пробирались все время, ну, надыхали в себе.

— Хиба ж тут шинки, чи що! — подхватывает с хитро-веселыми украинскими глазами другой.— В лиси одни дерева, бильш ничóго.

— Говори дело.

— Так что, товарищ Кожух, идем это мы с им, и разговор у нас сурьезный: али помирать нам тут усем на шаше, али ворочаться в лапы козакам. И помирать не хотится, и в лапы не хотится. Как тут быть? Гля-а, за деревьями — духан. Мы подползли — четверо грузин вино пьют, шашлык едят; звесно: грузины — пьяницы. Так и завертело у носе, так и завертело, мочи нету. Ливорверты у их. Выскочили мы, пристрелили двоих: «Стой, ни с места! Окружены, так вас растак!.. Руки кверху!..» Энти обалдели,—не ждали. Мы еще одного прикололи, а энтого связали. Ну, духанщик спужался до скончания. Ну, мы, правду сказать, шашлык доели, оставшийся от грузин, которые заплатить должны,— жалованье большое получают,— а вина и не пригубили, как вы, одно слово, приказ дали.

— Та нэхай воно сказыться, це зилье прокляте... Нэхай мени сковородить на сторону усю морду, колы я хочь нюхнул ёго. Нэхай вывернэ мени усю требуху...

— К делу.

— Грузин оттащили в лес, оружие забрали, а остат-

него грузина приволокли сюды, и духанщика, чтобы не распространял. Опять же встрели пять мужчинов с бабами и с девками,— здешние, с-под городу, нашинские, русские, у них абселюция под городом, а грузины азияты, опять же черномазые и не с нашей нации, до белых баб дюже охочи. Ну, всё бросили, до нас идут, сказывают, по тропкам можно обход городу сделать. Чижало, сказывают — пропасти, леса, обрывы, щели, но можно. А в лоб, сказывают, немысленно. Тропинки они все знают как пять пальцев. Ну, трудно, несть числа, одно слово, погибель, а все-таки обойтить можно.

— Где они?

— Здеся.

Подходит командир батальона.

— Товарищ Кожух, сейчас мы были у моря, там никак нельзя пройти: берег скалистый, прямо обрывом в воду.

— Глубоко?

— Да у самой скалы по пояс, а то и по шею, а то и с головой.

— Та що ж,— говорит внимательно слушавший солдат, в лохмотьях, с винтовкой в руке,— що ж, с головой... А есть каменюки наворочены, с гор попадали у море, можно ско́чить зайца́ми с камень на камень.

К Кожуху со всех сторон ползут донесения, указания, разъяснения, планы, иногда неожиданные, остроумные, яркие,— и общее положение выступает отчетливо.

Собирает командный состав. У него сжаты челюсти, колкие, под насунутым черепом, недопускающие глаза.

— Товарищи, вот как. Все три эскадрона пойдут в обход города. Обход трудный: по тропинкам, лесами, скалами, ущельями, да еще ночью, но его во что бы то ни стало выполнить!

«Пропадем... ни одной лошади не вернется...» — стояло запрятанное в глазах, чего бы не сказал язык.

— Имеется пять проводников — русские, здешние жители. Грузины им насолили. У нас их семьи. Проводникам объявлено — семьи отвечают за них. Обойти с тыла, ворваться в город...

Он помолчал, вглядываясь в наползающую в ущелье ночь, коротко уронил:

— Всех уничтожить!

Кавалеристы молодецки поправили на затылках папахи:

— Будет исполнено, товарищ Кожух,— и лихо стали садиться на лошадей.

Кожух:

— Пехотный полк... товарищ Хромов, ваш полк спустите с обрыва, проберетесь по каменьям к порту. С рассветом ударить без выстрела, захватить пароходы на причале.

И опять, помолчав, уронил:

— Всех истребить!

«На море грузины поставят одного стрелка, весь полк поснимают с каменюков поодиночке...»

А вслух дружно сказали:

— Слушаем, товарищ Кожух.

— Два полка приготовить к атаке в лоб.

Одна за одной стала тухнуть алость дальних вершин: однообразно и густо засинело. В ущелье вползала ночь.

— Я поведу.

Перед глазами у всех в темном молчании отпечаталось: дремучий лес, за ним кремнистый подъем, а над ним одиноко. как смерть с опущенным взором, отвес скалы... Постояло и растаяло. В ущелье вползала ночь. Кожух вскарабкался на уступ. Внизу смутно тянулись ряды тряпья, босые ноги, выделялось колко множество теснившихся штыков.

Все смотрели не спуская глаз на Кожуха,— у него был секрет разрешить вопрос жизни и смерти: он обязан указать выход, выход — все это отчетливо видели — из безвыходного положения.

Подмываемый этими тысячами устремленных на него требующих глаз, чувствуя себя обладателем неведомого секрета жизни и смерти, Кожух сказал:

— Товариство! Нам нэма с чого выбираты: або тут сложим головы, або козаки сзаду всих замучут до одного. Трудности неодолимые: патронов нэма, снарядов к орудию нэма, брать треба голыми руками, а на нас оттуда глядят шестнадцать орудий. Но колы вси как один...— он с секунду перемолчал, железное лицо окаменело, и закричал диким, непохожим голосом, и у всех захолонуло: — колы вси как один ударимо, тоди дорога открыта до наших.

То, что он говорил, знал и без него каждый последний солдат, но, когда закричал странным голосом, всех поразила неожиданная новизна сказанного, и солдаты закричали:

— Як один!! Або пробьемось, або сложим головы!

Пропали последние пятна белевших скал. Ничего не видно: ни массива, ни скал, ни лесов. Потонули зады последне уходящих лошадей. Не видать сыпавших мелкими камнями солдат, спускавшихся, держась за тряпье друг друга, по промоине к морю. Скрылись последние ряды двух полков в непроглядном лесу, над которым, как смерть с закрытыми глазами, чудилась отвесная скала.

Обоз замер в громадном ночном молчании: ни костров, ни говора, ни смеха, и детишки беззвучно лежат с голодно ввалившимися личиками.

Молчание. Темь.

XXIV

Грузинский офицер с молодыми усами, в тонко перетянутой красной черкеске, в золотых погонах, с черными миндалевидными глазами, от которых (он это знал) захлебывались женщины, похаживал по площадке массива, изредка взглядывал. Окопы, брустверы, пулеметные гнезда.

В двадцати саженях недоступно отвесный обрыв, под ним крутой каменистый спуск, а там непролазная темень лесов, а за лесами — скалистое ущелье, из которого выбегает белая пустынная полоска шоссе. Туда скрыто глядят орудия, там — враг.

Около пулеметов мерно ходят часовые — молодцеватые, с иголочки.

Этим рваным свиньям дали сегодня утром жару, когда они попробовали было высунуться по шоссе из-за скал,— попомнят.

Это он, полковник Михеладзе (такой молодой и уже полковник!), выбрал позицию на этом перевале, настоял на ней в штабе. Ключ, которым заперто побережье.

Он опять глянул на площадку массива, на отвесный обрыв, на береговые скалы, отвесно срывавшиеся в море,— да, всё, как по заказу, сгрудилось, чтобы остановить любую армию.

Но этого мало, м а л о их не пустить — и х надо истребить. И у него уже составлен план: отправить паро-

ходы им в тыл, где шоссе спускается к морю, обстрелять с моря, высадить десант, запереть эту вонючую рвань с обоих концов, и они подохнут, как крысы в мышеловке.

Это он, князь Михеладзе, владелец небольшого, но прелестного имения под Кутаисом, он отсечет одним ударом голову ядовитой гадине, которая ползет по побережью.

Русские — враги Грузии, прекрасной, культурной, великой Грузии, такие же враги, как армяне, турки, азербайджане, татары, абхазцы. Большевики — враги человечества, враги мировой культуры. Он, Михеладзе, сам социалист, но он... («Послать, что ли, за этой, за девчонкой, за гречанкой?.. Нет, не стоит... не стоит на позиции, ради солдат...») ...но он истинный социалист, с глубоким пониманием исторического механизма событий, и кровный враг всех авантюристов, под маской социализма разнуздывающих в массах самые низменные инстинкты.

Он не кровожаден, ему претит пролитая кровь, но когда вопрос касается мировой культуры, касается величия и блага родного народа,— он беспощаден, и *эти* поголовно все будут истреблены.

Он похаживает с биноклем, посматривает на страшной крутизны спуск, на темень непроходимых лесов, на извилисто выбегающую из-за скал белую полоску шоссе, на которой никого нет, на алеющие вечерней алостью верщины и слышит тишину, мирную тишину мягко наступающего вечера.

И эта стройно охватывающая его красивую фигуру великолепного сукна черкеска, дорогие кинжал и револьвер, выложенные золотом с подчернью, белоснежная папаха единственного мастера, знаменитости Кавказа, Османа,— всё это его обязывает, обязывает к подвигу, к особенному, что он должен совершить; оно отделяет его ото всех,— от солдат, которые вытягиваются перед ним в струнку, от офицеров, у которых нет его опытности и знаний, и когда он стройно ходит, чувствует — носит в себе тяжесть своего одиночества.

— Эй!

Подбегает денщик, молоденький грузин с неправильно-желтым приветливым лицом и такими же, как у полковника, влажно-черными глазами, вытягивается в струнку, берет под козырек.

— Чего изволите?

«...Эту девчонку... гречанку... приведи...» Но не выговорил, а сказал, строго глядя:

— Ужин?

— Так точно. Господа офицеры ждут.

Полковник величественно прошел мимо вскакивавших и вытягивавшихся в струнку солдат с худыми лицами: не было подвоза — солдаты получали только горсточку кукурузы и голодали. Они отдавали честь, провожая глазами, и он небрежно взмахивал белой перчаткой, слегка надетой на пальцы. Прошел мимо тихонько, по-вечернему дымивших синеватым дымком костров, мимо артиллерийских коновязей, мимо пирамид составленных винтовок пехотного прикрытия и вошел в длинно белевшую палатку, в которой ослепительно тянулся из конца в конец стол, заставленный бутылками, тарелками, рюмками, икрой, сыром, фруктами.

Разговор в группах таких же молодых офицеров, так же стройно перетянутых, в красивых черкесках, торопливо упал; все встали.

— Прошу,— сказал полковник, и стали все усаживаться.

А когда ложился в своей палатке, приятно шла кругом голова, и, подставляя ногу денщику, стаскивавшему блестяще лакированный сапог, думал:

«Напрасно не послал за гречанкой... Впрочем, хорошо, что не послал...»

XXV

Ночь так громадна, что поглотила и горы и скалы, колоссальный провал, который днем лежал перед массивом, в глубине которого леса, а теперь ничего не видно.

По брустверу ходит часовой — такой же бархатно-черный, как и всё в этой бархатной черноте. Он медленно делает десять шагов, медленно поворачивается, медленно проходит назад. Когда идет в одну сторону — смутно проступают очертания пулемета, когда в другую — чувствуется скалистый обрыв, до самых краев ровно залитый тьмой. Невидимый отвесный обрыв вселяет чувство спокойствия и уверенности: ящерица не взберется.

И опять медленно тянутся десять шагов, медленный поворот, и опять...

Дома маленький сад, маленькое кукурузное поле. Нина, и на руках у нее маленький Серго́. Когда он уходил, Серго́ долго смотрел на него черносливовыми глазами, потом запрыгал на руках матери, протянул пухлые ручонки и улыбнулся, пуская пузыри, улыбнулся чудесным беззубым ртом. А когда отец взял его, он обслюнявил милыми слюнями лицо. И эта беззубая улыбка, эти пузыри не меркнут в темноте.

Десять медленных шагов, смутно угадываемый пулемет, медленный поворот, так же смутно угадываемый край отвесного обрыва, опять...

Большевики зла ему не сделали... Он будет в них стрелять с этой высоты. По шоссе ящерица не проскочит... Большевики царя спихнули, а царь пил Грузию,— очень хорошо... В России, говорят, всю землю крестьянам... Он вздохнул. Он мобилизован и будет стрелять, если прикажут, в тех, что там, за скалами.

Ничем не вызываемая, выплывает беззубая улыбка и пузыри, и в груди теплеет, он внутренне улыбается, а на темном лице серьезность.

Тянется все та же тишина, до краев наполненная тьмой. Должно быть, к рассвету — и эта тишина густо наваливается... Голова неизмеримой тяжести, ниже, ниже... Да разом вздернется. Даже среди ночи особенно непроглядна распростершаяся неровная чернота — горы; в изломах мерцают одинокие звезды.

Далеко и непохоже закричала ночная птица. Отчего в Грузии таких не слыхал?

Все налито тяжестью, все недвижимо и медленно плывет ему навстречу океаном тьмы, и это не странно, что недвижимо и неодолимо плывет ему навстречу.

— Нина, ты?.. А Серго́?..

Открыл глаза, а голова мотается на груди, и сам прислонился к брустверу. Последние секунды оторванного сна медленно плыли перед глазами ночными пространствами.

Тряхнул головой, все замерло. Подозрительно вгляделся: та же недвижимая темь, тот же смутно видимый бруствер, край обрыва, пулемет, смутно ощущаемый, но невидимый, провал. Далеко закричала птица. Таких не бывает в Грузии...

Он переносит взгляд вдаль. Та же изломанная чернота, и в изломах слабо мерцают побелевшие и уже в

ином расположении звезды. Прямо — океан молчаливой тьмы, и он знает — на дне его дремучие леса. Зевает и думает: «Надо ходить, а то опять...» — да не додумал, и сейчас же опять поплыла неподвижная тьма из-под обрыва, из провала, бесконечная и неодолимая, и у него тоскливо стало задыхаться сердце.

Он спросил:

«Разве может плыть ночная темь?»

А ему ответили:

«Может».

Только ответили не словами, а засмеялись одними деснами.

Оттого, что рот был беззубый и мягкий, ему стало страшно. Он протянул руку, а Нина выронила голову ребенка. Серая голова покатилась (у него замерло), но у самого края остановилась... Жена в ужасе — ах!.. но не от того, а от другого ужаса: в напряженно-предрассветном сумраке по краю обрыва серело множество голов, должно быть, скатившихся... Они всё повышались: показались шеи, вскинулись руки, приподнялись плечи, и железно-ломаный, с лязгом, голос, как будто протиснутый сквозь неразмыкающиеся челюсти, поломал оцепенение и тишину:

— Вперед!.. в атаку!!

Нестерпимо звериный рев взорвал все кругом. Грузин выстрелил, покатился, и в нечеловечески-раздирающей боли разом погас прыгавший на руках матери с протянутыми ручонками, пускающий пузыри улыбающимся ртом, где одни десны, ребенок.

XXVI

Полковник вырвался из палатки и бросился вниз, туда, к порту. Кругом, прыгая через камни, через упавших, летели в яснеющем рассвете солдаты. Сзади, наседая, катился нечеловеческий, никогда не слышанный рев. Лошади рвались с коновязи и в ужасе мчались, болтая обрывками...

Полковник, как резвый мальчишка, прыгая через камни, через кусты, несся с такой быстротой, что сердце не поспевало отбивать удары. Перед глазами стояло одно: бухта... пароходы... спасенье...

И с какой быстротой он несся ногами, с такой же

быстротой — нет, не через мозг, а через все тело — неслось:

«...Только б... только б... только б... не убили... только б пощадили. Все готов делать для них... Буду пасти скотину, индюшек... мыть горшки... копать землю... убирать навоз... только б жить... только б не убили... Господи!.. жизнь-то — жизнь...»

Но этот сплошной, потрясающий землю топот несется страшно близко, сзади, с боков. Еще страшнее, наполняя умирающую ночь, безумно накатывается сзади, охватывая, дикий, нечеловеческий рев: а-а-а!.. и отборные, хриплые, задыхающиеся ругательства.

И в подтверждение ужаса этого рева то там, то там слышится: кррак!.. кррак!.. Он понимает: это прикладом, как скорлупу, разбивают череп. Взметываются заячьи вскрики, мгновенно смолкая, и он понимает: это — штыком.

Он несется, каменно стиснув зубы, и жгучее дыхание, как пар, вырывается из ноздрей.

«...Только б жить... только б пощадили... Нет у меня ни родины, ни матери... ни чести, ни любви... только уйти... а потом все это опять будет... А теперь — жить, жить, жить...»

Казалось, израсходованы все силы, но он напружил шею, втянул голову, сжал кулаки в мотающихся руках и понесся с такой силой, что навстречу побежал ветер, а безумно бегущие солдаты стали отставать, и их смертные вскрики несли на крыльях бежавшего полковника.

Кррак!.. кррак!..

Заголубела бухта... Пароходы... О, спасение!..

Когда подбежал к сходням, на секунду остановился: на пароходах, на сходнях, на набережной, на молу что-то делалось и отовсюду: кррак!.. кррак!..

Его поразило: и тут стоял неукротимый, потрясающий рев и неслось: крррак!.. крррак!.. и вспыхивали и гасли смертные вскрики.

Он мгновенно повернул и с еще большей легкостью и быстротой понесся прочь от бухты, и в глаза на мгновение блеснула последний раз за молом бесконечная синева...

«...Жить... жить... жить!..»

Он летел мимо белых домиков, бездушно глядевших черными немыми окнами, летел на край города, туда,

где потянулось шоссе, такое белое, такое спокойное, потянулось в Грузию. Не в великодержавную Грузию, не в Грузию, рассадницу мировой культуры, не в Грузию, где он произведен в полковники, а в милую, единственную, родную, где так чудесно пахнет весною цветущими деревьями, где за зелеными лесными горами белеют снега, где звенящий зной, где Тифлис, Воронцовская, пенная Кура и где он бегал мальчишкой...

«...Жить... жить... жить!..»

Стали редеть домики, прерываясь виноградниками, а рев, страшный рев и одиночные выстрелы остались далеко назади, внизу, у моря.

«Спасен!!»

В ту же секунду все улицы наполнились потрясающе тяжелым скоком; из-за угла вылетели на скакавших лошадях, и вместе с ними покатился такой же отвратительный, смертельный рев: рры-а-а... Вспыхивали узкие полосы шашек.

Бывший князь Михеладзе, когда-то грузинский полковник, мгновенно бросился назад.

«...Спаси-ите!»

И, зажав дыхание, полетел по улице к центру города. Раза два ударился в калитку,— калитки и ворота были наглухо заперты железными засовами, никто не подавал и признаков жизни: там чудовищно было всё равно, что делалось на улице.

Тогда он понял: одно спасение — гречанка. Она ждет с черно-блестящими жалостливыми глазами. Она — единственный в мире человек... Он на ней женится, отдаст имение, деньги, будет целовать край ее одеж...

Голова взрывом разлетелась на мелкие части.

А на самом деле не на мелкие части, а расселась под наискось вспыхнувшей шашкой надвое, вывалив мозги.

XXVII

Зной разгорается. Невидимый, мертвый туман тяжело стоит над городом. Улицы, площади, набережная, мол, дворы, шоссе завалены. Груды людей неподвижно лежат в разнообразных позах. Одни страшно подвернули головы, у других шея без головы. Студнем трясутся на мостовой мозги. Запекшаяся, как на бойне, кровь

темно тянется вдоль домов, каменных заборов, подтекает под ворота.

На пароходах, в каютах, в кубрике, на палубе, в трюме, в кочегарке, в машинном отделении — всё они, с тонкими лицами, черненькими молодыми усиками.

Неподвижно перевешиваются через парапет набережной, и когда глянешь в прозрачно-голубую воду, спокойно лежат на ослизло-зеленоватых камнях, а над ними неподвижно виснут серые стаи рыб.

Только из центра города несутся частые выстрелы и торопливо татакает пулемет: вокруг собора засела грузинская рота и геройски умирает. Но и эти замолчали.

Мертвые лежат, а живые переполнили городок, улицы, дворы, дома, набережную, и около города, по шоссе, на склонах в ущельях — всё повозки, люди, лошади. Суета, восклицания, смех, гомон.

По этим мертво-живым местам проезжает Кожух.

— Победа, товарищи, победа!!

И как будто нет ни мертвых, ни крови,— буйно-радостно раскатывается:

— Урра-а-а!!

Далеко откликается в синих горах и далеко умирает за пароходами, за бухтой, за молом, во влажной синеве.

А на базарах, в лавках, в магазинах идет уже мелькающая озабоченная работа: разбивают ящики, рвут штуки сукна, сдергивают с полок белье, одеяла, галстуки, очки, юбки.

Больше всего налетело матросов — они тут как тут. Всюду крепкие, кряжистые фигуры в белых матросках, брюках клёш, круглые шапочки, и ленточки полощутся, и зычно разносится:

— Греби!

— Причалива-ай!

— Кро-ой!!

— Выгребай с энтой полки!

Орудовали быстро, ловко, организованно. Один приправил на голове роскошную дамскую шляпу, обмотал морду вуалью, другой — под шелковым кружевным зонтиком.

Суетились и солдаты в невероятных отрепьях, с черными, босыми, полопавшимися ногами; забирали ситец, полотно, парусину для баб и детей.

Вытаскивает один из картонного короба крахмален-

ную рубаху, растопырил за рукава и загоготал во всё горло:

— Хлопьята, бачь: рубаха!.. Матери твоей по потылице...

Полез, как в хомут, головой в ворот.

— Та що ж вона не гнеться? Як лубок.

И он стал нагибаться и выпрямляться, глядя себе на грудь, как баран.

— Ей-бо, не гнеться! Як пружина.

— Тю, дура! Це крахмал.

— Що таке?

— Та с картофелю паны у грудях соби роблють, щоб у грудях у их выходыло.

Высокий, костлявый — почернелое тело сквозит в тряпье — вытащил фрак. Долго рассматривал со всех сторон; решительно скинул тряпье и голый полез длинными, как у орангутанга, руками в рукава, но рукава — по локоть. Надел прямо на голое тело. На животе застегнул, а книзу вырез. Хмыкнул:

— Треба штанив.

Полез искать, но брюки забрали. Полез в бельевое отделение, вытащил картон,— в нем что-то странное. Развернул, прицелился, опять хмыкнул:

— Чудно! Штани не штани, а дуже тонко. Хведор, що таке?

Но Хведору было не до того,— он вытаскивал ситец бабе и ребятам — голые.

Опять прицелился и вдруг хмуро и решительно надернул на длинные, жилистые, почернелые от солнца и грязи ноги. Оказалось, то, что надел, болталось выше колен кружевами.

Хведор глянул и покатился:

— Хлопьята, гляньте! Опанас!..

Магазин дрогнул от хохота:

— Та це ж бабьи портки!

А Опанас мрачно:

— А що ж, баба нэ чоловик?

— Як же ты будешь шагать,— разризано, усе видать, и тонина.

— А мотня здоровая!..

Опанас сокрушенно посмотрел.

— Правда. То-то дурни, штани з якой тонины роблять, тильки материал портють.

Вытащил из коробка всё, что там было, и стал молча надевать одни за другими,— шесть штук надел; кружева пышным валом повыше колена.

Матросы на секунду прислушались и вдруг бешено ринулись в двери, в окна. А за окнами улюлюканье, матерная ругань, конский топот, хруст нагаек о человеческое тело. Солдаты — к окнам. По площади, что было силы, бежали матросы, стараясь спасти захваченное. Эскадронцы, шпоря лошадей, нещадно пороли их, просекая одежду, и синие вздувшиеся жгуты опоясывали лица,— кровь брызгала.

Матросы, озверело оглядываясь, побросали набитые сумки — невтерпеж стало — рассыпались кто куда.

XXVIII

Тревожно, торопливо трещал барабан. Играл горнист.

Через двадцать минут на площади шеренгами стояли солдаты с строгими лицами. И этой строгости странно не соответствовала одежда. Одни были в прежнем пропотелом тряпье, другие — в крахмаленных, расстегнутых, подпоясанных веревочками сорочках — на груди стояли коробом. Иные — в дамских ночных кофтах или в лифах, и странно торчали из них черные руки, шеи. А правофланговый третьей роты, высокий, костлявый и сумрачный, стоял в черном фраке на голом теле, с рукавами до локтя; густо белели выше голых колен кружева.

Подошел Кожух, железно зажимая челюсти, а глаза серые, острого блеска. За ним командный состав в красивых грузинских офицерских папахах, малиновых черкесках, на которых серебряные с чернью кинжалы.

Кожух постоял, всё так же посылая вдоль шеренги острый блеск стали крохотных глаз.

— Товарищи!

Голос такого же ржаво-ломаного железа, как тот, что ночью: «Вперед!.. в атаку!..»

— Товарищи! Мы — революционная армия, бьемось за наших дитэй, за жен, за наших старых матерей, отцов, за революцию, за нашу землю. А землю хто дал?

Он замолчал и ждал ответа, зная, что не будет ответа: стояли в строю.

— Хто дал? Совитска власть. А вы що сделали? А вы разбойниками стали,— пошли грабить.

Стояла такая тишина напряжения, что вот лопнет. А ржавое железо, ломаясь, гремело:

— Я, командующий колонной, я назначаю двадцать пять розог кажному, хто взял хочь нитку.

Все неподвижно смотрели на него, не спуская глаз: он был отрепан; штаны висели клочьями; как блин, обвисла грязная соломенная шляпа.

— У кого хочь трошки есть награбленного, три шага вперед!

Прошла тягостная секунда молчания — никто не тронулся...

И вдруг земля глухо и дружно: раз! два! три!.. Немного осталось стоять в тряпье. А в новой шеренге густо стояли одетые кто во что горазд.

— Що взято у городе, пойдет в общий котёл, вашим же дитям и бабам. Кладите на землю, хто що взял. Всё!

Вся передняя шеренга шевельнулась и стала класть перед собой куски ситца, полотна, парусины, а другие стали снимать крахмаленные рубахи, дамские кофточки, лифчики, сложили на земле кучками и стояли, голые и загорелые. Снял и правофланговый фрак и панталоны, и тоже стоял, костлявый и голый.

Подъехала повозка. Из повозки вынули розги.

Кожух подошел к фланговому.

— Лягай!

Тот стал на четвереньки, потом неуклюже лег лицом в панталоны, и солнце жгло ему голый зад.

Кожух ржаво закричал:

— Лягайте вси!

И все легли, подставляя зады и спины горячему солнцу.

Кожух смотрел, и лицо было каменное. Разве не эти люди, шумя буйной ордой, выбирали его в начальники? Разве не они кричали ему: «Продал... пропил нас?» Разве не они играли им, как щепкой? Разве не они хотели поднять его на штыки?

А теперь покорно лежат голые.

И волна силы и мощи, подобная той, что взносила его, когда честолюбиво добивался офицерства, поднялась в душе. Но это была другая волна, другого честолюбия — он спасет, он выведет вот этих, которые так

покорно лежат, дожидаясь розог. Покорно лежат, но если бы он заикнулся сказать: «Хлопцы, завертывайте назад, до козаков, до офицеров»,— его бы подняли на штыки.

И опять ржавый кожухов голос разнесся над лежавшими:

— Одевайсь!

Все поднялись и стали одеваться в крахмаленные рубахи, в кофточки, а правофланговый опять напялил фрак и надернул шесть штук панталон.

Кожух сделал знак, и два солдата с засветившимися лицами забрали нетронутую кучу розог и положили назад в повозку. Потом повозка поехала вдоль шеренги, и в нее радостно кидали куски ситцу, полотна, сатину.

XXIX

В бархатно-черном океане красновато шевелятся костры, озаряя лица, плоские, как из картона, фигуры, угол повозки, лошадиную морду. И вся ночь наполнена гомоном, голосами, восклицаниями, смехом; песни родятся близко и далеко, гаснут; зазвенит балалаечка; заиграет вперебивку гармоника. Костры, костры...

Ночь полна еще чем-то, о чем не хочется думать.

Над городом синевато озаренный свет электрического сияния.

Заглядывает красноватый отсвет потрескивающего костра в старое лицо. Знакомое лицо. Э-э, будь здорова, бабуся! Бабо Горпино! Дид в сторонке лежит молча на тулупе. Кругом костра сидят солдатики, и лица красно озарены,— из своей же станицы. Котелки подвешены, да в котелках, почитай, вода одна.

А баба Горпина:

— Господи, царица небесная, що ж воно таке?! Йшлы, йшлы, йшлы, а ничого нэма, хочь подыхай, нэма чого пойисты. Що ж воно таке за начальство — пожрать ничого не може дать? Якое же то начальство... Анки нэма. Дид мовчить.

Вдоль шоссе неровная цепочка уходящих костров.

За костром лежит на спине солдатик (его не видно), закинул за голову руки, смотрит в темное небо и не видит звезд. Не то вспомнить что-то хочется, не то тоска. Лежит, заломив руки, о чем-то о своем думает, и, как думы, плывет его голос — молодой, мягко-задумчивый:

...Возь-ми сво-ю жи-и-ин-ку...

Бьет ключом в котелке голая водица.

— Шо ж воно таке...— это баба Горпина.— Завелы, тай подыхать нам тут. От одной воды тильки живот пучить, хочь вона наскрозь прокипить.

— Во́!..— говорит солдат, протягивая к костру красно озаренную ногу в новом английском штиблете и в новых рейтузах.

У соседнего костра игриво заиграла гармоника. Прерывисто тянулась цепочка огней.

— И Анки нэма... Лахудра! Дэсь вона? Шо з ей робиты? Хочь бы ты, диду, ее за волосья потягал. И чого ты мовчишь, як колода?..

...От-дай мою лю-уль-ку, не-о-ба-чный...—

продолжал свою песню солдатик, да повернулся на живот, подпер подбородок и с красно озаренным лицом стал смотреть в костер.

Затейливо выделывала гармошка. В озаренно шевелящейся темноте смех, говор, песни и у ближних и у дальних костров.

— И все были люди, и у кажного — мать...

Он это сказал, ни к кому не обращаясь, молодым голосом, и сразу побежало молчание, погашая гармошку, говор, смех, и все почувствовали густой запах тления, наплывавший с массива — там особенно их много лежало.

Пожилой солдат поднялся, чтоб разглядеть говорившего... Плюнул в костер, зашипело. Должно быть, молчание в этой вдруг почувствовавшейся темноте долго бы стояло, да неожиданно ворвались крики, говор, брань.

— Что такое?

— Шо таке?

Все головы повернулись в одну сторону. А оттуда из темноты:

— Иди, иди, сволочь!..

В освещенный круг взволнованно вошла толпа солдат, и костер неверно и странно выхватывал из темноты то часть красного лица, то поднятую руку, штык. А в середине, поражая неожиданностью, блеснули золотые погоны на плечах тоненько перехваченной черкески молоденького, почти мальчика, грузина.

Он затравленно озирался огромными, прелестными, как у девушки, глазами, и на громадных ресницах, как

красные слезы, дрожали капли крови. Так и казалось, он скажет: «Мама...» Но он ничего не говорил, а только озирался.

— У кустах спрятался,— все никак не справляясь с охватившим волнением, заговорил солдат.— Это каким манером вышло. Пошел я до ветру у кусты, а наши еще кричат: «Пошел, сукин сын, дальше». Я это в самые кусты сел,— чего такое черное? Думал — камень, хвать рукой, а это — он. Ну, мы его в приклады.

— Коли его, так его растак!..— подбежал маленький солдат со штыком наперевес.

— Постой... погоди...— загомонили кругом,— надо командиру доложить.

Грузин заговорил умоляюще:

— Я по мобилизации... я по мобилизации, я не мог... меня послали... у меня мать...

А на ресницах висли новые красные слезы, сползая с разбитой головы. Солдаты стояли, положив руки на дула, хмуро глядя.

Тот, что лежал по ту сторону на животе и все время, озаренный, смотрел в костер, сказал:

— Молоденький... Гляди, и шестнадцати нету...

Разом взорвали голоса:

— Та ты хто такий? Господарь?.. Мы бьемось с кадетами, а грузины чого под ногами путаются? Просили их сюда? Мы не на живот, на смерть бьемось с козаками, третий не приставай. А хто вставит нос у щель, оттяпаем совсем с головой.

Отовсюду слышались возбужденно-озлобленные голоса. Подходили и от других костров.

— Та хто-сь такий?

— Вон лежит молокосос... Ще и молоко на губах не обсохло.

— Та мать его так!

Солдат грубо выругался и стал снимать котелок. Подошел командир. Мельком глянул на мальчика и, повернувшись, пошел прочь, уронив так, чтобы грузин не слышал:

— В расход!

— Пойдем,— преувеличенно сурово сказали два солдата, вскинув винтовки и не глядя на грузина.

— Куда вы меня ведете?

Трое пошли, и из темноты донеслось с той же преувеличенной серьезностью:

— В штаб... на допрос... там будешь ночевать...

Через минуту выстрел. Он долго перекатывался, ломаясь в горах, наконец смолк... А ночь все была полна смолкшими раскатами. Вернулись двое, молча сели к огню, ни на кого не глядя... А ночь все была полна неумирающим последним выстрелом.

Точно желая стереть нестираемый отзвук его, все заговорили оживленно и громче обычного. Заиграла гармошка, затренькала балалайка.

— Мы лесом як продирались тай подошли к скале, чуем, пропало дило: и к ним не влизим и не уйдем,— день настане, всих расстреляють...

— Ни туды, ни суды,— засмеялся кто-то.

— А тут думка: притворились сукины диты, що сплять; зараз начнуть поливать. А там наверху по краю поставь десять стрелков — обои полки смахнут, як мух. Ну, лизим, один одному на плечи тай на голову становимся...

— А батько дэ був?

— Та и батько ж с нами лиз. Як долизлы доверху, осталось сажени дви, прямо стиной: нияк не можно, ни взад, ни вперед,— затаились вси. Батько вырвав у одного штык, устромив в скалу и полиз. И вси за им начали штыки в щели втыкать, так и пидтягалысь до самого верху.

— А у нас цельный взвод захлебнулся у мори. Скачем, як зайцы, с камня на камень. Темь. Они оборвались, один за одним, в воду — и потопли.

Но как оживленно ни стоял говор, как весело ни горели костры, темноту напряженно наполняло то, что каждый хотел забыть, и все так же неотвратимо наплывал запах тления.

А баба Горпина сказала:

— Що таке? — и показала.

Стали глядеть туда. В темноте, где невидимо стоял массив, мелькали дымные факелы, передвигались, наклонялись.

Знакомый молодой голос в темноте сказал:

— Это же наши команды и наряды из жителей подбирают. Целый день подбирают.

Все молчали.

XXX

Опять солнце. Опять блеск моря, иссиня-дымчатые очертания дальних гор. Все это медленно опускается,— шоссе петлями идет все выше и выше.

Крохотно далеко внизу белеет городок, постепенно исчезая. Синяя бухта, как карандашом, прямолинейно очерчена тоненькими линиями мола. Чернеют черточки оставленных грузинских пароходов. Вот только жаль — нельзя было прихватить и их с собою.

Впрочем, и без того много набрали всякой всячины. Везут шесть тысяч снарядов, триста тысяч патронов. Напрягая масляно-черные постромки, отличные грузинские лошади везут шестнадцать грузинских орудий. На грузинских повозках тянется множество всякого военного добра — полевые телефоны, палатки, колючая проволока, медикаменты; тянутся санитарные повозки — всего хоть засыпься. Одного нет: хлеба и сена.

Терпеливо идут лошади, голодно поматывая головами. Солдаты туго затянули животы, но все веселы — у каждого по двести, по триста патронов у пояса, бодро шагают в веселых горячих облаках белой пыли, и кучами носятся свыкшиеся с походом, неотстающие мухи. Дружно в шаг разносится в солнечном сверкании:

Чи-и у шин-кар-ки-и ма-ло го-рил-ки,
Ма-ло и пи-ва и мэ-э-ду-у...

Бесконечно скрипят арбы, повозки, двуколки, фургоны. Между красными подушками мотаются исхудалые детские головенки.

По тропинкам, сокращенно между шоссейными петлями, нескончаемо гуськом тянутся пешеходы все в тех же картузах, истрепанных, обвислых соломенных и войлочных шляпах, с палками в руках, а бабы в рваных юбках, босые. Но уже никто не подгоняет хворостиной живность — ни коровы, ни свиньи, ни птицы; даже собаки с голоду куда-то попропали.

Бесконечно извивающаяся змея, шевелясь бесчисленными звеньями, вновь поползла в горы к пустынным скалам мимо пропастей, обрывов, расщелин, поползла к перевалу, чтобы перегнуться и сползти снова в степи, где хлеб и корм, где ждут свои.

Вда-ари-им о зем-лю ли-хом, жур-бою тай
бу-дем пить, ве-с-се-ли-и-ться...
То-рре-а-дор, сме-ле-е-е! То-рре-а-дор...

Новых пластинок набрали в городе.

Высятся в голубом небе недоступные вершины.

Городок утонул внизу в синеве. Расплылся берег. Море встало голубой стеной и постепенно закрылось обступившими шоссе верхушками деревьев. Жара, пыль, мухи, осыпи вдоль шоссе и леса, пустынные леса, жилье зверей.

К вечеру над бесконечно скрипевшим обозом стояло:

— Мамо... исты... исты дай... исты!..

Матери, исхудалые, с почернелыми лицами, похожими на птичьи клювы, вытянув шеи, смотрели воспаленными глазами на уходившее петлями все выше шоссе, торопливо мелькая босыми ногами около повозок,— им нечего было сказать ребятишкам.

Подымались все выше и выше, леса редели, наконец остались внизу. Надвинулась пустыня скал, ущелий, расщелин, громады каменных обвалов. Каждый звук, стук копыт, скрип колес отовсюду отражались, дико, разрастаясь, заглушая человеческие голоса. То и дело приходилось обходить павших лошадей.

Вдруг разом зной упал; потянуло с вершин; все посерело. Без промежутка наступила ночь. С почернелого неба хлынули потоки. Это был не дождь, а, шумя, сбивая с ног, неслась вода, наполняя бешеным водяным вихрем крутящуюся темноту. Неслась сверху, снизу, с боков. Вода струилась по тряпью, по прилипшим волосам. Потерялось направление, связь. Люди, повозки, лошади тянулись отъединенные, как будто между ними было бушующее пространство, не видя, не зная, что и кто кругом.

Кого-то унесло... Кто-то кричал... Да разве возможен тут человеческий голос?.. Клокотала вода, не то ветер, не то черно-бушующее небо, или горы валились... А может быть, понесло весь обоз, лошадей, повозки...

— Помоги-ите!

— Ра-а-туйте!.. кинец свита!..

Они думали, что кричат, а это, захлебываясь, шептали посинелые губы.

Лошади, сбитые несущимся потоком, увлекали повозку с детьми в провал, но люди долго шли около пустого места, думая, что идут за повозкой.

Дети зарылись в насквозь промокшие подушки и одежду:

— Ма-а-мо!.. ма-амо!.. та-а-ту!..

Им казалось — они отчаянно кричат, а это ревела несшаяся вода, катились с невидимых скал невидимые камни, бешено горланил живыми голосами ветер, непрерывно выливая ушаты.

Кто-то, распоряжавшийся в этом сумасшедшем доме, разом отдернул колоссальную завесу, и нестерпимо остро затрепетало синим трепетанием все, что помещалось до этого в черноте необъятной ночи. Режуще-сине затрепетали извилины дальних гор, зубцы нависших скал, край провала, лошадиные уши, и, что ужаснее, в этом безумно трепещущем свете все было мертво-неподвижно; неподвижны косые полосы воды в воздухе, неподвижны пенистые потоки, неподвижны лошади с поднятым для шага коленом, неподвижны люди на полушаге, открыты чернеющие рты на полуслове, и бледны синие ручонки детишек меж мокрых подушек. Все недвижно в молчаливо судорожном трепетании.

Это трепетание смертельной синевы продолжалось всю ночь; а когда так же неожиданно мгновенно завеса задернулась, оказалось — только долю секунды.

Громада ночи все поглотила, и тотчас же, покрывая эту ведьмину свадьбу, треснула гора, и из недр выкатился такой грохот, что не поместился во всей громаде ночи, раскололся на круглые куски и, продолжая лопаться, покатился в разные стороны, все разрастаясь, заполняя невидимые ущелья, леса, провалы,— люди оглохли, а ребятишки лежали, как мертвые.

Среди ливших потоков, поминутно моргающей синевы, без перерыва разрастающихся раскатов остановился обоз, войска, орудия, зарядные ящики, беженцы, двуколки,— больше не было сил. Все стояло, отдаваясь на волю бешеных потоков, ветра, грохота и нестерпимо трепещущего мертвого света. Вода неслась выше лошадиных колен. Разыгравшейся ночи не было ни конца, ни края.

А наутро опять сияющее солнце; как умытый, прозрачен воздух; легко-воздушны голубые горы. Только люди черны, осунулись, ввалились глаза; напрягая последние силы, помогают тянуть лошадям. А у лоша-

дей костлявые головы, выступили, хоть считай, ребра, чисто вымыта шерсть.

Кожуху докладывают:

— Так что, товарищ Кожух, три повозки смыло в пропасть совсем с людьми. Одну двуколку разбило камнем с горы. Двух убило молнией. Двое из третьей роты пропали без вести. А лошади десятками падают, по всея шаше лежат.

Кожух смотрит на чисто вымытое шоссе, на скалы, которые сурово громоздятся, и говорит:

— На ночлег не останавливаться, идтить безостановочно, день и ночь идтить!

— Лошади не выдержат, товарищ Кожух. Сена ни клочка. Через леса шли — хочь листьями кормили, а теперь голый камень.

Кожух помолчал.

— Идтить безостановочно! Будем останавливаться — все лошади пропадут. Напишите приказ.

Чудесный, чистый горный воздух, так бы и дышал им. Десяткам тысяч людей не до воздуха; молча глядя себе под ноги, шагают возле повозок, по обочинам, около орудий. Спешившиеся кавалеристы ведут тянущих назад повод лошадей.

Кругом одичало и голо громоздятся скалы. Узко темнеют расщелины. Бездонные пропасти, ожидающие гибели. В пустынных ущельях бродят туманы.

И темные скалы, и расщелины, и ущелья полны ни на секунду не затихающего скрипа повозок, звука колес, топота копыт, громыхания, лязга. И все это, тысячу раз отовсюду отраженное, разрастается в дикий, несмолкаемый рев. Все идут молча, но если бы кто-нибудь закричал исступленно, все равно человеческий голос бесследно потонул бы в этом на десятки верст скрипуче-ревущем движении.

Детишки не плачут, не просят хлеба, только в подушках мотаются бледные головенки. Матери не уговаривают, не ласкают, не кормят, а идут возле повозок, исступленно глядя на петлями уходящее к облакам, бесконечно шевелящееся шоссе; и сухи глаза.

Загорается неподавимый дикий ужас, когда остановится лошадь. Все с звериным исступлением хватаются за колеса, подпирают плечами, разъяренно хлещут кнутом, кричат нечеловеческими голосами, но всё их напря-

жение, всю надрывность спокойно, не торопясь, глотает ненасытный, стократ отраженный, стократ повторенный бесчисленный скрип колес.

А лошадь сделает шаг-другой, пошатнется, валится наземь, ломая дышло, и уже не поднять: вытянуты ноги, оскалена морда, и живой день меркнет в фиолетовых глазах.

Снимают детей; постарше мать исступленно колотит, чтоб шли, а маленьких берет на руки или сажает на горб. А если много... если много — одного, двух, самых маленьких, оставляет в неподвижной повозке и уходит, с сухими глазами, не оглядываясь. А сзади, не глядя, идут так же медленно, обтекают движущиеся повозки — неподвижную, живые лошади — мертвую, живые дети — живых, и незамирающий, тысячекрат отраженный, бесчисленный скрип спокойно глотает совершившееся.

Мать, несшая много верст ребенка, начинает шататься; подкашиваются ноги, плывет кругом шоссе, повозки, скалы.

— Ни... нэ до́йду.

Садится в сторонке на куче шоссейного щебня и смотрит и качает свое дитя, и мимо бесконечно тянутся повозки.

У ребенка открыт иссохший, почернелый ротик, глядят неподвижно васильковые глазки.

Она в отчаянии:

— Та нэма ж молока, мое сердце, мое ридне, моя квиточка...

Она безумно целует свое дитя, свою жизнь, свою последнюю радость. А глаза сухи.

Неподвижен почернелый ротик; неподвижно смотрят остановившиеся молочно-подернутые глазки. Она прижимает этот милый, беспомощно холодеющий ротик к груди.

— Доню моя ридна, не будэшь мучиться, в муках ждаты своей смерти.

В руках медленно остывающее тельце.

Разрывает щебень, кладет туда свое сокровище, снимает с шеи нательный крест, надевает через отяжелевшую холодную головенку пропотелый гайтан, зарывает и крестит, крестит без конца и края.

Мимо, не глядя, идут и идут. Неукротимо тянутся

повозки, и стоит тысячеголосый, тысячекрат отраженный голодный скрип в голодных скалах.

Далеко впереди, в голове колонны, идут спешенные эскадронцы, насильно тянут за повод еле ступающих коней, и уши у лошадей отвисли по-собачьему.

Становится жарко. Полчища мух, которых во время грозы ни одной не было,— все укромно прилипли под повозками к дрожинам,— теперь носятся тучами.

— Гей, хлопцы! Та що ж вы, як коты, що почуялы, що зъилы чуже мясо, вси хвосты спустилы. Грай писни!..

Никто не отозвался. Так же утомленно-медленно шагали, тянули за собой лошадей.

— Эх, матери вашей требуху! Заводи грахомон, нехай хочь вин грае...

Сам полез в мешок с пластинками, вытащил наобум одну и стал по складам разбирать:

— Б... бб... б... и... бби... мм, бим, бб... о — бим-бом... Шо таке за чудо?.. кк... ллл... кл... о... н... кло-у-ны... артисты сме-ха... Чудно! А ну, грай.

Он завел качавшийся на вьюке, приторoченный граммофон, вставил пластинку и пустил.

С секунду на лице подержалось неподдельное изумление, потом глаза сузились в щелочки, рот разъехался до ушей, блеснули зубы, и он покатился подмывающе заразительным смехом. Вместо песни из граммофонного раструба вырвался ошеломляющий хохот: хохотали двое, то один, то другой, то вместе дуэтом. Хохотали самыми неожиданными голосами, то необыкновенно тонкими — как будто щекотали мальчишек, то по-бычьему — и всё дрожало кругом; хохотали, задыхаясь, отмахиваясь; хохотали, как катающиеся в истерике женщины; хохотали, надрывая животики, исступленно; хохотали, как будто уже не могли остановится.

Шедшие кругом кавалеристы стали улыбаться, глядя на трубу, которая дико, как безумная, хохотала на все лады. Пробежал смех по рядам; потом не удержались и сами стали хохотать в тон хохотавшей трубе, и хохот, разрастаясь и переходя по рядам, побежал дальше и дальше.

Добежал до медленно шагавшей пехоты, и там засмеялись, сами не зная чему,— тут не слышно было граммофона; хохотали, подмываемые хохотом передних. И этот хохот неудержимо покатился по рядам в тыл.

— Та чого воны покатываются? якого им биса? — и сами начинали хохотать, размахивая руками, крутя головой.

— От его батькови хвоста у ноздрю...

Шли, и хохотала вся пехота, хохотал обоз, хохотали беженцы, хохотали матери с безумным ужасом в глазах, хохотали люди на полтора десятка верст сквозь неумолчный голодный скрип колес среди голодных скал.

Когда этот хохот добежал до Кожуха, он побледнел, стал желтый, как дубленый полушубок, в первый раз побледнел за все время похода.

— Шо такое?

Адъютант, удерживаясь от разбиравшего его смеха, сказал:

— А черт их знает! Сказились. Я сейчас поеду, узнаю.

Кожух вырвал у него нагайку и поводья, неуклюже ввалился на седло и стал нещадно сечь лошадиные ребра. Исхудалый конь медленно шел с повисшими ушами, а нагайка стала просекать кожу. Он с трудом затрусил, а кругом катился хохот.

Кожух чувствовал, как у него начинает подергивать щеки, стиснул зубы. Наконец добрался до покатывающегося от хохота авангарда. Матерно выругался и вытянул по граммофону нагайкой.

— Замолчать!

Лопнувшая пластинка крякнула и смолкла. И молчание побежало по рядам, погашая хохот. Стоял доводящий до безумия безграничный, тысячекрат отраженный скрип, треск, грохот. Мимо отходили темные скалистые зубцы голодных ущелий.

Кто-то сказал:

— Перевал!

Шоссе, перегнувшись, петлями пошло вниз.

XXXI

— Сколько их?

— Пятеро.

Пустынно и знойно струились лес, небо, дальние горы.

— Подряд?

— Подряд...

Кубанец из разъезда с потным лицом не договорил, сдернутый лошадью к гриве,— лошадь с мокрыми бока-

ми азартно отбивалась от мух, мотала головой, стараясь выдернуть из рук поводья.

Кожух сидел в бричке с кучером и адъютантом — мутно-красные, как из бани, разваренные. Кругом безлюдно.

— Далеко от шоссе?

Кубанец показал плетью влево:

— Верст с десяток або с пятнадцать, за перелеском.

— Сверток с шоссе туда есть?

— Есть.

— Козаков не видать?

— Ни-и, нэма. Наши верстов на двадцать проихалы вперед, и не воняе козаками. По хуторам говорять, козаки верстов за тридцать за речкой окопы роють.

Кожух поиграл желваками на сделавшемся вдруг спокойным желтом лице, как будто оно не было перед этим вареное, как мясо.

— Задержать голову армии, повернуть на сверток, пропустить мимо них все полки, беженцев, обозы!

Слегка нагнулся кубанец над лукой и осторожно, чтоб это не было принято за нарушение субординации, сказал:

— Крюк большой... падають люди... жара... не йилы.

Маленькие глазки Кожуха впились в знойно дрожавшую даль, стали серыми. Третьи сутки... Лица завалились, голодный блеск в глазах. Третьи сутки не ели. Горы сзади, но нужно идти изо всей мочи, выйти из пустынных предгорий, добраться до станиц, накормить людей и лошадей. И нужно спешить, не дать укрепиться казакам впереди. Нельзя терять ни минуты, нельзя терять эти десять — пятнадцать верст крюку.

Он посмотрел на молодое, почернелое от голодания и жары лицо кубанца. Глаза засветились сталью, и, протискивая слова сквозь зубы, сказал:

— Повернуть армию на сверток, пропустить мимо!

— Слушаю.

Поправил на голове круглую барашковую, мокрую от пота шапку, вытянул плетью ни в чем не повинную лошадь, и она разом повеселела, будто не было нестерпимо звенящего зноя, тучи оводов и мух, затанцевала, повернулась и весело поскакала к шоссе. Но шоссе не было, а бесконечно тянулись клубящимся валом серовато-белые облака пыли, подымаясь выше верхушек деревьев, и не-

оглядно терялись сзади в горах. И в этих клубящихся облаках — чуялось — движутся тысячи голодных.

Бричка Кожуха, в которой нельзя дотронуться до деревянных частей, покатилась, и за ней покатилось нестерпимое знойно-звенящее дребезжание. Из-за сиденья выглядывал обжигающий пулемет.

Кубанец въехал в непроглядно волнующиеся удушливые облака. Ничего нельзя разобрать, но слышно — утомленно, бестолково и разрозненно идут разбившиеся ряды, едут конные, скрипят обозы. Черно-сожженные лица мутно отсвечивают капающим потом.

Ни говора, ни смеха,— тяжкое, плывущее вместе со всеми молчание. И в нем, в этом жарко переполненном молчании, те же разомлелые, разваренные, как попало, шаги, звуки копыт, скрип осей.

Понуро ступают лошади с бессильно свесившимися ушами.

Головенки детей переваливаются в повозках из стороны в сторону, и мутно белеют оскаленные зубы.

— Пи-ить... пи-ить...

Плывет удушливая, белесая, все покрывающая мгла, а в ней невидимо идут ряды, едут конные, со скрипом тянутся обозы. А может быть, это не зной, не плывущая белесая мгла, а налитое отчаяние, и нет надежды, нет мысли, лишь одна неизбежность. То, что железно сцепило, когда вошли в узкую дыру между морем и горами, затаенно шло все время вместе с ними,— теперь грозно глянуло концом: голодные, босые, изнуренные, в отрепьях, и солнце доканывает. А впереди жадно ждут сытые, приготовившиеся, окопавшиеся казачьи полки, хищные генералы.

Кубанец ехал в этих молчаливо-скрипучих удушливых облаках, только по окрикам разбираясь, где какая часть.

Временами разрывается серая мгла, и в просвете волнисто дрожат очертания холмов, млеет лес, струится голубое небо, и в воспаленные лица солдат исступленно глядит солнце. И опять медленно ползет, все покрывая нестройным гулом шагов, разрозненными звуками копыт, скрипучей музыкой обозов, безнадежностью. По обочинам, неясно выступая в плывущих облаках, сидят и лежат обессилевшие, запрокинув головы, чернея открытыми иссохшими ртами, и вьются мухи.

Кубанец, натыкаясь на людей и лошадей, доехал до головного отряда, слегка нагнулся с седла, переговорил с командиром. Тот нахмурился, глянул на смутно идущих, поминутно проступающих и теряющихся солдат, приостановился и чужим, не похожим на свой, хриплым голосом скомандовал:

— По-олк, стой!..

Душная мгла сейчас же, как вата, проглотила его слова, но, оказывается, где нужно, услышали, и все удаляясь и все слабея, прокричали на разные голоса.

— Батальон, стой!.. Ро-ота... стой!

И где-то совсем далеко, едва уловимо подержалось и мягко погасло:

— ...сто-о-ой!..

Гул шагов в головной колонне смолк, и все дальше и дальше побежало замирание движения, и в остановившейся мутно-горячей мгле на секунду наступило не только молчание, но и тишина, великая тишина бесконечной усталости, беспощадного зноя. Потом разом наполнилась многочисленным сморканием; откашливали набившуюся пыль; поминали матерей; крутили из листьев и травы цигарки,— и медленно оседающая пыль открывала лица, лошадиные морды, повозки.

Сидели на обочинах, в шоссейных канавах, держа между колен штыки. Неподвижно под палящим солнцем лежали, вытянувшись на спине.

Бессильно стояли лошади, свесив морды, не отгоняя густыми тучами липнувших мух.

— Вста-ва-ай!.. Эй, подымай-ся-а-а!..

Никто не шевельнулся, не тронулся: так же было неподвижно шоссе с людьми, лошадьми, повозками. Казалось, не было силы поднять людей, как груду камней, налитых зноем.

— Вставайте же... так вас и так... Какого дьявола!

Как приговоренные, поднимались по одному, по два и, не строясь и не дожидаясь команды, шли как попало, положив давящие винтовки на плечи, глядя воспаленными глазами.

Шли вразброд по шоссе, по обочинам, по косогорам. Заскрипели повозки, и бесчисленно затолклись тучи мух.

Обугленные лица, сверкающие белки. Вместо шапок под страшным солнцем на головах лопухи, ветки, жгуты

навернутой соломы. Шагают босые, истрескавшиеся, почернелые ноги. Иной, как арап, чернеет голым телом, и лишь бахромой болтаются тряпки около причинного места. Сухие мышцы исхудало выступают под почернелой кожей, и шагают, закинув голову, с винтовками на плечах, крохотно сузив глаза, раскрыв пересохшие рты. Лохматая, оборванная, почернелая, голая, скрипучая орда, и идет за ней зной, и идут за ней голод и отчаяние. Снова нехотя изнеможенно подымаются белые облака, и с самых гор сползает в степь бесконечно клубящееся шоссе.

Вдруг неожиданно и странно:

— Правое плечо вперед!

И каждый раз, как подходит новая часть, с недоумением слышит:

— Правое плечо... правое... правое!..

Сначала удивленно, потом оживленной гурьбой сбегают на проселок. Он кремнист, без пыли, и видно, как торопливо сворачивают части, спускаются конные, и, со скрипом и грузно покачиваясь, съезжает обоз, двуколки. Открываются дали, перелески, голубые горы. Всё судорожно-знойно трепещет безумное солнце. Мухи черными полчищами тоже сворачивают. Медленно оседающие облака пыли и удушливое молчание остаются на шоссе, а проселок оживает голосами, восклицаниями, смехом.

— Та куда нас?

— Мабуть, в лис отведуть, трохи горло перемочить, дуже пересмякло.

— Голова!.. В лиси тоби перину сготовилы, растягайся.

— Та пышок с каймаком напеклы.

— С маслом...

— Со смитаной...

— С мэдом...

— Та кавуна холодненького...

Высокий, костлявый, в изорванном, мокром от пота фраке,— и болтаются грязные кружевные остатки, из которых все лезет наружу,— сердито сплюнул тягучую слюну:

— Та цытьте вы, собаки... замолчить!..

Злобно перетянул ремень, загнал живот под самые ребра и свирепо переложил с плеча на плечо отдавившую винтовку.

Хохот колыхнул густую тучу носившихся мух.

— Опанас, та що ж ты зад прикрыв, а передницу усю напоказ? Сдвинь портки с заду на перед, а то бабы у станицы не дадуть варэникив,— будут вид тебе морды воротить.

— Го-го-го... Хо-хо-хо...

— Хлопцы, а ей-бо, должно, днёвка.

— Та тут нияких станиц нэма, я же знаю.

— Що брехать. Вон от шаше столбы пишлы, телеграф. А куда ж вин, як не в станицу?

— Гей, кавалерия, що ж вы задаром хлеб едите,— грайте.

С лошади, покачивавшей на вьюке притороченный граммофон, с хрипотой понеслось:

Ку-да, куда-а-а... пш...пш... вы уда-ли-лись...
пш... пш... ве-ес-ны-ы...

Понеслось среди зноя, среди черных колеблющихся мушиных туч, среди измученно, но весело шагающих, покрытых потом и белою мукою, изодранных, голых людей, и солнце смотрело с исступленным равнодушием. Горячим свинцом налитые, еле передвигающиеся ноги, а чей-то пересмякший высокий тенор начал:

А-а хо-зяй-ка до-бре зна-ла...

Да оборвалось — перехватило сухотой горло. Другие, такие же зноем охриплые голоса подхватили:

...Чо-го мо-скаль хо-че,
Тильки жда-ла ба-ра-ба-на,
Як вин за-тур-ко-че...

Почернелые лица повеселели, и в разных концах хоть и хрипло, но дружно подхватили тонкие и толстые голоса:

Як дож-да-лась ба-ра-ба-на,
«Слава ж то-би, бо-же!»,
Та и ка-же мос-ка-ле-ви:
«Ва-ре-ни-кив, може?»
Аж пид-скочив мос-каль,
Та ни-ко-ли жда-ти;
«Лав-ренни-ки, лав-ренни-ки!»
Тай по-биг из ха-ты...

И долго вразбивку, нестройно, хрипло над толпой носилось:

...Ва-ре-ники!.. ва-ре-ни-ки!..
...Ку-у-да-а, ку-у-да... ве-ес-ны-ы мо-ей зла-ты-е дни-и...

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК»



«ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК»



— Э-э, глянь: батько!

Все, проходя, поворачивали головы и смотрели: да, он, все такой же: небольшой, коренастый, гриб с обвисшей грязной соломенной шляпой. Стоит, смотрит на них. И волосатая грудь смотрит из рваной, пропотелой, с отвисшим воротом гимнастерки. Обвисли отрепья, и выглядывают из рваных опорок потрескавшиеся ноги.

— Хлопцы, а наш батько дуже на бандита похож: в лиси встренься — сховаешься от его.

С любовью глядят и смеются.

А он пропускает мимо себя нестройные, ленивые, медленно гудящие толпы и сверлит маленькими неупускающими глазками, которые стали сини на железном лице.

«Да... орда, разбойная орда,— думает Кожух,— встренься зараз козаки, все пропало... Орда!..»

Ку-да-а... ку-да-а вы уда-ли-лись... пшш... пшш...
...Ва-ре-ни-ки!.. ва-ре-ни-ки!..

— Що таке? що таке? — побежало по толпам, погашая и «куда, куда...» и «вареники...».

Водворилось могильное молчание, полное гула шагов, и все головы повернулись, все глаза потянулись в одну сторону — в ту сторону, куда, как по нитке, уходили телеграфные столбы, становясь все меньше и меньше и пропадая в дрожащем зное тоненькими карандашами. На ближних четырех столбах неподвижно висело четыре голых человека. Черно кишели густо взлетающие мухи. Головы нагнуты, как будто молодыми подбородками прижимали прихватившую их петлю; оскаленные зубы; черные ямы выклеванных глаз. Из расклеванного живота тянулись ослизло-зеленые внутренности. Палило солнце. Кожа, черно-иссеченная шомполами, полопалась. Воронье поднялось, рассеялось по верхушкам столбов, поглядывало боком вниз.

Четверо, а пятая... а на пятом была девушка с вырезанными грудями, голая и почернелая.

— Полк, сто-ой!..

На первом столбе белела прибитая бумага.

— Батальон, сто-ой!.. Рота, сто-ой!..

Так и пошло по колонне, замирая.

От этих пятерых плыло безмолвие и сладкий, приторный смрад.

Кожух снял изодранную, обвислую шляпу. И все, у кого были шапки, сняли. А у кого не было, сняли навернутую на голове солому, траву, ветки.

Палило солнце.

И смрад, сладкий смрад.

— Товарищи, дайте сюда.

Адъютант сорвал белевшую на столбе около мертвеца бумагу и подал. Кожух стиснул челюсти, и сквозь зубы пролезали слова:

— Товарищи,— и показал бумагу, которая на солнце ослепительно вырезалась белизной,— от генерала до вас. Генерал Покровский пишет: «Такой жестокой казни, как эти пятеро мерзавцев с Майкопского завода, будут преданы все, кто будет замечен в малейшем отношении к большевикам».— И стиснул челюсти. Помолчав, добавил: — Ваши братья и... сестра.

И опять стиснул, не давая себе говорить,— не о чем было говорить.

Тысячи блестящих глаз смотрели не мигая. Билось одно нечеловечески огромное сердце.

Из глазных ям капали черные капли. Плыл смрад.

В безмолвии погас звенящий зной, тонкое зуденье мушиных полчищ. Только могильное молчание да пряный смрад. Капали капли.

— Сми-ир-но!.. Шагом арш!..

Гул тяжелых шагов сразу сорвал тишину, ровно и мерно заполнил зной, как будто идет один человек несказанного роста, несказанной тяжести, и бьется одно огромное, нечеловечески огромное сердце.

Идут и, не замечая того, все ускоряют тяжело отдающийся шаг, идут все размашистее. Безумно смотрит солнце.

В первом взводе с правого фланга покачнулся с черненькими усиками, выронил винтовку, грохнулся. Лицо багрово вздулось, напружились жилы на шее, и глаза красные, как мясо, закатились. Исступленно глядит солнце.

Никто не запнулся, не приостановился — уходили еще размашистее, еще торопливее, спеша и глядя вперед блестящими глазами, глядя в знойно трепещущую даль.

— Санитар!

Подъехала двуколка, подняли, положили,— солнце убило.

Прошли немного, повалился еще один, потом два.

— Двуколку!

Команда:

— Накройсь!

Кто имел, накрылись шапками. Иные развернули дамские зонтики. Кто не имел, на ходу хватали сухую траву, наворачивали вокруг маковки. На ходу рвали с себя потное, пропитанное пылью тряпье, стаскивали штаны, рвали на куски, покрывались по-бабьи платочками и шли гулко, тяжело, размашисто, мелькая голыми ногами, пожирая уходившее под ногами шоссе.

Кожух в бричке хочет догнать головную часть. Кучер, вывалив рачьи от жары глаза, сечет, оставляя потные полосы на крупах. Лошади, в мыле, бегут, но никак не могут обогнать,— все быстрее, все размашистее идут тяжелые ряды.

— Що воны, сказылись?.. Як зайцы, скачуть...

И опять сечет и дергает заморенных лошадей.

«Добре, диты, добре...— из-под насунутого на глаза черепа поглядывает Кожух, а глаза — голубая сталь.— Так по семьдесят верстов будэмо уходить в сутки...»

Он слезает и идет, напрягаясь, чтобы не отстать, и теряется в быстро, бесконечно, тяжело идущих рядах.

Столбы уходят вдаль, пустые, одинокие. Голова колонны свертывает вправо. И когда поднимается на пустынное шоссе, опять неотвратимо встают и окутывают душные облака. Ничего не видно. Только тяжелый гул шагов, ровный, мерный, наполняет громадой удушливо волнующиеся облака, которые быстро катятся вперед.

А к оставленным столбам часть за частью подходит, останавливается.

Как мгла, наплывает, погашая звуки, могильная тишина. Командир читает генеральскую бумагу. Тысячи блестящих глаз глядят не мигая, и бьется одним биением сердце, бьется одно невиданно-огромное сердце.

Все так же неподвижны пятеро. Под петлями разлезлось почернелое мясо, забелели кости.

На верхушке столбов сидит воронье, бочком блестящим глазом поглядывает вниз. Стоит густой, сладкий до тошноты запах жареного мяса.

Потом мерным гулом отбивают шаг все быстрее; сами не замечая, без команды постепенно выравниваются в тяжелые тесные ряды. И идут, позабыв, с обнаженными головами, не видя ни уходящих, как по нитке, стол-

бов, ни страшно коротких, резких до черноты полуденных теней, впиваясь искрами мучительно суженных глаз в далекое знойное трепетанье.

И команда:

— Накройсь!..

Идут всё быстрее, всё размашистее, тяжелыми ровными рядами, сворачивая вправо, вливаясь в шоссе, и облака глотают и катятся вместе с ними.

Проходят тысячи, десятки тысяч людей. Уже нет взводов, нет рот, батальонов, нет полков,— есть одно неназываемое, громадное, единое. Бесчисленными шагами идет, бесчисленными глазами смотрит, множеством сердец бьется одно неохватимое сердце.

И все, как один, не отрываясь, впились в знойную даль.

Легли длинные косые тени. Синё затуманились назади горы. Завалилось за край ослабевшее, усталое, подобревшее солнце. Тяжело тянутся повозки, арбы с детьми, с ранеными.

Их останавливают на минуту и говорят:

— Ваши братья... Генеральские дела...

Потом двигаются дальше, и лишь слышен скрип колес. Только ребятишки испуганно шушукаются:

— Мамо, а мертвяки до нас ночью не придут?

Бабы крестятся, сморкаются в подол, вытирают глаза:

— Жалкие вы наши...

Старики смутно идут у повозок. И всё становится неугадываемо. Уже нет столбов, а стоят в темноте громады, подпирающие небо. И небо всё бесчисленно заиграло, но от этого не стало светлей. И будто горы кругом чернеют, а это, оказывается, косогоры, а горы давно заслонила ночь, и чудится кругом незнаемая, таинственная, смутная равнина, на которой всё возможно.

Проносится такой темный женский вскрик, что игравшие звезды все полыхнулись в одну сторону.

— Ай-яй-яй... що воны зробылы з ими!.. Та зверюки... Та скаженнии... Ратуйте, добрии людэ... Смотрите ж на их!..

Она хватается за столб, обнимает холодные ноги, прижимаясь молодыми растрепавшимися волосами.

Дюжие руки с трудом отдирают от столба и волокут к повозке. Она по-змеиному вывертывается, опять бро-

сается, обнимая, и опять само испуганно заигравшее небо безумно мечется:

— ...Та дэ ж ваша мамо? дэ ж ваши сэстры?! Чи вы не хотилы житы... Дэ ж ваши очи ясные, дэ ж ваша сила, дэ ж ваше слово ласкаве?.. Ой, нэбоги! ой, бесталанны! Никому над вами поплакаты, никому погорюваты... никому сльозьми вас покропиты...

Ее опять хватают, она скользко вырывается, и снова безумная ночь мечется:

— Та чого ж воны наробилы!.. Сына зйилы, Степана зйилы, вас пойилы. Так йишты всих до разу, с кровью, с мясом, йишты, шоб захлебнуться вам, шоб набить утробу человечиной, костями, глазами, мозгами...

— Тю-у!! Та схаменися...

Повозки не стоят, скрипят дальше. Ушла и ее повозка. Ее хватают другие, она вырывается, и опять не крики, а исступленно рвется темнота, мечется безумная ночь.

Только арьергард, проходя, силой взял ее. Привязали на последней повозке. Ушли.

И было безлюдно, и стоял смрад.

XXXII

У выхода шоссе из гор жадно ждут казаки. С тех пор как по всей Кубани разлился пожар восстания, большевистские силы повсюду отступают перед казацкими полками, перед офицерскими частями добровольческой армии, перед «кадетами», нигде не в состоянии задержаться, упереться, остановить остервенелый напор генералов,— и отдают город за городом, станицу за станицей.

Еще при начале восстания часть большевистских сил выскользнула из железного кольца восставших и нестройной громадной разложившейся оравой с десятками тысяч беженцев, с тысячами повозок побежала по узкой полосе между морем и горами. Их не успели догнать, так быстро они бежали, а теперь казацкие полки залегли и дожидаются.

У казаков сведения, что потоком льющиеся через горы банды везут с собой несметно-награбленные богатства — золото, драгоценные камни, одежду, граммофоны, громадное количество оружия, военных припасов, но идут рваные, босые, без шапок,— очевидно, в силу старой босяцкой привычки бездомной жизни. И казаки, от

генерала до последнего рядового, нетерпеливо облизываются,— всё, все богатства, все драгоценности, всё неудержимо само плывет им в руки.

Генерал Деникин поручил генералу Покровскому сформировать в Екатеринодаре части, окружить ими спускающиеся с гор банды и не выпустить ни одного живым. Покровский сформировал корпус, прекрасно снабженный, перегородил дорогу по реке Белой, белой от пены, несущейся с гор. Часть отряда послал навстречу.

Весело едут, лихо заломив папахи, казаки на сытых, добрых лошадях, поматывающих головами и просящих повода. Звенит чеканное оружие, блестит на солнце; стройно покачиваются перехваченные поясами черкески, и белеют ленточки на папахах.

Проезжают через станицы с песнями, и казáчки выносят своим служивым и пареное и жареное, а старики выкатывают бочки с вином.

— Вы же нам хочь одного балшевика приведите на показ, хочь посмотреть его, нового, с-за гор.

— Пригоним, готовьте перекладины.

Лихо умели казаки пить и лихо рубиться.

Вдали бело заклубились гигантские облака пыли.

— Ага, вот они!

Вот они — рваные, черные, в болтающихся лохмотьях, в соломе и траве вместо шапок.

Поправили папахи, выдернули блеснувшие с мгновенным звуком шашки, пригнулись к лукам, и полетели казацкие кони, ветер засвистел в ушах.

— Эх, и рубанем же!

— Урра-а!..

В полторы-две минуты произошло чудовищно-неожиданное: налетели, сшиблись, и пошли бешено лететь с лошадей казаки с разрубленными папахами, с перерубленными шеями, либо сразу на штыки подымают и лошадь и всадника. Повернули коней, полетели, так пригнулись, что и не видать, и ветер еще больше засвистел в ушах, а их стали снимать с лошадей певучими пулями. Наседают проклятые босяки, гонят две, три, пять, десять верст,— одно спасение: кони у них мореные.

Пролетели казаки через станицу, а те ворвались, стали рвать свежих лошадей, рубить направо-налево, если не сразу выводили им из конюшен, и опять погнали; и

много казацких папах с белыми ленточками раскатилось по степи, и много черкесок, тонко перехваченных серебряными с чернью поясами, зачернело по синеющим курганам, по желтому жнивью, по перелескам.

Только тогда отодрались от погони, когда домчались казаки до своих передовых сил, залегших в окопах.

А спустившиеся с гор босые, голые банды бежали что есть духу за своими эскадронами. И заговорили орудия, застрекотали пулеметы.

Не захотел Кожух развертывать свои силы днем: знал — большой перевес у врага, не хотел обнаружить свою численность, дождался темноты. А когда густо стемнело, произошло то же, что и днем: не люди, а дьяволы навалились на казаков. Казаки их рубили, кололи, рядами клали из пулеметов, а казаков становилось всё меньше и меньше, всё слабее ухали, изрыгая длинные полосы огня, их орудия, реже стрекотали пулеметы, и уже не слышно винтовок — ложатся казаки.

И не выдержали, побежали. Но и ночь не спасала: полосой ложились казаки под шашками и штыками. Тогда бросились врассыпную, кто куда, отдав орудия, пулеметы, снаряды, рассыпались среди ночи по перелескам, по оврагам, не понимая, что за дьявольскую силу нанесло на них.

А когда солнце длинно глянуло из-за степных увалов, по бескрайной степи много черноусых казаков: ни раненых, ни пленных — все недвижимы.

В тылу, в обозе, среди беженцев курились костры, варили в котелках, жевали лошади сено и овес. Вдали гремела канонада, никто не обращал внимания,— привыкли. Только когда смолкло, показались с фронта — то конный ординарец с приказаниями, то фуражир, то солдатик, тайком пробирающийся повидать семью. И со всех сторон женщины, с почернелыми, измученными лицами, кидались к нему, хватались за стремена, за поводья:

— Што с моим?

— А мой?

— Жив ай нет?

С молящими, полными ужаса и надежды глазами.

А тот едет рысцой, слегка помахивая нагайкой, роняет навстречу то одной, то другой:

— Жив... Живой... Раненый... Раненый... Убитый, зараз привезут...

Он проезжает, а за ним либо радостно, облегченно крестятся, либо заголосит, либо ахнет и повалится замертво, и льют на нее воду.

Привезут раненых,— матери, жены, сестры, невесты, соседки ухаживают. Привезут мертвых,— бьются на груди у них, и далеко слышны невозвратимые слезы, вой, рыдания.

А конные уже поехали за попом.

— Як скотину хороним, без креста, без ладана.

А поп ломается, говорит — голова болит.

— А-а, голова-а...а, не хочешь... задницу будем лечить.

Вытянули нагайкой раз, другой,— вскочил поп, как встрепанный, засуетился. Велели ему облачиться. Просунул голову в дыру, надел черную с белым позументом ризу,— книзу разошлась, как на обруче,— такую же траурную епитрахиль. Выпростал патлы. Велели взять крест, кадило, ладан.

Пригнали дьякона, дьячка. Дьякон — огромный проспиртованный мужчина, тоже весь траурный, черный с позументами, рожа — красная. Дьячок — поджарый.

Обрядились. Погнали всех троих. Лошади идут иноходью. Торопится поп с дьяконом и дьячком. Лошади поматывают мордами, а всадники помахивают нагайками.

А за обозом, возле садов на кладбище, уже неисчислимо толпится народ. Смотрят. Увидали:

— Бачь, попа гонють.

Закрестились бабы:

— Ну, слава богу, як треба, похоронють.

А солдаты:

— Бачь — и дьякона пригналы и дьяка.

— Дьякон дуже гарный: пузо, як у борова.

Подошли те торопливо, не отдышатся, пот ручьем. Дьячок живой рукой раздул кадило. Мертвые неподвижно лежали со сложенными руками.

— Благословен господь...

Дьякон устало слегка забасил, а дьячок слабо всплыл скороговоркой, гундося в нос:

Свя-а-тый бо-же, свя-а-тый крепкий, свя-а-тый бесс...

Синевато струится кадильный дымок. Бабы придушенно всхлипывают, зажимая рты. Солдаты стоят суро-

во, с черными исхудалыми лицами — им не слышно усталых поповских голосов.

Сидевший без шапки на высокой гнедой лошади кубанец, пригнавший причт, слегка толкнул лошадь — она переступила; он набожно нагнулся к попу и сказал шепотом, который разнесся по всему кладбищу:

— Ты, ммать ттвою, колы будэшь як некормлена свыня, усю шкуру...

Поп, дьякон, дьячок в ужасе скосили на него глаза. И сейчас же дьякон заревел потрясающим ревом,— вороны шумно поднялись со всего кладбища; поп залился тенором, а дьячок, приподнявшись на цыпочки и закатив глаза, пустил тонкую фистулу,— в ушах зазвенело:

Со-о свя-а-ты-ми у-у-по-ко-ой...

Кубанец оттянул назад лошадь и сидел неподвижно, как изваяние, мрачно нахмурив брови. Все закрестились и закланялись.

Когда закапывали, дали три залпа. И бабы, сморкаясь и вытирая набрякшие глаза, говорили:

— Дуже хорошо служил батюшка — душевно.

XXXIII

Ночь поглотила громаду степи и увалы, и синевшие весь день на краю проклятые горы, и станицу на вражеской стороне,— там ни одного огонька, ни звука, как будто ее нет. Даже собаки молчат, напуганные дневной канонадой. Лишь шумит река.

Целый день за невидимой теперь рекой, из-за сероющих казацких окопов, потрясающе ухали орудия. Не жалея снарядов, били они. И бесчисленные клубочки бело вспыхивали над степью, над садами, над оврагами. Им отсюда отвечали редко, устало, нехотя.

— А-а-а...— злорадно говорили казацкие артиллеристы,— за шкуру берет...— подхватывали орудия, накатывали, и опять звенел снаряд.

Для них было ясно: на той стороне подорвались, ослабли, уже не отвечают выстрелом на выстрел. Перед вечером босяки повели было наступление из-за реки, да так зашпарили им — цепи все разлезлись, позалегли кто куда. Жалко, что ночь, а то бы дали им. Ну, да еще будет утро.

Шумит река, наполняет шумом всю темноту. А Кожух доволен, и серой сталью тоненько посвечивают крохотные глазки. Доволен: армия в руках у него, как инструмент, послушный и гибкий. Вот он пустил перед вечером цепи, велел наступать вяло и залечь. И теперь, когда среди ночи, среди бархатной тьмы пошел проверить,— все на местах, все над самой рекой, а под шестисаженным обрывом шумит вода; шумит река и напоминает ту шумящую реку и ночь, когда всё это началось.

Каждый из солдат проползал в темноте, щупал, мерил обрыв. Каждый солдат залегших полков знал, изучил свое место. Не ждал, как баран, куда и как пихнут командиры.

В горах пошли дожди; днем река неслась бешеной пеной, а теперь шумит. Знают солдаты — уже ухитрились вымерить — река сейчас два-три аршина глубиной, придется местами плыть,— ничего, и поплавать можно. Еще засветло, лежа в углублениях, в промоинах, в кустах, в высокой траве под непрерывно рвущимся шрапнельным огнем, высмотрели, каждый на своем участке, кусок окопа на той стороне реки, на который он ударит.

Влево перекинулось два моста: железнодорожный и деревянный; теперь их не видно. Казаки навели на них батарею и поставили пулемет — этого тоже не видно.

В ночной темноте, полной шума реки, недвижимо стоят против мостов, по приказу Кожуха, кавалерийский и пехотный полки.

Ночь медленно течет без звезд, без звуков, без движения, лишь шум невидимо бегущей воды монотонно наполняет ее пустынную громаду.

Казаки сидели в окопах, слушали шум несущейся воды, не выпуская винтовок, хотя знали, что босяки ночью не сунутся через реку,— достаточно им насыпали,— и ждали. Ночь медленно плыла.

Солдаты лежали на краю обрыва, как барсуки, свесив в темноте головы, слушали вместе с казаками шум несущейся воды и ждали. И то, чего ждали и что, казалось, никогда не наступит, стало наступать: медленно, трудно, как намек, стал рождаться рассвет.

Ничего еще не видно — ни красок, ни линий, ни очертаний, но темнота стала больной, стала прозрачнеть. Разморённо предрассветное бдение.

Что-то неуловимое пробежало по левому берегу,— не то электрическая искра, не то промчалась беззвучно стайка ласточек.

С шестисаженной высоты, как из мешка, посыпались солдаты вместе с грудой посыпавшейся глины, песка и мелкого камня... Шумит река...

Тысячи тел родили тысячи всплесков, тысячи заглушенных шумом реки всплесков... Шумит река, монотонно шумит река...

Лес штыков вырос в серой мгле рассвета пред изумленными казаками, закипела работа в реве, в кряканье, в стоне, в ругательствах. Не было людей — было кишевшее, переплетшееся кровавое зверье. Казаки клали десятками, сами ложились сотнями. Дьявольская, непонятно откуда явившаяся сила опять стала на них наваливаться. Да разве это те большевики, которых они гнали по всей Кубани? Нет, это что-то другое. Недаром они все голые, почернелые, в лохмотьях.

Как только по всему пространству дико заревел правый берег, артиллерия и пулеметы через головы своих стали засыпать станицу, а кавалерийский полк исступленно понесся через мосты; за ним, надрываясь, бежала пехота. Захвачена батарея, пулеметы, и по всей станице разлились эскадроны. Видели, как из одной хаты вырвалось белое и с поразительной быстротой пропало на неоседланной лошади во мгле рассвета.

Хаты, тополя, белеющая церковь — всё проступало яснее и яснее. За садами краснела заря.

Из поповского дома выводили людей с пепельными лицами, в золотых погонах,— захватили часть штаба. Возле поповской конюшни им рубили головы, и кровь впитывалась в навоз.

За гомоном, криками, выстрелами, ругательствами, стонами не слышно было, как шумит река.

Разыскали дом станичного атамана. От чердака до подвала всё обыскали,— нет его. Убежал. Тогда стали кричать:

— Колы нэ вылизишь, дитэй сгубим!

Атаман не вылез.

Стали рубить детей. Атаманша на коленях волочилась с разметавшимися косами, неотдираемо хватаясь за их ноги. Один укоризненно сказал:

— Чого ж кричишь, як ризаная? От у мене аккурат

як твоя дочка, трехлетка... В щебень закопалы там, у горах,— та я ж не кричав.

Срубил девочку, потом развалил череп хохотавшей матери.

Около одной хаты, с рассыпанными по земле стеклами, собралась кучка железнодорожников.

— Генерал Покровский ночевал. Трошки не застукали. Как услыхал вас, высадил окно совсем с рамой, в одной рубахе, без подштанников, вскочил на неоседланную лошадь и ускакал.

Эскадронец хмуро:

— Чого ж вин без порток? Чи у бани був?

— Спал.

— Як же ж то: спал, а сам без порток? Чи так бувае?

— Господа завсегда так: дохтура велять.

— От гады! И сплять як нелюди.

Плюнул и пошел прочь.

Казаки бежали. Семьсот лежало их, наваленных в окопах и длинной полосой в степи. Только мертвые. И опять у бежавших над страхом и напряжением подымалось неподавимое изумление перед этой неведомой сатанинской силой.

Всего два дня тому назад эту самую станицу занимали главные большевистские силы; казаки их выбили с налету, гнали и теперь гонят посланные части. Откуда же эти? И не сатана ли им помогает?

Показавшееся над далеким степным краем солнце длинно и косо слепило бегущих.

Далеко раскинулся обоз и беженцы по степи, по перелескам, по увалам. Всё те же синие дымки над кострами; те же нечеловеческие костлявые головенки детские не держатся на тоненьких шеях. Так же на белеюще-разостланных грузинских палатках лежат мертвые со сложенными руками, и истерически бьются женщины, рвут на себе волосы,— другие женщины, не те, что прошлый раз.

Около конных толпятся солдаты.

— Та вы куды?

— Та за попом.

— Та ммать его за ногу, вашего попа!..

— А як же ж! Хиба без попа?

— Та Кожух звелив оркестр дать, шо у козаков забралы.

— Шо ж оркестр? Оркестр — меднии трубы, а у попа жива глотка.

— Та на якого биса ёго глотка? Як зареве, аж у животи болить. А оркестр — воинска часть.

— Оркестр! оркестр!..

— Попа!.. попа!..

— Та пойдите вы с своим попом пид такую мать!..

И «оркестр» и «поп» перемешивались с самой соленой руганью. Прослышавшие бабы прибежали и ожесточенно кричали:

— Попа! попа!

Подбежавшие молодые солдатки:

— Оркестр! оркестр!

Оркестр одолел.

Конные стали слезать с лошадей.

— Ну, шо ж, зовите оркестр.

Нескончаемо идут беженцы, солдаты, и торжественно, внося печаль и чувство силы, мрачно и медленно звучат медные голоса, и медно сияет солнце.

XXXIV

Казаки были разбиты, но Кожух не трогался с места, хотя надо было выступать во что бы то ни стало. Лазутчики, перебежчики из населения, в один голос говорили — казаки снова сосредоточивают силы, организуются. Непрерывно от Екатеринодара подходят подкрепления; погромыхивая, подтягиваются батареи; грозно и тесно идут офицерские батальоны; всё новые и новые прибывают казачьи сотни,— темнеет кругом Кожуха, темнеет всё гуще огромно скопляющаяся сила. Ох, надо уходить! Надо уходить; еще можно прорваться, еще недалеко ушли главные силы, а Кожух... стоит.

Не хватает духу двинуться, не дождавшись отставших колонн. Знает: не боеспособны они; если предоставить их своим силам, казаки разнесут их вдребезги — все будут истреблены. И тогда в славе, которая должна осенить будущее Кожуха как спасителя десятков тысяч людей, это истребление будет меркнущим пятном.

И он стал ждать, а казаки накапливали темно густеющие силы. Железный охват совершался с неодолимой силой, и в подтверждение, тяжко потрясая и степь и небо, загремела вражеская артиллерия, и без перерыва стала рваться шрапнель, засыпая людей осколками,—

а Кожух не двигался, только отдал приказание открыть ответный огонь. Днем над теми и другими окопами поминутно вспыхивали белые клубочки, нежно тая; ночью чернота поминутно раззевалась огненным зевом, и уже не слышно было, как шумит река.

Прошел день, прошла ночь; гремят, нагреваясь, орудия, а задних колонн нет, всё нет. Прошел второй день, вторая ночь, а колонн всё нет. Стали таять патроны, снаряды. Велел Кожух бережней вести огонь. Приободрились казаки; видят — реже отвечать стали и не идут дальше — ослабли, думают, и стали готовить кулак.

Три дня не спал Кожух; стало лицо, как дубленый полушубок; чует, будто по колена уходят в землю ноги. Пришла четвертая ночь, поминутно вспыхивающая орудийными вспышками. Кожух говорит:

— Я на часок лягу, но ежели что, будите сейчас же.

Только завел глаза, бегут:

— Товарищ Кожух! Товарищ Кожух!.. плохо дело...

Вскочил Кожух, ничего не поймет, где он, что с ним. Провел рукой по лицу, паутину снимает, и вдруг его поразило молчание,— день и ночь раскатами гремевшие орудия молчали, только винтовочная трескотня наполняла темноту. Плохо дело,— значит, сошлись вплотную. Может, уже и фронт проломан. И услыхал он, как шумит река.

Добежал до штаба — видит, лица переменились у всех, стали серые. Вырвал трубку — пригодились грузинские телефоны.

— Я — командующий.

Слышит, как мышь пищит в трубку:

— Товарищ Кожух, дайте подкрепление. Не могу держаться. Кулак. Офицерские части...

Кожух каменно в трубку:

— Подкрепления не дам, нету. Держитесь до последнего.

Оттуда:

— Не могу. Удар сосредоточен на мне, не выд...

— Держитесь, вам говорят! В резерве — ни одного человека. Сейчас сам буду.

Уже не слышит Кожух, как шумит река: слышит, как в темноте раскатывается впереди, вправо и влево ружейная трескотня.

Велел Кожух... да не успел договорить: а-а-а!..

Даром, что темь, разобрал Кожух: казаки ворвались, рубят направо-налево,— прорыв, конная часть влетела.

Кинулся Кожух; прямо на него набежал командир, который только что говорил.

— Товарищ Кожух...

— Вы зачем здесь?

— Я не могу больше держаться... там прорыв...

— Как вы смели бросить свою часть?!

— Товарищ Кожух, я пришел лично просить подкрепления.

— Арестовать!

А в кромешном мраке крики, хряст, выстрелы. Из-за повозок, из-за тюков, из-за черноты изб вонзаются в темноту мгновенные огоньки револьверных, винтовочных выстрелов. Где свои? где чужие? сам черт не разберет... А может, друг друга свои же бьют... А может, это снится?

Бежит адъютант, в темноте Кожух угадывает его фигуру.

— Товарищ Кожух...

Взволнованный голос,— хочется малому жить. И вдруг адъютант слышит:

— Ну... что ж, конец, что ли?

Неслышанный голос, никогда не слышанный Кожухов голос. Выстрелы, крики, хряст, стоны, а у адъютанта где-то глубоко, полусознанно, мгновенно, как искра, и немножко злорадно:

«Ага-а, и ты такой же, как все... жить-то хочешь...»

Но это только доля секунды. Темь, не видно, но чувствуется каменное лицо у Кожуха, и ломано-железный голос сквозь стиснутые челюсти:

— Немедленно от штаба пулемет к прорыву. Собрать всех штабных, обозных; сколько можно, отожмите казаков к повозкам. Эскадрон с правого фланга!..

— Слушаю.

Исчез в темноте адъютант. Всё те же крики, выстрелы, стоны, топот. Кожух — бегом. Направо, налево вспыхивающие язычки винтовок, а саженей на пятьдесят темно — тут прорвались казаки, но солдаты не разбежались, а только попятились, залегли где как попало и отстреливались. В черноте можно разглядеть перебегающие спереди сгустки людей, всё ближе и ближе... залегают, и оттуда начинают вонзаться вспыхивающие язычки, а солдаты стреляют по огонькам.

Подкатили штабной пулемет. Кожух приказал прекратить стрельбу и стрелять только по команде. Сел за пулемет и разом почувствовал себя как рыба в воде. Направо, налево трескотня, вспышки. Вражеская цепь, как только солдаты прекратили стрельбу, бросилась: ура-а-а!.. Уже близко, уже различимы отдельные фигуры: согнувшись бегут, винтовки наперевес.

Кожух:

— Пачками!

И повел пулеметом.

Тырр-тырр-тырр-тыр...

И, как темные карточные домики, стали валиться черные сгустки. Цепь дрогнула, подалась... Побежали назад, редея. Снова непроглядная темь. Реже выстрелы, и, постепенно нарастая, стал слышен шум реки.

А позади, в глубине, тоже стали стихать выстрелы, крики; казаки, не поддержанные, постепенно рассеялись, бросали лошадей, залезали под повозки, забирались в черные избы. Человек десять взяли живьем. Их рубили шашками через рот, из которого пахло водкой.

Чуть посерел рассвет, взвод повел на кладбище арестованного командира. Вернулись без него.

Поднялось солнце, осветило неподвижно-ломаную цепь мертвецов, точно неровно отхлынувший прибой оставил. Местами лежали кучами — там, где ночью был Кожух. Прислали парламентера. Кожух разрешил подобрать: гнить будут под жарким солнцем — зараза.

Подобрали, и опять заговорили орудия, опять нечеловеческий грохот сотрясает степь, небо и тяжко отдается в груди и мозгу.

Рвутся в синеве чугунно-свинцовые осколки. Живые сидят и ходят с открытыми ртами — легче ушам; мертвые неподвижно ждут, когда унесут в тыл.

Тают патроны, пустеют зарядные ящики. Не двигается Кожух, не слыхать подходящих колонн. Созывает совещание, не хочет брать на себя: остаться — всем погибнуть; пробиться — задним колоннам погибнуть.

XXXV

Далеко в тылу, где бескрайно по степи — повозки, лошади, старики, дети, раненые, говор, гомон,— засинели сумерки. Засинели сумерки, засинели дымки от костров, как это каждый вечер.

Нужды нет, что это десятка за полтора верст, за далеким краем степи, а земля целый день поминутно тяжело вздрагивает под ногами от далекого грохота; вот и сейчас... да привыкли, не замечают.

Синеют сумерки, синеют дымки, синеет далекий лес. А между лесом и повозками синеет поле, пустынное, затаенное.

Говор, лязг, голоса животных, звук ведер, детский плач и бесчисленно краснеющие пятна костров.

В эту домашность, в эту мирную смутность долетело, родившись в лесу, такое чуждое, далекое в своей чуждости.

Сначала потянулось отдаленное: а-а-а-а!.. оттуда, из мути сумерек, из мути леса: а-а-а-а!..

Потом зачернелось, отделившись от леса,— сгусток, другой, третий... И черные тени развернулись, слились вдоль всего леса в черную колеблющуюся полосу, и покатилась она к лагерю, вырастая, и покатилось с нею, вырастая, всё то же полное смертельной тоски: ра-а-а!..

Все головы, сколько их ни было,— и людей и животных,— повернулись туда, к смутному лесу, от которого катилась на лагерь неровная полоса, и по ней мгновенно вспыхивали и никли узкие взблески.

Головы были повернуты, костры краснели пятнами.

И все услышали: земля вся, в самой утробе своей, тяжело наполнилась конским топотом, и заглушились вздрагивающие далекие орудийные удары.

...А-а-аа!..

Между колесами, оглоблями, кострами заметались голоса, полные обреченности:

— Козаки!.. козаки!.. ко-за-а-ки-и!..

Лошади перестали жевать, навострили уши, откуда-то приставшие собаки забились под повозки.

Никто не бежал, не спасался; все непрерывно смотрели в сгустившиеся сумерки, в которых катилась черная лавина.

Это великое молчание, полное глухого топота, пронзил крик матери. Она схватила ребенка, единственное оставшееся дитя, и, зажав его у груди, кинулась навстречу нарастающей в топоте лавине.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!.. сме-ерть идет!..

Как зараза, это полетело, охватывая десятки тысяч людей:

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Все, сколько их тут ни было, схватив, что попалось под руку,— кто палку, кто охапку сена, кто дугу, кто кафтан, хворостину, раненые — свои костыли,— все в исступлении ужаса, мотая этим в воздухе, бросились навстречу своей смерти.

— Сме-ерть!.. сме-ерть!..

Ребятишки бежали, держась за подолы матерей, и тоненько кричали:

— Смелть... сме-елть!..

Скакавшие казаки, сжимая не знающие пощады поблескивавшие шашки, во мгле сгустившейся ночи различили бесчисленно колеблющиеся ряды пехоты, колоссальным океаном надвигающиеся на них, бесчисленно поднятые винтовки, черно-колышущиеся знамена и нескончаемо перекатывающийся звериный рев: сме-ерть!..

Совершенно непроизвольно, без команды, как струны, натянулись поводья, лошади со всего скоку, крутя головами и садясь на крупы, остановились. Казаки замолчали, привстав на стремена, зорко всматривались в черно-накатывавшиеся ряды. Они знали повадку этих дьяволов — без выстрела сходиться грудь с грудью, а потом начинается сатанинская штыковая работа. Так было с появления их с гор и кончая ночными атаками, когда сатаны молча появлялись в окопах,— много казаков полегло в родной степи.

А из-за повозок, из-за бесчисленных костров, где казаки думали встретить беспомощные толпы безоружных стариков, женщин и отсюда, с тыла, пожаром зажечь панику во всех частях врага,— всё выливались новые и новые воинские массы, и страшно переполняя потемневшую ночь грозный рев:

— Смерть!!

Когда увидали, что не было этому ни конца, ни края, казаки повернули, вытянули лошадей нагайками, и затрещали в лесу кусты и деревья.

Передние ряды бегущих женщин, детей, раненых, стариков с смертным потом на лице остановились: перед ними немо чернел пустой лес.

XXXVI

Четвертый день гремят орудия, а лазутчики донесли — подошел от Майкопа к неприятелю новый генерал с конницей, пехотой и артиллерией. На совещании реше-

но в эту ночь пробиваться и уходить дальше, не дожидаясь задних колонн.

Кожух отдает приказ: к вечеру постепенно прекратить ружейную стрельбу, чтоб успокоить неприятеля. Из орудий произвести тщательную пристрелку по окопам неприятеля, закрепить наводку и совершенно приостановить стрельбу на ночь. Полки цепями подвести в темноте возможно ближе к высотам, на которых окопы неприятеля, но так, чтобы не встревожить, залечь. Все передвижения частей закончить к часу тридцати минутам ночи; в час сорок пять минут из всех наведенных орудий выпустить беглым огнем по десять снарядов. С последним снарядом в два часа ночи общая атака, полкам ворваться в окопы. Кавалерийскому полку быть в резерве для поддержки частей и преследования противника.

Пришли черные, низкие, огромные тучи и легли неподвижно над степью. Странно стихли орудия с обеих сторон: смолкли винтовки, и стало слышно — шумит река.

Кожух прислушался к этому шуму,— скверно. Ни одного выстрела, а прошлые дни и ночи орудийный и ружейный огонь не смолкал. Не собирается ли неприятель сделать то, что он,— тогда встретятся две атаки, будет упущен момент неожиданности, и они разобьются одна о другую.

— Товарищ Кожух...

В избу вошел адъютант, за ним два солдата с винтовками, а между ними безоружный бледный низенький солдатик.

— Что такое?

— От неприятеля. От генерала Покровского письмо.

Кожух остро влез крохотно сощуренными глазами в солдатика, а он, облегченно вздохнув, полез за пазуху и стал искать.

— Так что взятый я в плен. Наши отступают, ну, мы, семь человек, попали в плен. Энтих умучили...

Он на минуту замолчал; слышно — шумит река, и за окнами темь.

— Во письмо. Генерал Покровский... дюже уж матюкал мене...— И застенчиво добавил: — И вас, товарищ, матюкал. Вот, говорит, так его, растак, отдай ему.

Играющие искорки Кожуха хитро, торопливо и довольно бегали по собственноручным строчкам генерала Покровского.

«...Ты, мерзавец, мать твою.., опозорил всех офицеров русской армии и флота тем, что решился вступить в ряды большевиков, воров и босяков; имей в виду, бандит, что тебе и твоим босякам пришел конец: ты дальше не уйдешь, потому что окружен моими войсками и войсками генерала Геймана. Мы тебя, мерзавец, взяли в цепкие руки и ни в коем случае не выпустим. Если хочешь пощады, то есть за свой поступок отделаться только арестантскими ротами, тогда я приказываю тебе исполнить мой приказ следующего содержания: сегодня же сложить все оружие на ст. Белореченской, а банду, разоруженную, отвести на расстояние 4—5 верст западнее станции; когда это будет выполнено, немедленно сообщи мне, на 4-ю железнодорожную будку».

Кожух посмотрел на часы и на темь, стоявшую в окнах. Час десять минут. «Так вот почему прекратили огонь казаки: генерал ждет ответа». То и дело приходили с донесениями от командиров — все части благополучно подошли вплотную к позиции противника и залегли.

«Добре... добре...» — говорил про себя Кожух и молча, спокойно, каменно смотрел на них, сощурившись.

В темноте за окном в шум реки ворвался торопливый лошадиный скок. У Кожуха ёкнуло сердце: «Опять что-нибудь... четверть часа осталось...»

Слышно, соскочил с фыркавшей лошади.

— Товарищ Кожух,— говорил, с усилием переводя дыхание, кубанец, стирая пот с лица,— вторая колонна подходит!..

Неестественно-ослепительным светом загорелась и ночь, и позиции неприятеля, и генерал Покровский, и его письмо, и далекая Турция, где его пулемет косил тысячи людей, а он, Кожух, среди тысячи смертей, уцелел, уцелел, чтобы вывести, спасти не только своих, но и тысячи беспомощно следующих сзади и обреченных казакам.

Две лошади, казавшиеся вороными, неслись среди ночи, ничего не разбирая. Черные ряды каких-то войск входили в станицу.

Кожух спрыгнул и вошел в ярко освещенную избу богатого казака.

У стола, стоя во весь богатырский рост, не нагибаясь, прихлебывал из стакана крепкий чай Смолокуров; чер-

ная борода красиво оттенялась на свежем матросском костюме.

— Здорово, братушка,— сказал он бархатно-густым, круглым басом, глядя сверху вниз, вовсе не желая этим обидеть Кожуха.— Хочешь чаю?

Кожух сказал:

— Через десять минут у меня атака. Части залегли под самыми окопами. Орудия наведены. Подведи вторую колонну к обоим флангам — и победа обеспечена.

— Не дам.

Кожух сомкнул челюсти и выдавил:

— Почему?

— Да потому, что не пришли,— добродушно и весело сказал Смолокуров и насмешливо посмотрел сверху на низкого, в отрепьях, человека.

— Вторая колонна входит в станицу, я сам сейчас видел.

— Не дам.

— Почему?

— Почему, почему! Започемукал,— густым красивым басом сказал тот.— Потому что устали, надо отдохнуть людям. Только родился, не понимаешь?

У Кожуха, как сжатая пружина, упруго вытеснило все ощущения: «Если разобью, так один...»

И сказал спокойно:

— Ну, хоть введи на станцию резерв, а я сниму свой резерв и усилю атакующие части.

— Не дам. Слово мое свято, сам знаешь.

Он прошелся из угла в угол, и на всей громадной фигуре и на добродушном пред этим лице легло выражение бычьего упорства,— теперь его хоть оглоблей расшибай. Кожух это понимал и сказал адъютанту:

— Пойдемте.

— Одну минутку,— поднялся начальник штаба и, подойдя к Смолокурову, сказал в одно и то же время мягко и веско: — Еремей Алексеич, на станцию-то можно послать, ведь в резерве будут.

А за этим стояло: «Кожуха разобьют, нас вырежут».

— Ну, что ж... да ведь я-то... собственно, ничего не имею... что ж, бери, какие части подошли.

Смолокурова ничем нельзя было сдвинуть, если он на чем-нибудь уперся. Но перед маленьким нажимом со стороны, с которой не ожидал, сразу растерянно сдавался.

Лицо с черной бородой добродушно отмякло. Он хлопнул огромной лапой по плечу приземистого человека:

— Ну, что, братуха, как дела, а? Мы, брат, морское волчьё, там мы можем,— самого черта наизнанку вывернем, а на сухопутье, как свинья в апельсинах.

И захохотал, показывая ослепительные зубы под черными усами.

— Хочешь чаю?

— Товарищ Кожух,— дружески сказал начальник штаба,— сейчас напишу приказ, и колонна будет двинута на станцию вам в резерв.

А за этим стояло: «Что, брат, как ни вертелся, а без нашей помощи не обошлось...»

Кожух вышел к лошадям и в темноте тихо сказал адъютанту:

— Останьтесь. Вместе с колонной дойдете на станцию и тогда доложите мне. Тоже недорого возьмут и сбрехать.

Солдаты лежали, прижимаясь к жесткой земле, длинными цепями, а их придавливала густая и низкая ночь. Тысячи по-звериному острых глаз наполняли тьму, но в казачьих окопах неподвижно и немо. Шумела река.

У солдат не было часов, но у каждого все туже сворачивалась упругость ожидания. Ночь стояла тяжелая, неподвижная, но каждый чувствовал, как медленно и неуклонно наползает два часа. В непрерывно бегущем шуме воды текло время.

И хотя все этого именно ждали, совершенно неожиданно вдруг раскололась ночь, и в расколе огненно замигали багровые клубы туч. Тридцать орудий горласто заревели без отдыха. А невидимые в ночи казачьи окопы огненно обозначались прерывисто рвущимся ожерельем ослепительных шрапнельных разрывов, которые повторным треском тоже обозначали невидимо извилистую линию, где умирали люди.

«Ну, будет... довольно!..» — мучительно думали казаки, влипнув в сухие стенки окопов, каждую секунду ожидая, что перестанут мигать багровые края черных туч, сомкнется расколотая ночь, можно будет передохнуть от этого утробно-потрясающего грохота. Но всё

то же багровое мигание, тот же тяжко отдающийся в земле, в груди, в мозгу рев, так же то там, то там стоны корчащихся людей.

И так же внезапно, как разомкнулась, темнота сомкнулась, погасив мгновенно наступившей тишиной и багрово мерцающие облака и нечеловеческий горластый рев орудий. На окопах вырос черный частокол фигур, и вдоль покатился другой, уже живой звериный рев. Казаки было шатнулись из окопов — вовсе не хотелось иметь дело с нечистой силой, и опять поздно: окопы стали заваливаться мертвыми. Тогда мужественно обернулись лицом к лицу и стали резаться.

Да, дьяволова сила: пятнадцать верст гнали, и пятнадцать верст пробежали в полтора часа.

Генерал Покровский собрал остатки казачьих сотен, пластунских, офицерских батальонов и повел обессиленных и ничего не понимающих на Екатеринодар, совершенно очистив «босякам» дорогу.

XXXVII

Напрягая все силы, глухо отбивая землю, размашистым шагом тесно идут опаленные порохом ряды в тряпье, с густо занесенными пылью, насунутыми бровями. А под бровями остро светятся точечки крохотных зрачков, не отрываются от знойного трепещущего края пустынной степи.

Тяжело громыхают спешащие орудия. В клубах пыли нетерпеливо мотают головами кони... Не отрываются от далекой синеющей черты артиллеристы.

В огромном, не теряющем ни одной минуты гуле бесконечно тянутся обозы. Идут у чужих повозок, торопливо вспыливая босыми ногами дорожную пыль, одинокие матери. На почернелых лицах блестят сухим блеском навеки невыплаканные глаза и не отрываются от той же далекой степной синевы.

Захваченные общей торопливостью, тянутся раненые. Кто прихрамывает на грязно обмотанную ногу. Кто, приподымая плечи, широко закидывает костыли. Кто изнеможенно держится за край повозки костлявыми руками,— но все одинаково не отрываются от синеющей дали.

Десятки тысяч воспаленных глаз напряженно глядят вперед: там — счастье, там — конец мукам, усталости.

Палит родное кубанское солнце.

Не слышно ни песен, ни голосов, ни граммофона. И всё это: и бесконечный скрип в облаках торопливо подымающейся пыли, и глухие звуки копыт, и густые шаги тяжелых рядов, и тревожные полчища мух — всё это на десятки верст течет быстрым потоком к заманчиво синеющей таинственной дали. Вот-вот откроется она, и сердце радостно ахнет: наши!

Но сколько ни идут, сколько ни проходят станиц, хуторов, поселений, аулов — всё одно и то же: синяя даль отступает дальше и дальше, такая же таинственная, такая же недоступная. Сколько ни проходят, везде слышат одно и то же:

— Были, да ушли. Еще позавчера были, да заспешили, засуетились, поднялись все и ушли.

Да, были. Вот коновязи; везде натрушено сено; везде конский навоз, а теперь — пусто.

Вот стояла артиллерия, седой пепел потухших костров, и тяжелые следы артиллерийских колес за станицей сворачивают на большак.

Старые пирамидальные тополя при дороге глубоко белеют ранами содранной коры — обозы цепляли осями.

Всё, всё говорит за то, что были недавно, были недавно те, ради кого шли под шрапнелями немецкого броненосца, бились с грузинами, ради кого в ущельях оставляли детей, бешено дрались с казаками,— но неотступно, недостижимо уходит синяя даль. По-прежнему спешные звуки копыт, торопливый скрип обоза, торопливо нагоняющие тучи мух, несмолкающий бесконечный гул шагов, и пыль, едва поспевая, клубится над потоками десятков тысяч, и по-прежнему неумирающая надежда в десятках тысяч глаз, прикованных к краю степи.

Кожух, исхудалый — кожа обуглилась,— угрюмо едет в тарантасе и, как все, день и ночь не отрывается тоненько сощуренными серыми глазками от далекой облегающей черты. И для него она таинственно и непонятно не размыкается. Крепко сжаты челюсти.

Так уходят назад станица за станицей, хутор за хутором, день за днем, изнемогая.

Каза́чки встречают, низко кланяясь, и в ласково затаенных глазах — ненависть. А когда уходят, с удивле-

нием смотрят вслед: никого не убили, не ограбили, а ведь ненавистные звери.

На ночлегах к Кожуху являются с докладом: все то же — впереди казачьи части без выстрела расступаются, давая дорогу. Ни днем, ни ночью ни одного нападения на колонны. А сзади, не трогая арьергарда, опять смыкаются.

— Добре!.. Обожглись...— говорит Кожух, и играют желваки.

Отдает приказание:

— Разошлите конных по всем обозам, по всем частям, щоб ни одной задержки. Не давать останавливаться. Идтить и идтить! На ночлег не больше трех часов!..

И опять, напрягаясь, скрипят обозы, натягивают веревочные постромки измученные лошади, с тяжелой торопливостью громыхают орудия. И в знойную полуденную пыль, и в засеянную звездною россыпью ночную темноту, и в раннюю, еще не проснувшуюся зорьку тяжелый незамирающий гул тянется по кубанским степям.

Кожуху докладывают:

— Лошади падают, в частях отсталые.

А он, сцепив, цедит сквозь зубы:

— Бросать повозки. Тяжести перекладывать на другие. Следить за отсталыми, подбирать. Прибавить ходу, идтить и идтить!

Опять десятки тысяч глаз не отрываются от далекой черты, и днем и ночью облегающей жестко желтеющую после снятых хлебов степь. И по-прежнему по станицам, по хуторам, пряча ненависть, говорят ласково каза́чки:

— Были, да ушли,— вчера были.

Глядят с тоской — да, всё то же: похолоделые костры, натрушенное сено, навоз.

Вдруг по всем обозам, по всем частям, среди женщин, среди детей поползло:

— Взрывают мосты... уходят и взрывают после себя мосты...

И баба Горпина, с остановившимся в глазах ужасом, шепчет спекшимися губами:

— Мосты рушать. Уходють и мосты по себе рушать.

И солдаты, держа в окостенелых руках винтовки, глухо говорят:

— Мосты рвуть... уходють вид нас, рвуть мосты...

И — когда голова колонны подходит к речке, ручью, обрыву или топкому месту — все видят: зияют разрушенные настилы; как почернелые зубы, торчат расщепленные сваи,— дорога обрывается, и веет безнадежностью.

А Кожух с надвинутым на глаза черепом приказывает:

— Восстанавливать мосты, наводить переправы. Составить особую команду, которые половчей с топором. Пускать вперед на конях с авангардом. Забирать у населения бревна, доски, брусья, свозить в голову!

Застучали топоры, полетела, сверкая на солнце, белая щепа. И по качающемуся, скрипучему, на живую нитку, настилу снова потекли тысячные толпы, бесконечные обозы, грузная артиллерия, и осторожно храпят кони, испуганно косясь по сторонам на воду.

Без конца льется человеческий поток, и по-прежнему все глаза туда, где всё та же недосягаемая черта отделяет степь и небо.

Кожух собирает командный состав и спокойно говорит, играя желваками:

— Товарищи, от нас наши уходять з усией силы...

Мрачно ему в ответ:

— Мы ничего не понимаем.

— Уходять, рвуть мосты. Долго так мы не сдюжаем, лошади падають десятками. Люди выбиваются, отстають, а отсталых козаки всех порубають. Пока мы им учебу дали, козаки боятся, расступаются, все их части генералы отводять с нашей дороги. Но всё одно мы в железном кольце, и, если так долго буде, оно нас задушить,— патронов небогато, снарядов мало. Треба вырваться.

Он поглядел острыми, крохотно суженными глазками. Все молчали.

Тогда Кожух сказал раздельно, пропуская сквозь зубы слова:

— Треба прорваться. Если послать кавалерийскую часть — кони у нас плохие, не выдержуть гоньбы, козаки всех порубають. Тогда козаки осмелеють и навалятся на нас со всех сторон. Треба инако. Треба прорваться и дать знать.

Опять молчание. Кожух сказал:

— Кто охотник?

Поднялся молодой.

— Товарищ Селиванов, возьмить двох солдат, берите машину и гайда! Прорывайтесь во что бы то ни стало. Скажите им там: мы это. Чего ж они уходять? На гибель нас, что ли?

Через час у штабной хаты, залитой косыми лучами, стоял автомобиль. Два пулемета смотрели с него: один вперед, другой назад. Шофер в замасленной гимнастерке, как все шоферы, сосредоточенный, замкнутый, не выпуская из зубов папиросы, возился около машины, заканчивая проверку; Селиванов и два солдата — с лицами молодыми и беззаботными, а в глазах далеко запрятанное напряжение.

Запорскала, вынеслась и пошла чертить воздух, запылила, засверлила, все делаясь меньше, сузилась в точку и пропала.

А бесконечные толпы, бесконечные обозы, бесконечные лошади текли, ничего не зная об автомобиле, текли безостановочно и мрачно, то с надеждой, то с отчаянием вглядываясь в далекую синеющую даль.

XXXVIII

Гудит несущаяся навстречу буря. Косо падают по сторонам, мгновенно улетая, хаты, придорожные тополя, плетни, дальние церкви. По улицам, в степи, в станицах, по дороге люди, лошади, скот не успевают выразить испуга, а уже никого нет, и только бешено крутится по дороге пыль, да сорванный с деревьев лист, да подхваченная солома.

Каза́чки качают головами:

— Должно, сбесился. Чей такой?

Казачьи разъезды, патрули, части пропускают бешено несущийся автомобиль,— первый момент принимают за своего: кто же полезет в самую гущу их! Иногда спохватятся — выстрел, другой, третий, да где там! Лишь посверлит воздух вдали, растает, и всё.

Так в гуле и свисте уносится верста за верстой, десяток за десятком. Если лопнет шина, поломка — пропали. Напряженно смотрят вперед и назад два пулемета, и напряженно ловят несущуюся навстречу дорогу четыре пары глаз.

В грохоте, сливая безумное дыхание в тонкий вой, неслась и неслась машина. Было жутко, когда подлетали

к реке, а там расщепленными зубами глядели сваи. Тогда бросались в сторону, делали громадный крюк и где-нибудь натыкались на сколоченную населением из бревен временную переправу.

К вечеру вдали забелелась колокольня большой станицы. Быстро разрастались сады, тополя, бежали навстречу белые хаты.

Солдатик вдруг завизжал, обернув неузнаваемое лицо:

— На-аши!!

— Где?.. где?! что ты!!

Но даже рев несущейся машины не мог сорвать, заглушить голос.

— Наши! наши!! вон!..

Селиванов злобно, чтоб не поддаться разочарованию ошибки, приподнялся и:

— Урррa-а!!

Навстречу ехал большой разъезд,— на шапках, как маки, алели звезды.

В ту же секунду над самым ухом знакомо, тоненько, певуче: дзи-и-и... ти-и... ти-и... И еще, и еще, как комариное удаляющееся пение. А от зеленых садов, из-за плетней, из-за хат прилетели звуки винтовочных выстрелов.

У Селиванова ёкнуло: «свои... от своих...» И он мальчишески тонко закричал сорвавшимся голосом, отчаянно мотая фуражкой:

— Свои!.. свои!!

Чудак... Как будто в этой буре несущейся машины что-нибудь можно услышать. Он и сам это понял, вцепился в плечо шофера:

— Стой, стой!.. Задержись!..

Солдатики попрятали головы за пулеметы. Шофер со страшно исхудавшим в эти несколько секунд лицом затормозил вдруг окутавшуюся дымом и пылью машину, и всех с размаху ссунуло вперед, а в обшивку впились две цокнувшие пули.

— Свои!.. свои!..— орали четыре человеческих глотки.

Выстрелы продолжались. Разъезд, срывая из-за плеч карабины, скакал, сбив лошадей в сторону от дороги, чтобы дать свободу обстрела из садов, и стреляя на скаку.

— Убьют...— сказал окостенелыми губами шофер, отшатываясь от руля, и совсем остановил машину.

Подлетели карьером. С десяток дул зачернелось в упор. Несколько кавалеристов с искаженными страхом лицами смахнулись с лошадей, сверхъестественно ругаясь:

— Долой с пулеметов!.. руки вверх!.. вылезай!..

Другие, скидываясь с лошадей, кричали с побледневшими лицами:

— Руби их! чаво смотришь... ахвицерье, туды их растуды!

Режуще сверкнули выдернутые из ножен сабли.

«Убьют...»

Селиванов, оба солдата, шофер моментально высыпались из машины. Но как только очутились среди взволнованных лошадиных морд, среди занесенных сабель, прицелившихся винтовок, разом отлегло — отделились от приводивших в неистовство пулеметов.

И тогда, в свою очередь, посыпали отборной руганью:

— Очумели... своих... в заднице у вас глаза. В документы не глянули, уложили б, потом не воротишь... расперетак вас так!..

Кавалеристы остыли.

— Да кто такие?

— Кто-о!.. Сначала спроси, а потом стреляй. Веди в штаб.

— Ды как же,— виновато заговорили те, садясь на лошадей,— на прошлой неделе так-то подлетел бронированный автомобиль ды давай поливать. Такой паники наделал! Садитесь.

Сели опять в машину. К ним влезли двое кавалеристов, остальные осторожно окружили с карабинами в руках.

— Товарищи, вы только не пущайте дюже машину в ход, а то не поспеем, кони мореные.

Добежали до садов, завернули по улицам. Встречавшиеся солдаты останавливались, отборно ругаясь:

— Перебейте, так их растак! Куды волокете?

Косо тянулись неостывшие вечерние тени. Где-то орали пьяные песни. По дороге из-за деревьев зияли высаженными окнами разбитые казачьи хаты. Павшая неубранная лошадь распространяла зловоние. Всюду по улицам ненужно наваленное, раскиданное сено. За

плетнями оголенные, обезображенные, с переломанными ветвями фруктовые деревья. Сколько ни ехали по станице — на улице, на дворах ни одной курицы, ни одной свиньи.

Остановились у штаба — большой поповский дом. В густой крапиве около крыльца храпели двое пьяных. На площади возле орудий солдаты играли в трынку.

Гурьбой ввалились к начальнику отряда.

Селиванов, волнуясь от счастья, от пережитого, рассказывал о походе, о боях с грузинами, с казаками, не успевая всего рассказывать, что просилось, перескакивая с одного на другое:

— ...Матери... дети в оврагах... повозки по ущельям... патроны до одного... голыми руками...

И вдруг осекся: начальник, забрав длинные усы и щетинистый подбородок в ладонь, сидел, сгорбившись, не прерывая и не спуская с него чужих глаз.

Командный состав, все молодые, загорелые, кто стоял, кто сидел, без улыбки, с каменными лицами, чуждо слушали.

Селиванов, чувствуя, как наливается шея, затылок, уши, резко оборвал и сказал вдруг охрипшим голосом:

— Вот документы,— и сунул бумаги.

Тот, не глядя, отодвинул к помощнику, который нехотя и предрешенно стал рассматривать. Начальник раздельно сказал, не спуская глаз:

— У нас совершенно противоположные сведения.

— Позвольте,— всё лицо и лоб Селиванова налились кровью,— так вы нас... вы нас принима...

— У нас совершенно иные сведения,— спокойно и настойчиво сказал тот, всё так же держа в щепоти длинные усы, подбородок, не давая себя перебить и не спуская глаз,— у нас точные сведения: вся армия, вышедшая с Таманского полуострова, погибла на Черноморском побережье, вся перебита до единого человека.

В комнате стало тихо. В распахнутые окна из-за церкви доносилась густая брань и пьяные солдатские голоса.

«А у них — разложение...» — со странным удовлетворением подумал Селиванов.

— Так позвольте... вам мало документов... Что же это, наконец, такое: с неимоверными усилиями, после нечеловеческой борьбы прорваться к своим — и тут...

— Никита,— сказал опять спокойно начальник, выпустил из рук подбородок и поднялся, расправляя тело, длинный, с длинными, обвисшими по сторонам усами.

— Что?

— Найди приказ.

Помощник порылся в портфеле, достал бумагу, протянул. Начальник положил на стол и, не нагибаясь, как с колокольни, стал читать. Тем, что стал читать с такой высоты, как бы небрежно подчеркивал предрешенность своего и всех присутствующих мнения.

ПРИКАЗ КОМАНДУЮЩЕГО № 73

Перехвачена радиотелеграмма генерала Покровского к генералу Деникину. В ней сообщается, что с моря, с туапсинского направления идет неисчислимая орда босяков. Эта дикая орда состоит из русских пленных, вернувшихся из Германии, и моряков. Они превосходно вооружены, имеют множество орудий, припасов и везут с собой массу награбленных драгоценностей. Эти бронированные свиньи на своем пути всех бьют и все сметают: лучшие казачьи и офицерские части, кадет, меньшевиков, большевиков.

Длинный прикрыл, опираясь о стол, ладонью бумагу, пристально посмотрел на Селиванова, повторяя раздельно:

— И боль-ше-ви-ков!

Потом принял ладонь и, всё так же стоя, стал читать.

Ввиду этого приказываю: продолжать безостановочное отступление. Рвать за собою мосты; уничтожать все средства переправы; лодки перегонять на нашу сторону и сжигать без остатка. За порядок отступления отвечают начальники частей.

Он опять пристально посмотрел в лицо Селиванову и, не дав ему раскрыть рта, сказал:

— Вот что, товарищ. Я ни в чем не хочу вас подозревать, но войдите же и в наше положение: мы видимся... в первый раз, а сведения складываются, вы сами видите... Не имеем же мы права... ведь нам вверены массы, и мы были бы преступниками...

— Да ведь там ждут! — с отчаянием вскрикнул Селиванов.

— Я понимаю, понимаю, не волнуйтесь. Вот что: пойдемте перекусим — чай, голодны, и ваши ребята пусть...

«Порознь допросить хочет...» — подумал Селиванов, и вдруг почувствовал: неодолимо захотелось спать.

За обедом красивая степенная казачка поставила на

голый стол горячую миску с подернутыми жиром щами, от которых и пар не шел, и низко поклонилась:

— Кушайте, родимые.

— Ну, ты, ведьма, пожри-ка сначала сама.

— Да что вы, батюшка!

— Но, но!

Она перекрестилась, взяла ложку, черпнула вдруг задымившиеся щи и, дуя, стала осторожно схлебывать.

— Жри больше!.. Какую моду взяли: несколько человек отравили наших. Зверье! Подать вина...

После обеда условились: Селиванов на машине едет назад, а с ним для проверки отправляется эскадрон.

Сдержанно бежит машина, отходят в обратном порядке знакомые станицы, хутора. Сидит Селиванов с двумя кавалеристами,— у них напряженные лица и наготове револьверы. А кругом: спереди, сзади, с боков, то дружно в один раз, то вразнобой грузно подымаются и падают солдатские зады на широкие седла, и бегут под ними, мелькая копытами, кавалерийские лошади.

Сдержанно порскает машина, не спеша бежит с нею подымаемая пыль.

У сидящих в машине кавалеристов понемногу напряженность отпускает лица, и они начинают доверчиво рассказывать Селиванову под сдержанный гул неторопливо бегущей машины горестную повесть. Всё ослабло, разболталось, боевые приказы не выполняются, бегут пред небольшими кучками казаков; из разлагающихся частей пачками разбегаются куда глаза глядят.

Селиванов никнет головой.

«Если наскочим на казаков, всё пропало...»

XXXIX

Ни одной звезды, и от этого мягкий бархат всё глотает,— не видно ни плетней, ни улиц, ни пирамидальных тополей, ни хат, ни садов. Булавочными уколами рассыпаны огоньки.

В мягкой темной громаде чуется невидимо раскинувшаяся живая громада. Не спят. То загремит задетое в темноте ведро, то загрызутся, затопают разодравшиеся кони и: «Тпру-у, сто-ой, дьяволы!..» То материнский голос мерно, однотонно качает двумя нотами: а-ы-ы!.. а-ы-ы!.. а-ы-ы!..

Далекий выстрел, но знаешь — свой, дружеский. Разрастается гомон, голоса, не то ссора, не то дружеская встреча: уляжется — опять только темь.

— По-сле-едний но-неш-ни-ий...— сонно, с усталой улыбкой.

Отчего не спится?

Далекое, не то под окном, шуршанье песка, хруст колес.

— Эй, та ты ж куды? Наши вон иде стали.

А никого не видно — черный бархат.

Странно, разве не устали? Разве уж не всматриваются день и ночь в далекую черту неотрывающиеся глаза?

Как будто и этот сентябрьский бархат, и невидимые плетни, и запах кизяка — как будто свое, домашнее, родное, кровное, так долго жданное.

Завтра за станицей братская встреча с войсками главных сил. Оттого ночь полна текучего движения, звука копыт, голосов, шороха, хруста колес и улыбки, сонно засыпающей улыбки.

Полоса света из приотворенной двери узко ложится по земле, ломается через плетень, далеко убегает по вытоптанному огороду.

А в казачьей хате кипит самовар. Белеют стены. Расставлена посуда. Белый хлеб. Чистая скатерть.

Кожух без пояса на лавке; волосатая грудь видна. Посунулся плечами, повисли руки, опустилась голова. Так хозяин вернется с поля,— целый день шагал, отваливая отбеленным лемехом черные жирные пласты, и теперь удовлетворенно гудят руки, ноги, и женщина готовит ужин, и на столе еда, и со стенки, слегка коптя, светит жестяная лампочка,— по-хозяйски устал, трудовой усталостью устал.

Брат возле, тоже без оружия. Беззаботно снял сапоги и сосредоточенно рассматривает совершенно развалившийся сапог. Домовитым движением жена Кожуха приподнимает крышку над самоваром,— вырывается бунтующий пар; вынимает тяжелое, горячо дымящееся полотенце, выбирает яйца, разложила на тарелке, и они кругло белеют. В углу темнеют иконы. На хозяйской половине тихо.

— Ну, садитесь!

И, точно резнуло, все трое повернули головы: в по-

лосе света знакомо мелькнули одна, другая, третья круглые шапочки с ленточками. Матершинная ругань. Грохнули приклады.

Алексей, не теряя ни секунды («эх, револьвер куды!..»):

— За мной!!

Как буйвол, ринулся. Приклад пришелся в плечо. Покачнулся, но удержался на ногах, и под его литым кулаком хрустнула переносица, и со стоном и остервенелой бранью рухнуло чье-то тело.

Алексей перескочил.

— За мной!!

Вырвался из света, разом окунулся в тьму и понесся саженными скачками по грядам, ломая высокие стволы подсолнечника.

По ринувшемуся за ним Кожуху без промаха пришлись приклады. Он свалился за плетнем, а кругом заветренные морские голоса:

— Ага!.. вот он, лупи!..

Непогасимым криком стояло сзади остро пронизывающе:

— Помогите!..

Кожух удесятерил силы, избиваемый, выкатился из полосы света в темноту, вскочил и понесся за братом, на слух. А за самой спиной, наседая, катился тяжелый топот, и сквозь торопливо-хриплое дыхание:

— Не стрелять, а то сбегутся... бей прикладами!.. Вот он, гони!..

Чернее темноты вырос забор Затрещали доски. Алексей перемахнул. Упруго, как юноша, перемахнул Кожух, и оба разом свалились в невыразимую кашу криков, ударов, ругани, прикладов, штыков,— с той стороны ждали.

— Бей ахвицерьё!.. подымай на штыки!..

— Ня трожь!.. ня трожь!..

— Попались, сволочи!.. Коли на месте!..

— Беспременно в штаб, там допросить... Пятки поджарим...

— Бей зараз!..

— В штаб! В штаб!

Голоса Кожуха и Алексея смыло бушующе-черным водоворотом, они сами себя не слышали в буйно ворочавшемся клубе.

С непадающим криком, шумом, говором, бранью повели, сгрудившись, толкаясь в тесноте; лязг, колыхание темных штыков, матерная ругань.

«Никак, выплыл?» — жадно стояло в голове Кожуха; он не отрывался от света, который лился из окон большого двухэтажного дома училища — штаб.

Вошли в полосу света — все разинули рты и вытаращили глаза.

— Та це ж батько!!

Кожух спокойно, только желваки играли:

— Шо ж вы, сбесились?!

— Та мы... та як же ж воно!.. Та це ж матросня. Приходять, сказывають: двоих ахвицерьёв открыли, шпиёны козацкие. Кожуха хочуть убить, треба их застукаты. Мы, кажуть, выгоним ахвицерьёв, а вы караульте позадь забора. Як воны зачнуть сигать, вы им пид зад штыки, нэхай сядуть. А в штаб не треба водить,— там изменьщики есть, отпустють. А вы их тихомолком, тай годи. Ну, мы поверилы, а темь...

Кожух спокойно:

— В приклады матросню.

Солдаты бешено ринулись в разные стороны, а из темноты спокойный голос:

— Разбежались. Чи дураки — будут ждать соби смерти.

— Пойдем чай пить,— сказал Кожух брату, вытирая с разбитого лица кровь.— Поставить караул!

— Слухаем.

XL

Кавказское солнце — даром что запоздалое — горячо. Только степи прозрачны, только степи сини. Тонко блестит паутина. Тополя задумчиво стоят с редеющей листвой. Чуть тронулись желтизной сады. Белеет колокольня.

А за садом в степи бесчисленное людское море, как тогда, при начале похода, такое же необозримое людское море. Но что-то новое покрывает его. Те же бесчисленные повозки беженцев, но отчего же на лицах, как отражение, как живой отблеск, печать непотухающей уверенности?

Те же бесчисленные отрепанные, рваные, голые, босые солдатские фигуры,— но отчего, как по нитке, мол-

чаливо вытянулись в бесконечные шеренги, и выкованы из почернелого железа исхудалые лица, и стройно, как музыка, темнеют штыки?

И отчего лицом к этим шеренгам стоят такие же бесконечные ряды одетых и обутых солдатских фигур, но врозь, куда попало, покачнулись штыки, и оттиснулись на лицах растерянность и жадное ожидание?

Как тогда, необозримая громада пыли, но теперь она осела осенней отяжелелостью, и отчетливо прозрачна степь, и отчетливо видна каждая черта на лицах.

Тогда среди безграничного взбаламученного людского моря зеленел пустой курган, и чернели на нем ветряки; а теперь среди людского моря пустая полянка, и на ней темнеет повозка.

Только тогда буйное разливалось по степи человеческое море, а теперь затаилось и молча стояло в железных берегах.

Ждали. И молчаливая, без звуков, без слов, торжественная музыка разливалась над необозримой толпой в синем небе, в синей степи, в золотом зное.

Показалась небольшая толпа людей. И те, что стояли в шеренгах с железными лицами, узнали в этой подходившей кучке своих командиров, таких же исхудалых, почернелых, как и они сами. И те, что стояли рядами против них, узнали своих командиров, одетых, с здоровыми обветренными лицами, как и у них самих.

И шел среди первых Кожух, небольшого роста, почернелый до самых костей, исхудалый до самых костей, оборванный, как босяк, и на ногах шмурыгали разбитые, с разинутыми почернелыми пальцами опорки. На голове замызганно обвисла рваными полями когда-то соломенная шляпа.

Они подошли и сгрудились около повозки. Кожух взобрался на повозку, стащил с головы ошмётку соломы и оглядел долгим взглядом и железные шеренги своих, и бесчисленно терявшиеся в степи повозки, и множество печальных безлошадных беженцев, и ряды главных сил. Было в них что-то расшатавшееся. И у него шевельнулось глубоко запрятанное, в чем и сам бы себе не признался, удовлетворение: «Разлагаются...»

Все, сколько их тут ни было, все смотрели на него. Он сказал:

— Товарищи!..

Все знали, о чем здесь будут говорить, но мгновенная искра пронизала смотревших.

— Товарищи, пятьсот верст мы йшлы, голодные, холодные, разутые. Козаки до нас рвались, як скаженнии. Нэ було ни хлеба, ни провианту, ни фуража. Мерли люди, валились под откосы, падали под вражьими пулями, нэ було патронов, голыми руками...

И хоть знали это — сами всё вынесли, и знали другие по тысячам их рассказов — слова Кожуха блеснули неиспытанной новизной.

— ...дитэй оставляли в ущельях...

И над головами, над всем над громадным морем пронеслось и впилось в сердце, впилось и задрожало:

— Ой, лишенько, диты наши!..

От края до края колыхнулось человеческое море:

— ...диты наши!.. диты наши!..

Он каменно смотрел на них, выждал и сказал:

— А сколько полягло наших под пулями в степях, в лесах, горах, поляглы навик вики!..

Все головы обнажились, и до самого края бесчисленно поплыло могильное молчание, и, как надгробная память, как могильные цветы, в этой тишине тихие женские рыдания.

Кожух постоял с опущенной головой, потом поднял, оглядел эти тысячи и поломал молчание:

— Так за що ж терпели тысячи, десятки тысяч людей цыи муки?.. за що?!

Он опять посмотрел на них и вдруг сказал неожиданное:

— За одно: за совитску власть, бо вона одна крестьянам, рабочим, нэма у них билш ничого...

Тогда вырвался из груди неисчислимый вздох, стало нестерпимо, и скупо поползли одинокие слезы по железным лицам, медленно поползли по обветренным лицам встречавших, по стариковским лицам, и засияли слезами дивочьи очи...

— ...за крестьянскую и рабочую...

«Так вон оно що! так вот за що мы билысь. падалы, мерлы, погибалы, терялы дитэй!»

Точно широко глаза разинулись, точно в первый раз услышали тайную тайну.

— Та дайте ж, людэ добрии, мени казаты,— кричала, горько сморкаясь, баба Горпина, продираясь к самой повозке, цапаясь за колеса, за грядку,— та дайте ж мени...

— Та постой, бабо Горпино, нэхай же батько кончае, нэхай росказуе, а тоди ты!

— Та не трожьте мене,— отбивалась локтями старая и цепко лезла — никак её не стянешь.

И закричала, расхристанная, с выбившимися седыми клочковатыми волосами, с сбившимся платком, закричала:

— Ратуйте, добрии людэ, ратуйте! Самовар у дома вкинулы. Як мени замуж выходить, мамо в приданое дала тай каже: «Береги ёго, як свет очей», а мы вкинулы. Та цур ёму, нэхай пропадае! нэхай живе наша власть, наша ридна, бо мы усю жисть горбы гнулы та радости не зналы. А сыны мои... сыны мои...

И захлюпала старая старыми слезами не то неизбывного горя, не то смутной, самой ей непонятно блеснувшей радости.

И опять по всему людскому морю взмыло тяжким и радостным вздохом и побежало до самых до степных до краев. А на повозку хмуро, молча лез Горпинин старик. Ну, этого не стянешь,— здоровенный старина, насквозь проеденный дегтем, земляной чернотой, и руки, как копыта.

Вылез и удивился, что высоко, и сейчас же забыл это, и, обветренный, стоеросый, как немазаная телега, захрипел голос.

— Во!.. старый коняка, а добрый був возовик. Цыганы, сами знаете, наскрозь лошадей видють, скрозь ему лазили, и у роти, и пид хвост, кажуть, дэсять годив, а ему два-ад-цать три!.. Смоляной зуб!..

Засмеялся старик, в первый раз засмеялся, собрал вокруг глаз множество морщинок-лучинок и хитро засмеялся детским, шаловливым, так не вязавшимся с его глыбисто-земляной фигурой смехом.

А баба Горпина потерянно хлопнула себя по бедрам:

— Боже ж мий милий! Бачьте, добрии людэ, чи сказився, чи що! Мовчав, мовчав, цилый вик мовчав; мовчки мене замуж узяв, мовчки любив, мовчки бив, а тут забалакав. Що таке буде? Чи с глузду зъихав, бодай ёго, чи що!..

Старик сразу согнал морщинки, насунул обвисшие брови, и опять на всю степь захрипела немазаная телега:

— Побилы коняку, сдох!.. Всё потеряв, що на возу, пропало. Ногами шли. Шлею зризав и ту покинув; самовар у бабы и вся худоба дома пропала, а я, як перед истинным,— и заревел стоеросовым голосом: — не жали-ю!.. нэхай, нэ жалко, нэхай!.. бо це наша хрестьянска власть. Без нэи мы дохлятина, як та падаль пид тыном, воняемо...— и заплакал скупыми собачьими слезами.

Валом взмыло, бурей прошлось из конца в конец:

— Га-а-а-а!.. Це ж наша громада-а! наша ридна власть!.. Нэхай живе... бувай здорова, совитска власть!..

Из конца в конец.

«Так от воно, счастя?!.» — огненно обожгло в груди Кожуха, и челюсти дрогнули.

«Так от яке воно!..— нестерпимо-радостно своей неожиданностью зажглось в железных шеренгах исхудалых, в тряпье, людей.— Так от за вищо мы голоднии, холоднии, замученнии, нэ за шкуру тильки свою!..»

И матери с незаживающим сердцем, с невысыхающими слезами,— нет, не забыть им никогда голодно-оскаленных ущелий, никогда! Но и эти страшные места, страшная о них память претворялись в тихую печаль и тоже находили свое место в том торжественном и огромном, что беззвучно звучало над бескрайно раскинувшейся по степи человеческой громадой.

А те, что стояли одетые и сытые множеством рядов лицом к лицу с железными шеренгами исхудалых, голых людей, те чувствовали себя сиротами в этом неиспытанном торжестве и, не стыдясь просившихся на глаза слез, поломали ряды и, всё смывая, двинулись всесокрушающей лавиной к повозке, на которой стоял оборванный, полубосой, исхудалый Кожух. И покатилось до самых до степных до краев:

— Оте-ец наш!! Веди нас, куды знаешь... и мы свои головы сложим!

Тысячи рук протянулись к нему, стащили его, тысячи рук подняли его над плечами, над головами и понесли. И дрогнула степь на десятки верст, всколыхнутая бесчисленными человеческими голосами:

— Урра-а! урра-а-а! а-а-а... батькови Кожуху!..

Кожуха несли и там, где стояли стройные ряды; нес-

ли и там, где стояла артиллерия; пронесли и между лошадьми эскадронов, и всадники оборачивались на седлах и с восторженно изменившимися лицами, темнея открытыми ртами, без перерыва кричали.

Несли его среди беженцев, среди повозок, и матери протягивали к нему детей.

Принесли назад и бережно поставили опять на повозку. Кожух раскрыл рот, чтоб заговорить, и все ахнули, как будто увидели его в первый раз:

«Та у ёго глаза сыни!»

Нет, не закричали, потому что не умели назвать словами свои ощущения, а у него глаза действительно оказались голубые, ласковые и улыбались милой детской улыбкой,— не закричали так, а закричали:

— Уррра-а-а нашему батькови!.. Нэхай живе!... Пидемо за им на край свита... Будемо биться за совитску власть. Будемо биться с панами, с генералами, с ахвицерьём...

А он ласково смотрел на них голубыми глазами, а в сердце выжигалось огненным клеймом:

«Нэма у меня ни отца, ни матери, ни жены, ни братьев, ни близких, ни родни, тильки одни эти, которых вывел я из смерти... Я, я вывел... А таких миллионы, и округ их шеи петля, и буду биться за их. Тут мой отец, дом, мать, жена, дети... Я, я, я спас от смерти тысячи, десятки тысяч людей... Я спас от смерти в страшном положении...»

Выжигалось огненно в сердце, а уста говорили:

— Товарищи!..

Но не успел сказать. Раздвигая толпу солдат направо-налево, бурно рвалась матросская масса. Всюду круглились шапочки, трепетали ленты. Могуче работая локтями, лилась матросская лавина всё ближе и ближе к повозке.

Кожух спокойно глядел на них серыми, с отблеском стали, глазами, и лицо железное, и стиснутые челюсти.

Уже близко, уже тонкий слой расталкиваемых солдат только отделяет. Вот наводнили всё кругом; всюду, куда ни глянешь, круглые шапочки, и ленты полощутся, и, как остров, темнеет повозка, а на ней — Кожух.

Здоровенный, плечистый матрос, весь увешанный ручными бомбами, двумя револьверами, патронташем, ухватился за повозку. Она накренилась, затрещала. Влез, стал рядом с Кожухом, снял круглую шапочку,

махнул лентами, и хриповато-осипший голос,— в котором и морской ветер, и соленый простор, и удаль, и пьянство, и беспутная жизнь,— разнёсся до самых краев:

— Товарищи!.. Вот мы, матросы, революционеры, каемся, виноваты пред Кожухом и пред вами. Чинили мы ему всякий вред, когда он спасал народ, просто сказать, пакостили ему, не помогали, критиковали, а теперь видим — неправильно поступали. От всех матросов, которые тут собрались, низко кланяемся товарищу Кожуху и говорим сердечно: «Виноваты, не серчай на нас».

Такими же просоленными морскими голосами гаркнула матросская братва:

— Виноваты, товарищ Кожух, виноваты, не серчай!

Сотни дюжих рук сволокли его и стали отчаянно кидать. Кожух высоко взлетал, падал, скрывался в руках, опять взлетал — и степь, и небо, и люди шли колесом.

«Пропал,— всю требуху, сукины сыны, вывернут!»

А от края до края потрясающе гремело:

— Урррa-а-а-а нашему батькови!.. урррa-а-а-а!..

Когда опять поставили на повозку, Кожух слегка шатался, а глаза голубые сузились, улыбаются хитрой улыбкой.

«Ось, собаки брехливые, выкрутылысь. А попадись в другом мисти, шкуру спустють...»

А громко сказал своим железным, слегка проржавевшим голосом:

— Хто старое помяне, того по потылице.

— Го-го-го!.. хха-ха-ха!.. Урра-а-а!..

Много ораторов дожидаются своей очереди. Каждый несет самое важное, самое главное, и если он не скажет, так всё рухнет. А громада слушает. Слышат те, которые густо разлились вокруг повозки. Дальше долетают только отдельные обрывки, а по краям ничего не слышно, но все одинаково жадно, вытянув шею, наставив ухо, слушают. Бабы суют ребятишкам пустую грудь, либо торопливо покачиваются с ними, похлопывая, и тянут шеи, боком наставляя ухо.

И странно, хотя не слышат или хватают с пятого на десятое, но в конце концов схватывают главное.

— Слышь, чехословаки до самой до Москвы навалились, а им там морды дуже набилы, у Сибирь побиглы.

— Паны сызнову заворушились, землю им отдай.

— Поцилуй мени у зад, и тоди нэ отдам.

— Слыхал, Панасюк: в России Красна Армия.

— Яка така?

— Та красна: и штани красны, и рубаха красна, и шапка красна, сзаду, спереду, скрозь красный, як рак варёный.

— Буде брехать.

— Тай ей-бо! Зараз аратор балакав.

— И я слыхав: солдатив там вже нэма,— вси красноармейцами прозываються.

— Мабуть, и нам красни штани выдадуть?

— И дуже, балакають, строго — дисциплина.

— Тай куды дущей, як у нас: як батько схотив всыпать пид шкуру, вси, як взнузданнии, стали ходить. Гля: як идуть в шеренге — аж як по нитке. А по станицам проходилы, никто вид нас не плакав, не стонав.

Перекидывались, хватая у ораторов обрывки, не умея высказать, но чувствуя, что, отрезанные неизмеримыми степями, непроходимыми горами, дремучими лесами, они творили — пусть в неохватимо меньшем размере,— но то самое, что творили там, в России, в мировом,— творили здесь, голодные, голые, босые, без материальных средств, без какой бы то ни было помощи. Сами. Не понимали, но чувствовали и не умели это выразить.

До самой до синевы вечера, сменяя друг друга, говорили ораторы; по мере того как они рассказывали, у всех нарастало ощущение неохватимого счастья неразрывности с той громадой, которую они знают и не знают и которая зовется Советской Россией.

Неисчислимо блестят в темноте костры, так же неисчислимы над ними звезды.

Тихонько подымается озаренный дымок. Солдаты в лохмотьях, женщины в лохмотьях, старики, дети сидят кругом костров, сидят усталые.

Как на засеянном небе тает дымчатый след, так над всей громадой людей неощутимым утомлением замирает порыв острой радости. В этой мягкой темноте, в отсвете костров, в этом бесчисленном людском море погасает мягкая улыбка,— тихонько наплывает сон.

Костры гаснут. Тишина. Синяя ночь.

ГОРОД В СТЕПИ

Вон уж в степи голубой
Город встает золотой.

I

Степь, по которой от края до края протянулись сухие сизые тени, еще пышущая неостывшим жаром, молча глядела в белесо-мутную сухую мглу.

За дальним курганом — красное, усталое, осовелое солнце, скорбное и измученное после буйно-палящего, не знавшего отдыха дня.

Полегли спать насвистевшиеся, набегавшиеся за день суслики. Не плавали кругами распластанные коршуны; не висели в воздухе внимательно трепещущие кобчики; не стрекотали на все лады кузнечики, степные музыканты, которых понимает и любит только степь.

Последние тени сливались, да мгла глядела, слепая, необъятная, да за курганом тускнело мертвое зарево. А на кургане стояла конная фигура, черно вырезываясь на мертвеющем закате. Нельзя было разобрать, женщина или мужчина сидел на лошади. Только голова в мохнатой калмыцкой шапке была внимательно повернута в ту сторону, где за краем тухла кровавая полоса.

Неподвижно чернела лошадь. Неподвижно чернела фигура степного жителя. Неподвижна была беззвучно прислушивающаяся степь.

В давно забытые времена, о которых и память стерлась быть может, так же на кургане чернела конная фигура, и носился орлиный клекот, и рыскал степной зверь, и смутно волновался седой ковыль, и вольно над степным простором неслись победные гортанные крики.

Молчала степь, и неподвижно чернела повернутая голова, тух закат, мертвенно и смутно стояла ничего не таящая белесая сухая мгла.

И когда над темным краем земли осталась узко кровавившаяся полоска, готовая затянуться, лошадь, вздернутая поводьями, шевельнулась, спустилась с кургана и, не спеша, покачивая молчаливую фигуру, стала тонуть в той стороне, где уже давно стояла ночь.

И потонула. Сухая, шершавая, потрескавшаяся земля жадно поглотила звук копыт.

Принесся издалека не крик, а гудящий, грубый, ровный голос,— медный, тяжелый голос. Он принесся с той стороны, где все еще упрямо не хотела потухнуть кровавая полоска, где еще маячили очертания, и долго стоял, не похожий ни на один степной звук, чуждый тишине, задумчивому ночному безмолвию, потонувшему степному простору, чуждый степной жизни, наивной, бедной, но самобытной, не похожий ни на что.

Он долго держался, этот тяжелый колеблющийся звук, оборвался, снова два раза коротко откликнулся — и смолк. И испуганно и недоуменно глядела туда смутно-мреющая, неуловимо-призрачная мгла.

Смолк.

Огоньки, как булавочные уколы, прокололи темноту, кучкой рассыпавшись в той стороне, точно гнездо звезд, на темной молчаливой земле.

Черно и пусто стоял курган. Потух последний след зари.

Молчаливая степь темно объемлет не то дома, не то пригорки, не то черные сгустки ночи. Может быть, и улиц нет.

Но говоря о человеческом, жалко тянутся из крохотных оконец полоски света, и в них проступает бурьян, колючки, старые, иссохшие колеи неуезженной дороги. Над самой землей светятся тусклые оконца, как светляки в темной траве, беспорядочно-рассыпанно или кучками, точно таинственно для чего-то сползлись вместе, ищуще протянув по траве, по бурьяну перекрещивающиеся светлые лучи.

Собаки не лаяли, как в деревне, перекликаясь, добродушно, упрямо, подолгу, а вдруг одиноко накинется где-нибудь в темноте с остервенением, захлебываясь, хрипя,

и замолчит, и опять только темь да приземисто разбросанный свет крохотных, перерезанных переплетами окошечек.

Не воровской ли притон? Или не остановились ли в ночной степи табором проходящие люди?

Не шевелясь, заслонили все небо сухие, бездождные тучи, неподвижно прислушиваясь.

Свет разбросанных оконец подержался и стал гаснуть один за другим, как потухающие в темноте искорки. Потухли и протянувшиеся полосы света. Пропал бурьян, колючки, колеи. Одна безграничная молчаливая тьма.

Но среди сна и покоя, среди темноты и неподвижности в двух местах, далеко друг от друга, затерянный ночной свет,— не спят.

Через распахнутые на террасу двери ярко-голубоватый свет узко и длинно падает по широким ступеням в сад, и из темноты проступают то кусок клумбы с неестественными пятнами неугадываемых цветов, то низко и странно озаренная листва нетрепещущего тополя с невидимо потонувшей в темноте вершиной, то косо срезанный кусок голубоватой дорожки, и всюду все та же безграничность ночи.

А в столовой — высокие, веселые потолки, строгие окна, ослепительная скатерть; дробятся, играя, искры в стаканах и серебре; и трое с ясными и чистыми лицами спокойны, неторопливы, точно много и впереди и сзади неизрасходованного времени, объятые и царствующей за стенами ночью, и светом, и уютом в этом ласково-озаренном уголке.

У самого края белоснежно длинного стола в студенческих, запущенных в высокие сапоги брюках, в синей, ремнем перехваченной рубахе, должно быть брат хозяйки: очень похожи друг на друга. Такая же буйно разметавшаяся льняная копна волос, такое же женственное — круглое, безусое и безбородое лицо, с тем особенным отпечатком ласкового добродушия и снисходительности, которые даются только молодостью.

Хозяйка у сверкающего серебром самовара — вылитый брат, но только тоньше лицо, но только стройнее талия, но только в молодых глазах уже испытанное материнство.

Инженер ходит вдоль всей комнаты задумчиво, заложив руки, изредка останавливается и прихлебывает чай. И тогда короткая тень от него на паркете терпеливо дожидается, и на ее плоско-уродливом силуэте ясно курчавится бородка.

— Славны бубны за горами.

— Оставь,— сердито говорит инженер, не желая того, снова отхлебывает чай, и короткая тень послушно лежит у ног,— студенческая скамья и жизнь — две вещи несовместимые.

— Как гений и злодейство?

— Я говорю серьезно.

— Да и я говорю серьезно,— и студент засмеялся,— врешь ведь ты. Жизнь братику везде одна: и на скамье университета, и на скамье подсудимых, и на скамье вагона, а освещение ее разное, разумеется. Пока мохом не оброс, да одна голова не бедна, а и бедна, так одна — одно, а как вот сделаешься начальником дистанции — другое, как раз наоборот. Эх, братцы, да и ночка! У нас таких ночей не бывает в Москве.

И он мягким молодым движением поднялся, подошел к раскрытым, черневшим четырехугольником дверям, которые бросали вглубь узкую полосу, вырывая из темноты то кусок клумбы, то часть ветвей, ослабевая и теряясь в непроглядной мгле.

— Словно пропасть какая,— черно, неподвижно. И знаешь, что ничего нет, а как будто вся эта темень переполнена чем-то значительным, таинственным и огромным. Залиться бы теперь в степь да так и шататься до утра.

И вдруг неожиданно запел молодым, немножко козловатым голосом:

То-ре-а-дор, то-ре-а-дор...

— Петя, голубчик,— заговорила Елена Ивановна, испуганно приподымаясь,— Катюша спит... голубчик!..

— Ну-ну-ну, не буду, не буду...

— Во всяком споре, разумеется, прежде всего логические доводы, а ты их не находишь нужным приводить,— говорит инженер, продолжая ходить вдоль комнаты, и в нем подымается раздражение против шурина, и тень с курчавящейся бородкой, не уставая, ходит по пятам.

Его раздражает не столько то, что тот говорит словами, сколько то, что он говорит своим безусым, наивно-молодым лицом, так похожим на лицо жены. Даже когда это лицо серьезно, оно как будто беспричинно смеется и без слов говорит: «Чудак! У тебя логические доводы, а мне все равно... У меня один довод — молодость. Уф, я иногда устаю, до того беспечно и подмывающе весело жить, ходить, есть, думать, спать, смеяться... И, главное, это состояние никогда не кончится. Абсурд — но у меня такое ощущение, как будто я века проживу, и все будет так же дьявольски радостно и неунывающе, и с этим ничего не поделаешь...»

И это молчаливое признание раздражало инженера.

— Жизнь, милый мой, делают не крикуны и мечтатели, а неустанные работники, которые день и ночь незаметно работают,— да, да, да, по кирпичику...

— У-у, брат, знаем...

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной!..

«И нужно же, чтоб он так был похож на жену, черт бы его взял!»

А вслух:

— Я не понимаю. Не понимаю я, почему судьба полуторы тысяч человек, которые у меня в руках, которых я могу... которым я могу отравить жизнь, сделать невыносимой, почему забота о них, напряжение, борьба, которые я кладу, чтобы сделать условия их жизни сносными, почему это не стоит выеденного яйца? А вот, если этакий вот безусый...

— Ты сердишься, Зевес...

— ...такой вот, в сущности, мальчик со школьной скамьи заберется куда-нибудь на чердак или в отхожее место и станет говорить шепотом трем рабочим: «Долой рабство, долой буржуазию, да здравствует пролетариат»,— почему это особенно ценно, это как-то особенно изменяет жизнь, улучшает, сулит счастье?

— Да потому...

— Почему,— продолжал инженер, не слушая и давя аргументами,— почему то, что я отстоял, с риском потери места, отстоял постройку здесь зданий больницы и училища, которые будут обслуживать свыше полуторы тысяч человек, лишенных всяких культурных удобств,—

почему это не идет ни в какую цену, не имеет никакого значения?

— Да потому, что школу и больницу построит всякий, кто не мерзавец, а пойти к рабочим и сказать им, что даже в наилучших внешних условиях они — рабы, вечные рабы, на это не всякий пойдет, а и пойдет, так сначала два раза пообедает.

— Ты ведь помнишь, Леля? — также не слушая, обернулся инженер к жене, ища у нее поддержки.— Мы и вещи стали укладывать, совсем уезжать собрались, вдруг телеграмма: правление согласно.

Ее стройность, белое платье, милое лицо говорили: я не принимаю непосредственного участия в споре, но разве не чувствуете — оттого, что я здесь, что самовар, что чисто, изящно,— разве не чувствуете тепло и ласку в вашем сердце?

Они как будто согласились: да!

Инженер стал, молча и нагнув голову, ходить, и в какой-то странной связи с этой задумчивостью беззвучно скользила за ним послушная тень.

Но, должно быть, помимо внешнего, было у этой стройной, в белом, женщины свое, какой-то свой язык, свои мысли. И она заговорила:

— Да, хорошо... вот вы говорите, спорите... А почему же это я... почему мне... Вот у тебя, Коля, у тебя, Петя, у вас у обоих есть что-то свое, задушевное, каждый делает... Коля приходит со службы, и я каждый день вижу, какой он усталый, и в то же время с завистью смотрю — у него дело. И Петя! Я не знаю, но пускай он даже увлекается, но ведь это жизнь! А я? Изо дня в день... изо дня в день хожу по пустым комнатам, гляжу в сад или в степь... или этот поселок противный... как кроты нарыли...

— Лена,— недовольно проговорил инженер, все так же задумчиво ходя по комнате, недовольный не столько тем, что говорила жена,— он не слышал ее речи,— сколько тем, что прерывалось течение его собственных мыслей и разговора.

— Зачем же я училась? Зачем было все? Ведь двенадцать лет! Все детство, все девичество ушло на это. Сидела зачем-то по лабораториям, сдавала экзамены, месяцами, бывало, не спала, надрывалась, и вот!

Она беспомощно и горько развела руками.

— Лена! — опять строго, но сдерживая себя, чтобы быть корректным, каким он был всегда по отношению к жене,— Лена, ты не права.

И, отхлебнув чаю и смягчаясь, сказал:

— У тебя ребенок, ты — мать и воспитательница.

Она вся вздрогнула, точно искра пронизала.

— Ах, ну, да, да, да... знаю, знаю... Кроме того, я еще должна сидеть за самоваром, чисто и опрятно одеваться, и ни под каким видом не стареться, и читать слегка журналы, чтобы не очень быть глупой, и... и еще многое другое.

И как за минуту он чувствовал всю неуместность ее речей, так теперь вдруг почувствовал свою не совершенную, но несомненную вину перед ней!

— Леночка, да все это верно!.. Разве я говорю?.. Я же тебе уже говорил: как только наступит зима, закончу работы, возьму отпуск, повезу тебя в Питер. Там отдохнешь. Побываем в театрах и на выставках, и на концертах, да и со знакомыми повстречаемся. Я понимаю: ты молода, тебе хочется жизни. Ты не можешь себе представить, как я рвусь, только и думаю, как вырваться из этой глуши, из этой чертовой дыры степной, и все для тебя, родная. Знаешь ли...

Она судорожно засмеялась злым и мелким смехом, поднялась и подошла к черно-распахнутой двери, стройная и белая.

— Ну, да, конечно, для меня жизнь только в Питере, для тебя и для Пети жизнь везде, даже в этих глухих местах. Ведь я же знаю, что ты хочешь сказать: для молодой привлекательной женщины жизнь — только на концертах, на балах, в обществе, а в обычной рабочей обстановке она должна томиться, как невольница.

Он опять нахмурился, не давая возражать.

— Лена, ты знаешь, как я смотрю на женщину, на образование... Что же делать, если так складывается, если такова действительность! Я — инженер, хожу, копаюсь, ругаюсь с рабочими... У доктора, у начальника станции, у каждого свои занятия, труды: подчас скучные, кропотливые. Но что же ты можешь делать? Куда можешь приложить свои знания? Окончи ты на медицинском, ты могла бы лечить. Пойми же, Лена!

Она молчала, беспомощно уронив руки, и он, отдаваясь несознанной радости, что он прав, а она в чем-то виновата, поднес к губам и поцеловал ее руку.

— Дети, любите и не грубите друг другу, и аз благословлю вы, ибо пора спать: половина первого.— Петя благословил их перстом.

— Ну, ну, ну, апостол мечтаний, сам-то ложись. Собирался завтра на паровозе ехать и, конечно, проспишь до часу.

— Прелестные мои, я, как Татьяна, «привык предупреждать зари восход».

— На постели, храпя на весь дом и только к обеду являясь с заспанным и помятым лицом.

Лена поймала брата за чуб и поцеловала в лоб.

— Иди, мой мальчик, пора, в самом деле.

— Не находишь ли ты, Лена, что, если я останусь без волос, это мне больше будет к лицу?

И они разошлись по своим комнатам.

Инженер ласково взял за руку жену и вел, как подругу. Мягкое и теплое, что-то напоминавшее почти радостные детские, давно позабытые слезы или когда они были жених и невеста, теплилось на душе. Точно она повернулась к нему какой-то иной стороной души и грустно, трогательно и нежно зазвучали струны, о которых он не знал или забыл.

И ему жалко было расстаться с этим настроением, с этой нежностью, с этой близостью душевной, которая ничего не требовала.

Блеснули белизной подушки приготовленных постелей.

А когда, тряхнув головой, рассыпала по спине золотые волны, он почувствовал: меркнет тонкая дымка нежного настроения. Сделал судорожное усилие подавить темно и властно встававшее, все опрокидывавшее и ни с чем не считавшееся.

Нет, уж все равно. И он подошел и обнял жену, удивленно поднявшую голову, и волосы рассыпались по плечам и по груди. Он обнял ее, все сдерживая себя, стараясь не быть грубым. Ведь только одно: это — безумно влекущее к себе молодое ослепительное тело! Все забыть, ото всего отказаться, и только им обладать, и в этом — неизъяснимое, неподавимое человеческое счастье...

Свет в доме инженера погас, но в другом месте, далеко теряясь в темноте, светятся до утра два ряда окон.

В нижнем этаже занавешенные окна молчаливы и неподвижны.

По освещенной занавеске временами мелькает темным силуэтом женская тень, коса на плече... грудь... руки... Свет никнет, а потемневшее окно, чуть брезжа, дразняще смотрит в ночную темноту, тая...

Погодя, снова во всю занавеску светлеет... мелькает тень... Хриплый смех... скверные слова... То в одном окне, то в другом, то в третьем...

Сверху — гул, крики, голоса, звон посуды.

По освещенной жестяной лампочкой грязной крутой лестнице одни спускаются, другие подымаются в картузах, в засаленных блузах без кушаков, с усталыми после рабочего дня, потными лицами.

Когда входят в зал, разом тонут в говоре, в дымной синеве. Мутно видны головы, столики, стойка с посудой и бутылками, а за стойкой — кряжистый с негнущейся волчьей шеей человек, и из-под всегда насупленных бровей внимательные, ничего не упускающие глазки. Когда к нему обращаются, в лицах посетителей — смесь боязни, почтительности и пренебрежения, и зовут его Захаркой.

Стоном стоит:

— Тридцать два и четыре!..

— Ванька-а! Ежели ты сукин сын, обыми меня...

— Бежи за Анюткой...

— Морду побью...

О-ох и скольки богу не мо-олился-а,
Во-о свя-атые ни попал...
За-а хо-ро-ше-ньк-ой по-огна-ался-а,
И, о-о-ох!.. ху-уду-ю по-те-рял!..

— Цыц!

— Направо в лузу...

— Ах, матери твоей весело!..

— Не гавкай под руку!..

— Глиста!..

— Гашку, Гашку, слышь!.. Энту толстую...

— Коклеты поросячьи, тебе сказывают...

В пестро вьющемся разноголосом дымном клубке че-

ловеческих голосов, брани, песен, выкриков, смеха и ругани с особым значением напряжения несется катящийся гул и упруго-щелкающие удары бильярдных шаров.

Это по всем комнатам, и нет уголка, где бы отдохнуть, закрыть глаза, отдаться усталости.

По лестнице подымаются все новые, как будто нет им конца и края, а другие спускаются, доедая на ходу, отирая губы после выпитой водки, договаривая недоконченную брань, и тонут в темноте.

Среди дыма, говора, среди бород, усов, среди кожаных курток и замасленных рабочих блуз только одна женская фигура.

Она ходит между столиками мягко, по-кошачьи, беззвучно неся молодое гибкое тело в простой беленькой кофточке, не слишком опрятной, забирает посуду, дает чистую; и лицо ее бледно, и на нем — бесстыдство и никогда не потухающая улыбка тонких губ.

Это — цинизм без слов, без грубостей, без отталкивающих подробностей. Ничего в ней грязного, вызывающего, но эта непрерывная улыбка на бледном лице, эти темные глаза, где не разберешь — разврат или злоба, как бы говорят:

«Всё тут!.. На!.. Ешь хоть с кашей...»

И она проходит, не глянув, и все улыбается.

Это приводит в исступление. В дыму, в криках, в заглушаемом звоне посуды, несмолкающем гаме песен и брани блестящие, возбужденные глаза тянутся к ней.

— Рюмашечку, Кара Захаровна.

— Карочка, рюмочку.

— Красавица, еще пивка.

Тянутся к ней рюмками, стаканами, пьют, чтобы лишний раз заговорить, лишний раз заглянуть в эти темные раздражающие глаза.

А она ходит, как королева, подняв голову, откупоривает, наливает, забирает ненужные стаканы, ходит мягко, легко, совсем не качаясь, ходит и улыбается, и бесстыдство на бледном лице.

Один только человек с волчьей шеей и осанкой хозяина изредка спокойно и искоса взглядывает на нее изпод насупленных бровей маленькими колючими глазками, и не разберешь — торжествующая ли уверенность власти в них, или бессильная злоба подавленного подчинения.

Крючник, с добродушными голубыми глазами, откуда глядит дремлющий зверь, сидит, не поворачивая бычачью шею, за столом, заставленным бутылками, расставив ноги и руки, которым как будто мало места среди шумевшей, сидевшей и ходившей кругом публики.

Он тяжело следит за женщиной глазами и, когда она проходит возле, огромной медвежьей лапой берет повыше локтя,— и, казалось, хрустнула тонкая кость.

— Слышь, ничего не пожалею... скопил... дом построю...

Она остановилась, чуть подалась к нему тонким гибким телом. Ни один мускул на бледно-улыбающемся лице не дрогнул от невыносимо сжимающей боли, только еще больше улыбались тонкие губы и мерцали злым огоньком темные глаза.

И — точно, шевеля сухой шуршащей травой, проползла, темно извиваясь, змея — прошептала шепотом, похожим на шипение:

— Пуссcти!

— Не хх... ххочешь?..

И вдруг, охваченный бычачьим, все заливающим бешенством, с налившимися глазами, прохрипел ей в самый глаз, куда пришлись его мокрые вздрагивающие губы с обвисшими усами:

— Не ххочешь... с отцом... с родным слаже?

Как птица, пронизав говор, шум и дым тонким, как придыхание, визгом, неестественно изогнувшись навзничь, метнулась она над ним, роняя со стола стаканы, поймав свободной рукой покачнувшуюся бутылку. Лицо точно провалилось,— не было улыбки, только два темные пятна глаз.

Он хотел перехватить огромной лапой, но бутылка, треснув, пришлась в самое темя,— и лицо быстро, как кумачом, красно задернулось.

— Ммм!..

Выпустив и покачнувшись, поднялся с затрудненным дыханием, как бык, на секунду упавший на колени, которого оглушили, да плохо,— опрокинув стул и протирая клейко и тепло заплывшее лицо.

Он обвел кругом налившимися глазами, и, хотя протер их, все кровавилось; чувствовал, как подымаются нечеловеческие силы, но не умел еще пустить их в ход.

А она, подняв голову, шла, как королева, спокойная и... улыбалась.

Захарка быстро снимал со стойки и прятал посуду, бутылки.

И тогда, все покрыв, раздалось:

— Ннно!..

Тяжелый стол со всем, что на нем было, поднялся, опустился, и вместо него с треском полетели над торопливо пригнувшимися головами осколки, впиваясь в стены. С треском сорвалась и опрокинулась, роняя бьющуюся посуду, стойка.

— Ого-го-го!..

— Бей его!..

— Лупи...

— В морду...

— Бутылками... бутылками!..

— Ой-ой-ой-ой...

Уже облепили со всех сторон, как мухи, все, кто был в трактире. Его били, куда и как попало, били с красными, озверелыми, воспаленными лицами, хрипло ругаясь; били за то, что он громаден, что у него чудовищная сила, что на голове кровавится зияющая рана, что они все одинаково бессильны перед женщиной, что никто не может обладать этим гибким телом с бледным улыбающимся лицом; били потому, что у каждого просилось с языка то, что сказал он, да не смели.

А он отшвыривал их, как щенят. Ему не люди нужны. Он в щепы бил столы, скамьи, стойку, шкап; вырывал оконные рамы; брызгами летели осколки трактирного, засиженного мухами зеркала. Он самые стены, казалось, пытался ринуть вниз.

Пол весь белел осыпавшейся штукатуркой, осколками дерева, битой посудой, и, шатаясь и хрустя, уродливо переваливалась от стены к стене груда переплетшихся человеческих тел, и в храпе, в тяжком дыхании, в проклятиях и ругательствах сквозь стиснутые зубы мелькали руки, ноги, спины, порой голова с зияющей раной. Из другой комнаты выскакивали игроки и били его киями и шарами.

Захарка стоял в стороне и, нагнув несгибающуюся шею, немного отступая, когда накатывался клубок человеческих тел, внимательно следил маленькими злыми, кабаньими глазками.

— Под ребра!.. Под ребра каблуком!.. По животу, по животу, по животу!.. Не трожь морду... По животу... Под ребра да по животу!..

Кара спокойно, все с той же непропадающей улыбкой, ходила, подбирая кое-где уцелевшие стаканы и бутылки, гибким мягким движением неспешно отстраняясь от катавшихся по полу людей.

Живая груда, слепо тычась в стены и перекатываясь, ввалилась в двери, сорвала их и по ступенькам лестницы, стуча головами, хватаясь и срывая перила, покатилась друг за другом.

Крючник скатился до самого низу, удержался было у выходных дверей, но на него бешено навалились, и он очутился на улице, в бурьяне. Дверь захлопнулась.

Темно и тихо. Вверху в окнах по-прежнему свет да нестройный говор, крики, шум. В нижнем этаже окна молча и ровно светятся сквозь занавески.

Крючник тяжело поднялся и постоял в темноте, прислушиваясь к глубокому чувству спокойного удовлетворения израсходованных сил — в комнате все в обломках.

И вдруг злобным взрывом поднялось:

— А бильярд!

Он на секунду приостановился, предвкушая радостное напряжение, когда, напружившись, сорвет, поволокет и целиком спустит по лестнице.

Но возбуждение израсходовалось.

— Черт с ним!..

И пошел в темноте целиком, бездорожно, мимо разбросанно проступавших темных пригорков, не похожих на людское жилище. Трактир все дальше светился в два ряда окон. Волосы на голове клейко слиплись.

У инженера не было огня. Спереди, сверху, с боков молчащая сухая тьма.

Долго шел, натыкаясь, наконец остановился у своей землянки. Послушал — из-за покосившихся дверей тихое, спокойное дыхание. Стукнул кулаком. Сейчас же за дверьми по земляному полу торопливо зашлепали босые ноги, и женский голос:

— Ты, Осип Митрич?

— Отворяй.

Дверь, невидимо отворившись, скрипнула, он шагнул.

— Ты что же это...— грязное ругательство.

С минуту в темноте, не видя, стояли друг против друга — точно подыскивал повод.

Впрочем, можно и без повода, и с размаху ударил женщину. Она упала.

— Осип Митрич, пожалей... пожалей... ой, батюшки!.. Пожалей... Ой, родимые!.. Смерть...

Он бил, топтал сапогами в темноте на полу, бил с холодным, сосредоточенным ожесточением, пока не замолчала и мягко, послушно не стало подаваться под сапогами тело.

Выволок за косы на двор, припер двери и растянулся на жесткой постели, отдаваясь утомлению и наваливающемуся тяжелому от опьянения сну. И в темноте близко улыбалось бледное матово-бесстыдное лицо.

Темны июльские беспредельные степные ночи, темны, тихи и таинственны, как будто дела людские — крохотный островок, потонувший в океане неподвижной сухой тьмы, в каждом кусочке которой, знаешь, все — обычно: сухой полынок, сухая, шершавая земля, пусто, никого, и стоит громада молчания, и ждешь чего-то,— точно невидимая птица, задевая крылом, посылает тонкий, за душу щемящий крик, беззвучно умирающий в темноте.

Смутно и неясно, но уже все предрассветно обозначилось кругом: и земля, и начинающее синеть небо, и дремлющие, готовые проснуться и порозоветь облачка.

Степные голоса уже проснулись и зазвенели.

В чутком бледно-сером, еще полном утренней печали воздухе разносится:

— Го-го-го-го-го!.. Го-го-го-го!.. Го-го-го-го!..— медно разносится, могуче, нетерпеливо, дрожа от силы и нетерпения, и слышно за несколько верст, разгоняя недосказанность утра, смутную и неясную.

Люди говорили:

— Ну, заржал жеребец.

Ему ответил другой: «го-го-го-го!..»

И третий: «го-го-го-го!..»

Как-то особенно связываясь с ясневшим и ясневшим небом, с уходившей пока в пустынную еще степь жел-

теющей насыпью, с тонкими, как карандаши, тоже уходящими телеграфными столбами, разносилось:

— Го-го-го-го-го-го!..

По-особенному, по-утреннему.

— Семафор закрыт, вот и ржут, просятся,— говорили.

Спустя, тоненько и слабо, как паутинка, но со своим собственным значением протяжно и долго:

— Ти-и-и-и-и-и!..

И еще два раза:

— Ти... ти... и-и!..

Дескать, путь открыт.

Заколыхался белый султан над черным приземистым рабочим паровозом, и пошли говорить, мелькать друг за дружкой колеса, все ускоряя мелькание и говор; и побежали платформы, груженные песком, камнем, тяжело катящиеся, низкие, а в хвосте последняя весело и легко бежала — живая, открытая,— и вся пестрела красными, синими, белыми рубахами, загорелыми лицами. Торчали лопаты, ломы, кирки, а по краю, свесившись, мелькали над полотном в опорках, в лаптях, а больше босые загорелые грязные ноги.

Становясь все меньше и меньше, колеблется белый султан. Последним убегающим клекотом еле доносится из степи замирающий говор колес.

Уже вся степь лениво до самого края разлеглась отлогостями, гребнями, молчаливая, чуть синеватая утренней синевой.

Пусто. В этом молчании, звенящем птичьими голосами,— своя собственная дума, спокойная, загадочная, седая от века, которую не поймешь и не слышишь и всегда чувствуешь, и тихая печаль.

На краю курган синеет одиноко и молчаливо, как далекое воспоминание.

В том месте, где из-за семафора вышел и ушел в степь рабочий поезд, словно задымилась степная земля. Белые дымки бесчисленными живыми, колеблющимися столбиками восходят к ясному небу, на котором давно уже растаяли проснувшиеся тучки.

Дымки подымаются над глинистыми бугорками. Когда приглядишься, это — мазанки и землянки, далеко разбросанные то кучками, то врозь, без улиц, без переулков, без церквей. И нет заборов, огорожи, и потре-

скавшаяся сухая земля поросла колючкой, бурьяном да исчерчена старыми, иссохшими колеями.

Словно неведомая орда шла по степи и заночевала, и над становищем подымается пахучий кизячный дым.

Но, связывая с представлением о людях, о людском, обыкновенном, прочном и долговечном, белеют за полотном станционные здания, незаконченные железнодорожные стройки да великолепное здание с садом, клумбами, тополями, с оранжереей и фонтаном, которое занимает начальник дистанции.

А с другой стороны, на отшибе от поселка, прямо и высоко, четырьмя углами нового двухэтажного сруба подымается трактир.

Покрыт он камышом и, видно, сколочен, на живую нитку, и человек, его поставивший, тоже пришел откуда-то и заночевал в степи, но, должно быть, понравилось место, и не собирался он скоро сняться, поставил плетни, сараи, вырыл колодец, и то и дело скрипит и кланяется над колодцем высокий журавель.

Дом этот живет, как ночные птицы, ночною жизнью, но уже давно поднялись бабы и хлопочут и суетятся по хозяйству.

Как ни молода жизнь этой кучки землянок, ростком уцепившейся среди без границ и предела раскинувшейся изжелта-бурой выжженной степи, на отлете уже белеют свежетесанные кресты, большие и малые, а под ними желтая, недавно взрытая глина. И ни деревца, ни кустика, ни травинки.

Так же торопливо, лихорадочно, спешно бьется трудовая жизнь и в поселке, начавшись задолго до солнца.

Кто обмазывает глиной стены и крышу приземистой подслеповатой землянки, от которой тянется длинная утренняя тень, кто торопливо тут же у двери тачает сапоги. Бондари сколачивают кадушки, хозяйки на дворе в вырытых в земле печурках готовят ранний обед.

Между землянками на кое-как сколоченных полках под наскоро сбитыми дощатыми навесами бойко, в говоре и шуме, торгуют бараниной, помидорами, огурцами, свежепеченым хлебом и водкой, сдобренной водою.

— Борщу горячего!.. Борщу горячего!..

— Ты что это, анахвема, суешь хвальшивый?

— Во, во, во!.. Он завсегда... никогда, чтоб настоящим...

— Да Игнашка сам их делает, накажи меня бог!

— Ну, супостат!.. Всучит, а ты и носись...

Сапожник Игнат, одноглазый, веснушчатый и суетливый, действительно между делом занимается фальшивыми, плавит, отливает, а когда к нему в это время приходят посторонние, поворачивается спиной и говорит, помешивая на огне в жестянке:

— Не замай,— вишь, занятой...

И теперь хмуро и недовольно опускает фальшивый пятиалтынный в карман, долго роется в широчайших штанах, отыскивая настоящий, и сердится:

— Што пасть-то раззявили, как бозныть што!.. Как за губу их тянуть...

Торговки с азартом пробуют серебро на зубах, со звоном бросают на камень и недоверчиво и опасливо встречают всякого покупателя, как мошенника.

Над базаром поднявшееся солнце, гомон, божба, бабьи выкрики и поднятые оглобли. Распряженные лошади, со ссунувшимися на опущенные головы хомутами, звучно жуют наваленное на земле сено. К повозкам, перебивая друг друга, говоря и не слушая, тянутся покупатели за капустой, картофелем, огурцами.

Все спешат, торопятся, точно стараясь опередить это все больше и больше выбирающееся из-за степи солнце, эти укорачивающиеся тени от мазанок.

Борщ, огненно-рыжий мужик, торгует горячим борщом, кашей и всякой снедью, которую его баба наварила и напекла еще затемно.

Ловя каждую минуту, торопливо прибегают бессемейные стрелочники, кондуктора, составители, которым становиться на дежурство, слесаря, монтеры, которых ждет паровозное депо, грузчики и из чернорабочих, не успевших сбиться в артели; тут же, на земле или стоя, кусая ковриги хлеба, хлебают и едят, стараясь наесться на весь день — на работе уже негде — и, расплатившись, бегут.

Тут же коротко, на бегу, рассказываются новости, происшествия, и то и дело разносится грохот здоровых глоток.

Помощник машиниста с ввалившимся пепельным лицом, на котором только ослепительные зубы, в промасленной кожаной куртке, с усилием прожевывая, вытягивая лицо, глотает и в промежутке рассказывает набитым ртом:

— Подали это мы с Иван Митричем паровоз под поезд... Поезд пробный, только что путь уложили. Начальник движения разрешил публике без денег садиться. На даровщинку-то всякому в охотку, набилось — дыхнуть негде!.. Тронулись. Тихо идем, путь-то не подсыпан. Где остановимся, стоим, стоим в степи: рельс, вишь, выперло,— рабочие слезут, переменят. А жара, мухи, пыль, чисто все потом заливаются. А в вагонах — столпотворение, друг на дружке сидят, песни, гомон. Вот идем мимо речки, степь кругом, хоть шаром покати, жарит. Вот Иван Митрич и говорит...

Все, так же торопливо прожевывая, с усилием глотая, слушают.

— ..постоим, пускай покупаются, вишь, духота. Стали. Публика обрадовалась, как суслики из нор, вся высыпала на берег. Зараз разделись — и в воду...

— И бабы?..

Глаза засветились, и еще подошло несколько человек, прожевывая, стали слушать через плечи.

— Да все же, и бабы, все, кто был, разве осталось с десяток в вагонах. Смех, гомон, чисто сказились. Жара же, а тут благодать.

Слушатели, осклабляясь и оглядываясь друг на друга, поматывали головами.

— И бабы, ешь те с хреном...

— А Иван Митрич глянул на них, на голых-то, и говорит: «Ну-ка угля». Подкинул я, он свистнул, открыл регулятор, поезд и пошел. Братцы мои, что сделалось: повыскакивали все, в чем мать родила, мокрые, похватали одежду, сапоги, башмаки под мышку, да за поездом, за поездом, по полотну, что есть духу лупят...

Взрыв хохота, гоготанье разом все покрыли и заполнили:

— Голые?!..

— Не успели!..

— По полотну, стало быть?.. Го-го-го-го!..

— И бабы!..

— Го-го-го-го!..

— Главное, бабы!..

Дрожало все кругом и далеко разносилось по молчаливой, не принимающей ни в чем участия степи.

Солнце подымалось.

— С полверсты проманежил. А как остановился, все наперебой полезли; в вагонах уж одевались. Мы было подохли на паровозе...

Базар редеет.

— Ешьте, ешьте, куценькие,— говорит Борщ, черпая железным ковшом из подвешенного над дымящимися кизяками котелка.— Ишь ты, борщок-то так весь жиром и взялся, баранинка-то, первый сорт, кушайте, дай бог вам нагулять такого же жирку.

А из-под рыжих бровей остро и недружелюбно сверкает беглый взгляд.

Не любит он железнодорожников. Для него, как и для всего поселка, они — белая кость.

Не любят их и железнодорожники. Для них поселковые — сброд, невесть откуда сбежавшийся, у которого одно только — урвать. Без племени, без роду, кто прихватив голодных ребятишек, кто бобылем, сбежались они неведомо откуда, без спроса и разрешения нарыли на чужой земле землянок и торгуют, шьют, одевают, обувают, плутуют, поят водкой, доставляют женщин и лихорадочно, несмотря ни на что, сколачивают копейку, чтобы уйти из этого стылого места на милую далекую родину, где кресты отцов, где поля, березняки, тихие воды.

Длинный вал и ров разделяют эти два царства, но жить друг без друга они не могут.

Борщ — никто не знает его фамилии — неизвестно откуда привез как-то под вечер на хромой лошаденке кучу голодных, раздетых ребятишек и измученную бабу. Сам шел за повозкой, вспыливая хлопающим кнутом дорожную пыль, и гнал двух баранчиков. Вырыл землянку, зарезал баранчиков — и с того и взялся. С тех пор его прозвали Борщом.

По ночам к нему пригоняют мелкий ворованный скот, и в темноте, не зажигая огня, он его режет, свежует и наутро бойко торгует свежим вкусным борщом, кашей, вареными кусками.

Семью он держит в строгости и повиновении.

Отгородившись высоким валом и глубоким рвом от бело дымившего утренним дымом поселка, простирается особенное царство со своими собственными нравами, интересами, законами, правилами, бедами и радостями.

По бесчисленным путям пятнами краснеют вагоны; бесконечными цепями тянутся открытые платформы. На желтом песке грудами валяются колеса, рессоры, шпалы, рельсы — в хаотической разбросанности и беспорядке. Как муравьи, всюду копошатся люди, таскают, складывают, прилаживают. Дымятся белые дымки паровозов. В громадном депо стучат молоты, оглушительно грохочет железо, и через разинутые ворота темнеют внутри паровозы. Несется стук топоров со строящихся зданий.

Взад и вперед продвигаются, звеня буферами, маневренные поезда, далеко перекликаясь в прозрачном утреннем воздухе, и тоненько, унывно издалека тянут рожки перебегающих стрелочников: ти-ти-и-и-и-и!..

На запасных путях у разбросанных вагонов, где временно живут железнодорожники, копаются в песке дети, дымятся печурки с варевом, хозяйки развешивают отстиранное белье.

Рабочая трудовая жизнь бьется тут по-своему, разбросанная по огромному пространству путей.

И благословляет все подымающееся солнце. Укорачиваются тени. Млеет степь.

Бесконечно уходит желтеющее полотно.

II

Хотя всю ночь Захаркин дом светился огнями, неслись песни, крики, звон посуды, удары бильярдных шаров, утро у него начинается рано.

Давно подоили коров, кланяется колодезный журавель, огромный работник, шкандыляющий на хромую ногу, с рыжей седеющей бородой, привез кладь со станции, и нос у него красный. Разговаривает накормленная птица, свиньи чешутся о корыто, и косматые собаки, гремя волочащимися цепями, со звериным азартом кидаются на шаги за забором.

Крепкая, налаженная хозяйственная жизнь в обставленном сараями и навесами дворе идет заведенным порядком.

И всюду — во дворе, в трактире, где, подоткнув подолы, моют полы бабы, на стройке, где в кумачовых рубахах с расстегнутыми воротами, без поясов, рыжие плотники, стуча топорами, облаживают помещение для лавки,— всюду видна кряжистая с негнущейся шеей фигура. Захарка сам ничего не делает, только подойдет, глянет из-под бровей и буркнет:

— Ставь стропило глубже в гнездо.

Или:

— Нет, чтоб хомут починить,— плечо натерло. Не видишь, залил зеньки.

— А ты, подлюга, что лысины по полу оставляешь? На помин себе души?

Оттого, что все его замечания дельны, его боятся и слушаются, и идет большое хозяйство, как у умелого капитана судно, не цепляясь.

У всех уже животы подвело, когда наконец Захарка, отирая потное лицо, идет к себе чай пить.

В комнатах, где семья, все обычно, как в мещанском доме средней руки: дешевые обои с цветами и птицами, образа в огромных почернелых ризах, запыленные скатерти на столах, скачущие генералы по стенам.

Захарка; жена — огромная, раздувшаяся желто-налитая женщина — и дочь за огромным бунтующим трактирным самоваром.

Проворно летнее степное солнце: не успеешь глаз открыть, а оно уже высоко выбралось над степью и бьет в окна, и дробится пляшущими искрами в колеблющемся чае, в посуде, в начищенном самоваре и все старается заглянуть в Захаркины глаза. Но в них не заглянешь — они сумрачны под нависшими бровями.

Мелко накусывает щипчиками сахар, тщательно подбирая крошки в рот, и пьет аккуратно, беря на язык по кусочку, поставив дымящееся блюдце на три пальца. Говорит мало, отрывисто, и, кажется, даже его негнущаяся воловья шея все время обдумывает дела.

И вдруг:

— Ты, корова!— не натрескаешься. Только жрать, работать — другие.

Раздувшаяся женщина с желтым, как пузырь, лицом, на котором лишь щелочки глаз, боязливо, точно извиняясь за свои размеры, с усилием втягивает из

чашки, стараясь скорее допить, как будто занимает чужое место

Прежде она, бывало, ответит:

— Не грех тебе, Захар Касьяныч... я ли не работаю, больной человек!..

— Черт тебя не возьмет, больна-ая!.. Зад раскормила, на стуле не помещается... Спит, об одном об жранье видит.

— Побойся бога...

— Цыц!..

Женщина, переваливаясь, пойдет в другую комнату, цапаясь за стены, станет на колени; трудно на коленях, не удержится, повалится животом и лицом на пол и, стараясь взглянуть на икону:

— Господи!.. Ты же видишь, ты же послал болезнь... скажи им, открой им глаза, больной я человек... трудно дыхание .. задышалась совсем.

Молча, не отвечая, глядят потемневшие образа.

Была она когда-то девкой крепкой, грудастой. С утра до ночи горласто пела песни и покатывалась, неизвестно чему, со смеху. Потом вышла замуж за Захарку — и замолчала.

Теперь, обжигаясь и ловя губами, стягивает с блюдца голый кипяток, скорей бы опростать место, как бы не цыкнул.

Разве Кара иногда обрежет:

— Ну, будет!.. Обрадовался...

Кара, как птица, почти не присаживается, поминутно встает, ходит, хлебнет полчашечки, и сыта. Распоряжается, гоняет баб, которые работают, моют и убирают трактир; ни на минуту не даст передышки, и все ее не любят и боятся, и все та же бледная улыбка на бледном лице. Точно отгораживается этой непроходящей улыбкой от людей, от их любопытства.

Когда проходит мимо матери, смотрит поверх ее — тут пустое место.

Когда проходит мимо отца, длинно опускаются, подрагивая, ресницы, точно для того, чтобы скрыть под ними большую любовь или жгучую, непрощающую ненависть, и дергается судорожно готовая уйти улыбка.

Только раз в три, четыре месяца, когда придет серый неуклюжий пакет с письмом из полка от мужа, точно слегка приоткроется лицо, сбежит улыбка, и лишь один провал глубоко обведенных глаз.

Дня два она носит в кармане измятый нераспечатанный конверт, потом порвет, выбросит, и из памяти снова исчезает образ зеленого, хилого человека, который и в солдаты-то попал по недоразумению.

Сопьют весь чай, в чайнике чуть окрашенная зеленоватая водица, самовар отдают на кухню.

Вокруг белого непокрытого стола сидят две работницы с потными лицами и подоткнутыми подолами — они же и девицы в заведении в случае большой спешки и требования,— и работник с огромной красной рожей, подвернув под лавку хромую ногу,— он же и вышибало по вечерам.

Бесчисленно наливают из самовара в чайник, из чайника в чашки и пьют, громко прихлебывая, откусывая от огрызков и в промежутках вставляя по слову бесконечного разговора.

В воскресный день, когда на базаре шум, толкотня, гам и лес поднятых к небу оглобель,— съезжаются со всякой живностью хуторяне,— Захарка, ко всему внимательно прицениваввшийся, подошел к возу, где в соломе отчаянно визжали поросята. К оглоблям прислонился украинец, в необъятных штанах с обвисшей мотней, и, обжимая горячую золу потрескавшимся пальцем и глядя поверх носа, тянул люльку. А у колеса, поставив босую ногу на ногу, стояла девка, не то испуганно, не то полуудивленно озираясь.

Захарка остановился.

— Нанимаешь?

Молодой загар лежал на ее чуть припухлых скулах, и это придавало милую степную сонливость лицу.

Украинец долго молчал, глядя поверх носа на люльку, потом, не вынимая ее, уронил:

— Та це ж, нанимаю.

И, когда сладились, выколотил о каблук трубку и примирительно заговорил:

— Та не для найма, а шоб образовалась, мабудь, для образования. В деревне скотина, та навоз, та глупость, а тут, бач, яки скаженнии! Усе знают, усе понимают, и зализная дорога. Нехай до образованных пиде, поживе та вывчется...

Когда Захарка стал заставлять ее делать то, что делали девки в заведении, ее вынули под сараем из пет-

ли. А теперь, потягивая вытянутыми в трубочку губами из блюдца, рассказывает, открывая чернеющий беззубый рот:

— А опосля слесарь.

— Ну?

— А опосля из артели.

— Ну?

— А опосля курносый.

— Ну?

— А опосля хозяин двох привел — подрядчика та Кирьку.

— Ну?

— А я сказываю хозяину: хиба я казенная, шо по два до разу?

— Ну?

— Ну, а хозяин вдарил, грит, сполняй свою надобность, жалованье получаешь.

— Ну?

— Ну, а опосля вы их вышибали,— пьяные и ведут себя дуже нехорошо.

— Страсть сколько народу вчерася привалило,— вставляет другая, ущемляет нос, сморкается и вытирает о колено; ее лицо измучено.— До Гашки с сестрицей бегала. Феньку привела, Лизаветку... Ой, батюшки!.. о-ой!..

Она скорчилась, прижимая подбородок к коленям.

Каждый раз, когда приходило слишком много народу, Захарка посылал в землянки по поселку, и приводили: от кого сестру, от кого дочь, от кого жену.

— О-ой, родимые!

— Да ты чего?

— Ой, подкатило... к самой душе...

— С чего?

— Хряшки отбиты у меня внутре начисто... подкатывает.

— Били?

— Смертным боем муж бил, два года бил.

— Бегалась?

— Не-е, я ни с кем не вязалась, а только, говорит, ноги у тебя большие, не ндравится мне.

Другая осмотрела ее ноги и выставила свои босые, грязные, слегка поворачивая.

— Правда, большие. Ай, нет? У меня такие же. Где же он теперь?

— Бросил, живет с другой.

— Ну?

Хромой не вслушивается в разговор. Ему приятно просто вставлять между горячими всхлебываниями: «Ну?..» От этого пот осыпает лицо бисером, и на носу все время качается горячая капелька.

Да и остановиться не может. Раз начал что-нибудь, так и пойдет. Была у него где-то в Рязанской губернии семья, бедность. Пошел в степь подработать, да так другой десяток лет и живет. Где приткнется, и служит, как бы ни обирали, ни притесняли, пока не прогонят. Где и что с семьей, за подневольной работой забыл и думать.

Однажды надо было высадить пьяного гостя из Захаркина заведения, неплательщика. Хромой не только избил и разогнал всех гостей, но разогнал и девиц и перебил все, что было в комнате.

— Да ты с ума спятил?! — сурово говорит Захарка на другой день после побоища.

— Хто-шш ево знает, как оно вышло,— в недоумении разводит Хромой руками, поднимая брови.

— Дурак! Кто же должен знать?! Ты бил-то? Заставь дурака богу молиться.

— И ума не приложу... Стало быть, с левой руки зачал, оттого...

— Ну, с левой, так я правой из жалованья у тебя все зачту.

— Сделайте божецкую милость... не оставьте...— И он, отодвинув, как палку, негнущуюся ногу, бухается в ноги.

Но Захарка неумолим, все до копеечки покрыл из жалованья, да еще с надбавкой, так как на все присчитал процент, и Хромой около года тянет лямку, не получая ни гроша.

Кряхтя, задыхаясь, шаркает ногами хозяйка и с усилием пролезает в дверь, загораживая ее всю.

— О-ох, господи!.. Хлеб да соль.

— Едим, да свой, а ты у порога постой.

Та, кряхтя и с трудом удерживая огромное тело, садится на закряхтевшую лавку.

— Чижало дышать... Ночью проснешься, лежишь, лежишь, бока замлеют, хоть бы рассвет; рассвета все нету, и не перевернешься... Аж глаза на лоб, воздух хватаешь, хватаешь губами...

— Жиру наели, и чижало, от безделья и дыхать нечем.

— Кабы округ коров да с полами, да округ печки повозились бы, небось заснули б.

— Дунюшка, родная, да я рада бы... Господи, кабы мочи было... Ведь от попреков сердце все изжилось.

— Помирать надо,— говорит Хромой, и капелька пота, раздумчиво колебавшаяся на конце густо заросшего из ноздрей носа, падает в чай, но на ее место сейчас же набегает другая.

— Кабы господь послал, Пашенька, я бы рада, только прогневался господь, не посылает... смерти...

Из щелочек выжимаются как две росинки, и она их оставляет, не растирая.

Хромой подмаргивает работницам и говорит, глядя на дверь:

— Ась, никак Захар Касьяныч идет?

Хозяйка испуганно, с каким-то обвисшим лицом, дергается, пытаясь подняться, наконец, упираясь руками в лавку, подымается и, странно семеня, протискивается в дверь.

В кухне смеются:

— Как пуля полетела.

— Это она чайку пришла попить.

— Хозяйка!.. Барыня!.. Там-то не дают небось, так в куфню.

В отворенное окно просовывается вытертая скуфейка, бегающие мышиные глазки и востренький, птичий носик. А гнусавый голосок дребезжит тонким, заискивающим теноржом:

— Чай да сахар.

— Только за чай, ты тут как тут.

Монашек появляется в дверях, опасливо ощупывая глазками и обдергивая продранную, засаленную ряску.

— За Христовы молитвы-то чайку вам жалко.

— А хозяин что сказал? Придешь в куфню, собаками затравит.

Все-таки наливают тепленькой водицы, дают огрызок, и он с блаженным видом начинает пить.

— А вон хозяин вчерась рюмочку поднес, сам поднес, на, говорит.

— А ты за это ему в воскресенье опять накладывать в загривок будешь?

— Ну-к что ж, то для миру. Энто во имя господне. Одначе он меня просил, скажи им проповедь, мещанишкам, чтоб не воровали. А то вон уволокли опять мешок муки. Что ж, я и на них... А ты бы, молодка,— налей-ка чайку,— подала бы милостыньку... николи не зазовешь... а бабочка тепленькая...

А та так же сонно:

— Грехами тебе подавать, што ль?

— В миру — во грехах. Всякое даяние благо, и всяк дар совершен. Вот в монастырь свой уйду, замаливать буду... и за тебя...

— Да у тебя и монастыря ниякого нема. Шатущий ты, мабуть, босяк...

— А из босяков в праведники не выходят? Громогласно выходят, по прямой линии. Ты погляди: праведники, они все — бессребреники, ни в нем, ни на ем, то и есть босяк.

Этот монашек всю неделю слоняется по поселку, по станции побирается, вечером пропивает набранное у Захарки, а в воскресенье утром идет на перекресток против Захаркина дома, долго крестится на солнце, потом поворачивается к трактиру и, воздев руки, начинает тонким, дребезжаще-сиповатым, но пронзительным, далеко слышным голосом, сверкая мышиными глазками и раздувая ноздри:

— Во имя отца, и сына, и святого духа!.. Прииде на землю червь, и гнусь, и древоточец, и аспид, и дракон фараоновой земли, ибо чаша меры переполнилась, ажнык через край пошло. А почему?.. Почему дракон фараоновой земли грешников поглощает, аки крин сельный... Куды податься... Некуды податься, всюду грешник, как ветром грушу обило... Ага, то-то!.. Сказано убо: легше верблюду в ушко игольное, чем, например, богатому влезть в царство небесное... А почему?.. Ежели блудник, да блудом торгует, да день ли тебе, ночь ли, буден ли, праздник ли — га-га да хи-хи, да пиво, да водка... А девицы почему такое замест почитания родителей в голом виде?..

Собираются ребятишки, бабы. Стоят, лузгают семечки, смотрят, ковыряют в носу. Подходят мещане по случаю праздника в ситцевых по щиколотку подштанниках, босиком, с непокрытой кудлатой головой, останавливаются, слушают, долго скребут в патлах.

Перед Захаркиным домом толпа... Слышатся реплики:

— А что ж, правда, и поп в церкви не иначе скажет.

— На то монах.

— Какой он монах!.. Стрелец.

— Знамо, стрелец; по кабакам шляется да даяния пропивает.

— Захарка-то, верно: развратитель и обиратель.

— Да правду говорит, чего там.

— А что ж, ему хоть обедню служить. Мы, как калмыки, хреста на себя не положим.

— Да где уж,— ни церкви, ни колокольного звону.

А над головами пронзительно-сиплый голос носится:

— Анахвема!.. Говорю те: анахвема!..

— О, господи помилуй!..

— Свят, свят, свят...

Так каждое воскресенье. Остальные дни он — жалкий, заискивающий, просящий.

Захарка сначала гнал его с перекрестка:

— Убирайся ты отсюда, черт сопливый!

— Ага-а-а, сопли-вый! Во имя отца и сына... И снизойдет огонь и пожгет древие иссохша... И воистину то древие рекомое Захаркой, ему же блуд, блуд...

— Пошел вон, а то дрючьями велю...

За монашка вступался народ:

— За ребро поддел!.. За живое место тянет?.. Не трожь... а ты вали, читай ему акафист.

Захарка перестал трогать, а иногда подносил и рюмочку.

— Ты чего же все на одного-то? Разве поп так говорит?.. Ты вот скажи проповедь, чтоб не воровали, да чтоб за товар расплачивались, а то, мошенники, кажный норовит улизнуть.

К Захарке постоянно ходит народ. То идут занимать деньги, то ему несут взаймы, то насчет постройки, леса, то разные дела, о которых он говорит с посетителями в отдельной комнате, тщательно заперев двери.

У всего поселка особенное отношение к Захарке. Захарка — мошенник и обернет каждого вокруг пальца. Но Захарка же и первый человек выплывает в этой бродячей жизни, и у него одного только высится двухэтажный дом, желтеют новым тесом ворота, заборы.

Всякое дело, какое ни делается на поселке, идет от Захарки, и с этой приземистой, плотной фигурой связывается представление силы, настойчивости и уменья.

— Захару Касьянычу нижайшее почтение. Вот деньжат привез,— говорит, развязывая кошель, приехавший из хутора верст за пятьдесят хлебороб, черный от загара, от степного ветра, от земли, над которой он ворочается, не подымая лица,— в погашение части долга. Много ли там осталось? Семьдесят пять? Охо-хо!.. Легко их брать, тяжко гасить. Земля как камень, вся потрескалась, а ты из нее выковыривай! Чижало стало, несть числа.

— Ну-ну-ну... Бог поможет. Он не без милости,— говорит Захарка, пряча деньги и беря большую книгу для записи.

— Вы же, Захар Касьяныч, запишите, чтоб все правильно, стало быть, в уплату долга погашение числом поступило двадцать целковых серебром, то есть от меня, Ивана Каравая. Без сумления.

— Да уж будь покоен, как в аптеке. У меня росинки не затеряется.

И Захарка что-то записывает, закрывает и уносит тяжелую книгу.

Из месяца в месяц возит мужик то три, то пять, то десять рублей, наконец радостно вытаскивает последнюю бумажку.

— Ну, шабаш, Захар Касьяныч, давайте вексель.

Захарка вытаскивает книгу.

— Ну, нет, брат, тут за тобой еще двадцать семь рублей сорок пять копеек.

Мужик столбенеет:

— Как же так? Я же топором зарубки делал, так в аккурате выплатил.

— Топором — не пером. А у меня вот записано.

И опять возит мужик трешницы и пятерки. Это нисколько не мешает Захарке впоследствии взыскать по векселю всю сумму сполна.

Приходит Липатов, такой же огромный, медлительный, добродушный.

— Захару Касьянычу почтение.

— А-а, ты... ну, здравствуй, садись.

— Спосылали за мной?

Липатов в трактире видит в Захарке плута, мошенника, содержателя публичного дома, спаивающего народ, в доме же это — хозяин рачительный и разумный, которому все на пользу, и Липатов величает его по отчеству.

— Посылал, Осип. Вишь, дельце тут. Можешь и ты заработать. Так что хороший процент, и пальца о палец не ударишь.

Осип тяжело и неуклюже садится, и в его добродушных голубых глазах появляется выжидающая настороженность.

— Сам знаешь, дела у меня идут — слава богу: что трактир, что заведение, что лес. Теперь облюбовал я еще одно дело — магазин бакалейный, также мануфактура, и скобяной, и мелочишка всякая, что требуется. Народ бедствует, сам знаешь. Дело верное, большой доход, и кабы попался мне верный компаньон, много можно доброго дела сделать и чисто народ облагодетельствовать. Вот не вступишься ли?

— Какие у нас достатки, Захар Касьяныч? С работы не будешь богат, а горбат. Только что хребтом своим и кряхтим, тут много не выкряхтишь.

— Так. Ну, я думал, что дело верное, процент огромадный, так что, думал, может, у Осипа и найдется сколько-нито, отчего хорошему человеку не помочь. Просются ко мне, слов нет. Ну, да у них у самих есть; это не штука — к деньгам деньги. Нет, ты бедному, которому взять не из чего, это — так. Вот Борщ засылал: возьми, грит, Христа ради, хочь сотен пять. Да он мне и даром не нужен. Опять же скотокрад и мошенник.

— Барыню, сказывают, инженериху, монет на тридцать обчистил.

— Слыхал. Эка невидаль — к деньгам деньги! Нет, ты бедному помоги. А то мне без надобности,— деньги завсегда найдутся. Было бы корыто, свиньи придут.

Липатов медлительно и долго сидит и думает. Потом говорит:

— А как проторгуетесь?

— Не твоя забота. Ведь я не как-нибудь, я вексель дам. Опять же у меня абселюция, дом, пристрой. Сам знаешь, поселок растет не по дням, а по часам. Место нонче даром берешь, а завтра за него, гляди, полтыщи. Наш поселок, брат, греметь будет, попомни мое слово.

— А какой процент дадите?

— Процент, милый, дам, не пожалуешься. Процент есть из чего дать. И сам заработаю и человеку услужу. Сам знаешь, почем тут товар идет, цены гильдейские, и то с руками рвут. Ну, я пущу дешевле, и то доходом хочь засыпься.

Он помолчал, хмуро поглядел в окно на яркий солнечный день с гомозившимися воробьями и веско, не допуская возражений, проговорил:

— На сотню — пять целковых в месяц. Стало быть, ежели две сотни принесешь, через год получай триста двадцать целковых.

Что-то подымалось у Липатова и подступало, так что трудно было дышать его громадной, тяжелой, как мехи, груди. Маячила иная смутная жизнь, которой редко кто добивался.

Этот несказанный рост заработанных воловьим трудом денег охватил его, как туман, подымающийся в жаркий день после душного дождя. В словах Захара Касьяныча слышалась уверенность крепкого, умелого, знающего хозяина, у которого и другим поучиться.

Медленно, долго думал Липатов и решился. И когда нес деньги Захарке, злобно думал:

«Н-ну, чертова змея! Не я буду, ежели не выбью из тебя поганый дух. Войтить в землянку нельзя. Как из кожи: бьешь ее, она хочь бы что! — почешется, и как ни в чем не бывало... Живущая, как кошка... Я ж-ж тебя!!.»

Дома Захарка написал расписку на двести рублей с тем, что через год заплатит триста двадцать рублей, считая по пяти процентов в месяц.

С этих пор для Липатова началась новая жизнь огромного напряжения, ожидания, точно каждый день относился и имел смысл постольку, поскольку приближал к будущей получке. Маячилось свое хозяйство, дом, заборы, тесовые ворота и эта дразнящая улыбка на бледном лице и темно мерцающие глаза.

Началось напряжение еще большего нечеловеческого труда, а жена уже каждый день стала плевать кровью.

Весь поселок, все дела, все люди и людские отношения, казалось Захарке, тянулись к тому месту, как к центру, где стоял его дом. Люди проводили дорогу, шили сапоги, набивали обручи, строили землянки, торговали, работали, пьянствовали, рожались и умирали только для него, для Захарки, чтоб креп, рос и ширился его дом, его дела. Даже воровали для его благополучия, так как без остатка пропивали наворованное в его трактире.

И это было просто, неизбежно, по какому-то внутреннему закону, который Захарка не знал, но всегда чувствовал.

Всех людей, все людские отношения вокруг себя он группировал точно, ясно, определенно. Мещан, окружавших его, презирал и третировал,— был мелкий, изо дня в день перебивавшийся народ, голодный и холодный, которого за грош купить и продать можно.

Рабочих ценил в большую цену — это люди с ежедневным заработком — и уважал: имели они свою гордость и умели постоять за себя. Главные посетители трактира были рабочие, и от них наполнялась касса.

Дальше разные господа: со станции — инженеры, техники, приезжие — мировой, следователь, купцы. Для них держал хорошие закуски, дорогие вина и хотя брал с них безбожно, но относился с полупрезрением: народ легкий, только наездом.

Один выбивался из этой точной, определенной группировки, начальник дистанции, Полынов. Все не мог сладить с ним Захарка.

Сначала приступил к нему прямо и грубо: предложил десять процентов с подрядной суммы. Полынов попросил уйти.

Захарка пережидал дня два, явился и предложил пятнадцать процентов. Инженер затопал ногами, прогнал и не велел пускать. Захарка нисколько не удивился и не обиделся.

«Брыкаешься, как молодой жеребенок. Врешь, обойдешься, употеешь. Пробежишься, замылится холка, сам в руки пойдешь, посмирнеешь». И оставил на некоторое время в покое. Потом стал охаживать осторожно, деликатно, пуская в ход всю свою изворотливость. Результатом этого было только то, что инженер не велел пускать Захарку и на полосу отчуждения.

Тогда Захарка изумился, не обиделся, а изумился, начал форменное следствие и провел его так, как не провел бы ни один следователь. Передопросил массу народу, в трактире даром спаивал рабочих, десятников, подрядчикам поставлял девок, но результат был один: инженер не берет ни скрытно, ни явно. Об этом заявляли все в один голос.

Тогда изумление Захарки перешло в негодование.

«Сопля!.. Кляча бондарная!.. Ему к самому рылу суют, а он, как беременная свинья, морду воротит... Ах ты, недоносок несчастный! Ну, ладно же, не я буду, ежели я тебя не допеку, брандахлыста идолова!..»

У инженера появился враг, о котором он не думал, но который днем и ночью не забывал своей ненависти.

Поскольку дом Захарки представлял определенность, порядок, стройность, постольку за чертой его все являло буйный беспорядок, хаотическую разбросанность. Землянки стояли как попало, то передом, то задом, то вдруг, покосившись, вырастали посреди дороги. Жались тесно друг к другу, а то прерывались пустырями — кто как захватывал.

Тревожной, смятенной и неуверенной в завтрашнем дне жизнью жил поселок.

Приходили в опорках, в тряпье со сквозившим голым телом, таскали камни, глину, выводили стены, засыпали сверху земли и жили, как в берлоге, смотришь — ан через полгода уже сапоги натянул, уже ломает землянку, ставит флигелек, уже торговлишку завел.

Были и такие, что не приходили, а приезжали — и в сапогах, в кафтанах, с благообразными бородатыми лицами, и сразу ставили сруб, крыли тесом и прибивали дощечку: «Мелочная торговля». Но случалось, что какой-нибудь из таких долго не отворял с утра лавочки. Осторожно входили соседи,— хозяин лежит на пороге, и из черно-разинутого под откинутой головой горла уже не капает кровь.

По вечерам в разных концах неслись песни, крики, гармоники: железнодорожные рабочие, покончив работу, ходили по поселку табунами, раздевали, если слу-

чайно ловили, женщин и потом при улюлюканье, грохоте и свисте пускали бежать.

Мещан, попадавшихся под руку, заставляли кататься в пыли, пить по полведра воды. Снимали с землянок крыши, заваливали чем попало двери.

Той же монетой платили и мещане им, а когда были деньги — гомерически пьянствовали вместе.

Так жил поселок, не зная судьбы своей, не зная завтрашнего дня, и, как остров, среди него стояло строгое хозяйство Захарки, полное порядка и уверенности.

III

Мировой судья, заседатель, адвокат и купчик из образованных заняли весь низ Захаркина дома.

Над головами гудел и гнулся потолок — там своя обычная трактирная жизнь. Захарка носил вниз бутылки, стаканы, жестянки с консервами. Для приезжих гостей он держал дорогие вина и закуски.

Мировой — было душно — сидел голый, в одних подштанниках, и зыбкий колышущийся живот перевалился через поясок, обвиснув на коленях, а на шее такой же зыбкой, жирной складкой лежал двойной подбородок.

— Захарка, распорядился?

— Зараз послал за Фенькой да за Гашкой с сестрой.

— Ты бы дочку прислал... ядовитая она у тебя.

Захарка спокойно расставлял бутылки, только мускулы щек играли да злой огонек прятался в глазах. «В городе — семьи, а сюды на падаль понаехали, пакостники...» — но был почтителен, услужлив и предупредителен.

Заседателю, кроме того, что будет поить, кормить даром, даст еще взятку.

Но и взятку Захарка давал умело, заботясь о будущем,— отводил заседателя в пустую комнату, а за перегородкой ставил свидетелей, присутствия которых тот не подозревал.

— Да вот записку отошлешь Полынову, Николаю Николаевичу... Я что придумал, господа,— трудно поворачиваясь дебелым телом (по жирным складкам траурно трепетали тени мигающих свечей), сказал мировой,— надо будет соблазнить нашего инженера.

— Не пойдет.

— Семья.

— Что ж такое семья? Семья останется за линией отчуждения, а мы здесь вне сферы законов, обычаев и иных норм.

— Вроде как в безвоздушном пространстве...

— А ну, попробуйте... лестно, конечно,— он человек культурный, образованный.

— Я, знаете ли, на деловую почву... Скажу: по делу, иначе не выманишь... хе-хе-хе...

И, помолчав, проговорил:

— Не люблю этаких чистеньких, в крахмалах, с чистенько выбритым лицом... милая жена... ребенок.

Потолок дрожал, гудел, падал смутный шум, голоса, не то песни и смех, не то брань, вой и крики.

Приоткрылась дверь, и из коридора выглянули девицы.

— Идите, что ль, стали, как коровы,— сердито заговорил Захарка.

Передняя вошла и сейчас же захихикала в рукав. Вторая нагло оглядела господ подернутыми, как черносливы, маслом глазами и бросила небрежно:

— Здрасте.

Третья с молоденьким, наивным, продолговато-печальным нежно загорелым лицом скромно стала у стены. Но когда купчик с замаслившимися глазками притянул к себе, развязно села к нему на колени и заговорила неожиданно густым, хриплым голосом:

— Ну, чаво? Как сало, расползся...

Все три были в уродливых широких ситцевых кофтах — по-городскому. И веяло от них крепким степным загаром, несло запахом кизяков и коровьего хлева.

Купчик захохотал.

— Нет, мне это больше всего нравится. Иван Вениаминыч, слышите, непосредственная натура, ей-богу! Ты чего же долго не приходила?

И опять раздался так не вяжущийся с этим милым, наивным, подернутым молодым загаром лицом хриплый голос:

— Покеда с коровами провозилась да полы побанила, а там спать лягла, завтра чем свет вставать...

— Нет... ха-ха-ха!.. положительно нравится — с коровами... ха-ха-ха!... Иван Вениаминыч... ей-богу!..

Ведь вот у себя — берешь лихача, резиновые шины, рессоры, мчишься в Эльдорадо, там тебя встречают в газе, декольте, французские фразы, а сюда я насилу добрался — на лошадях полтораста верст, жара, пыль, мухи, было сдох, на линии поезда правильно не ходят, в четвертом классе ехал, можете себе представить... А здесь вот этакое непосредственное дитя степей прямо от коров и с запахом, да и все это Захаркино заведение представляется мне разбойничьим притоном... ха-ха-ха!.. Ей-богу, презанимательно, и не выдумаешь...

Инженер шел от станции, посвечивая ручным фонарем: было темно. Перебрался через ров и вал и пошел между смутно маячившими землянками, чувствуя себя в чужом царстве, где убого, мелко, ненужно.

Весь смысл жизни, весь смысл мира был в уютной, чистой, прекрасно обставленной, с книгами, роялем, картинами квартире, где самые дорогие существа. Второй круг составляла его служба, постройки и множество людей, связанных с этим, чему он отдавал все свои способности, свои силы, знание, уменье.

Дальше простирался, как эта темь, безграничный круг неведомых людей.

Фонарь трепетно мигающим пятном скользит по бурьяну, по шершавой траве, ища чего-то, и на секунду из темноты выступает то покосившаяся дверь, то подслеповатое окно, то бревна неясно белеющего недостроенного сруба, и от этого мелькающего света по бокам еще гуще стоит темь.

Издали, должно быть из степи, доходят перебивающие друг друга голоса, сорвавшаяся песня, темный говор.

Пятно, скользя и мелькая, упало на одинокую землянку. Она молча выдвинулась зияющими нежилыми окнами и дверями — здесь вырезали целую семью.

Кругом глухо спят.

И вдруг, разом огромно и зловеще наполняя темноту, режет:

— Ка-рра-у-у-л!..

Инженер остановился, подождал.

«Черт знает что!..»

Тихо. Снова загорланили дальше.

Трактир светился в два ряда окон. Голоса, шум, песни, удары шаров.

Полынов отворил дверь. Ударил смешанный дух вина, водки, прованского масла, маринованной рыбы и нечистого потного тела.

В говоре, в синем табачном дыму колеблются огни стеариновых свечей, и по раскрасневшимся, с влажно сверкающими зубами, лицам женщин, по жирным складкам обрюзгшего, обвисшего тела мирового, по стенам, по полу воровски бродят трепетные тени, все шевеля и поминутно меняя, как будто все живое не зависимо от людских движений.

Лица всех повернулись, и дружно раздалось:

— А-а, Николай Николаевич! Милости просим!..

— Давно ждем...

— Без вас дом — сирота.

— Вы меня извините за прародительский грех,— анафемски душно... Знакомьтесь, господа: Николай Николаевич Полынов, прекраснейшая личность в полном смысле слова, а это наш Демосфен. В камере у меня мы постоянно ссоримся, но вообще друзья закадычные. Это — юный представитель промышленности и торговли... А, вы знакомы... Ну-с, а теперь, дорогой Николай Николаевич,— вы уж не обидьте нас, чудесный коньяк. Этот Захарка — мошенник и кандидат в арестантские роты, но вина умеет поставить прекрасные. Пожалуйста.

— Благодарю вас, пить я не буду,— холодно проговорил инженер, озираясь и ища места присесть.

— Голубчик, Николай Николаевич, невозможно... Сюда, сюда, здесь вам удобнее... Голубчик, Николай Николаевич,— мировой молитвенно сложил волосатые руки на отвисшей, как у женщины, груди,— ведь я понимаю: вы этим хотите сказать, что глубоко презираете нас...

— Да нет, ведь я же почти не пью...

— Тогда одну рюмочку... только одну... прелестный коньяк.

— Ну, да уж ладно, одну...

Он запрокинул голову, чувствуя, как огненно обожгло, и, ставя рюмку, подумал, смягчаясь:

«Всяк имеет право жить по-своему...»

— Отчего вы ко мне не приехали? Ведь у меня громадное помещение, для всех бы хватило...

— Голубчик мой, не сердитесь! Я написал, что хочу раз в неделю камеру свою к вам переносить — ваши железнодорожники массу дел доставляют, аховый народ, и вызывать ответчиков, истцов и свидетелей за пятьдесят верст страшно неудобно... Но в данный момент дело не в этом. Просто, мы все собрались встряхнуться немного, понимаете, совлечь с себя ветхие рубища всяческих условностей и мещанской морали...

— Истлевшие личины в некотором роде...— проговорил адвокат, слегка покачиваясь, в одном жилете, запустив в карманы руки, длинный, тонкий, как глиста.

— Голубчик, так попросту, знаете... вспомните золотые годы беззаботности..

— Нет, господа, я вам не товарищ. Вы заезжайте...

— Дорогой Николай Николаевич,— проговорил мягко адвокат, беря его за руки.

— Не трогайте мои руки...

— Людям страшно трудно... страшно трудно...— от него сильно пахло вином, лицо влажнело потом, и на лоб упрямо свисал кок,— я понимаю... Женщина борется за свое... как бы это сказать... борется за свою конституцию. Она по самому своему положению, по самой природе осуждена на единомужие. Вы понимаете, ребенок ее к этому обязывает. Еди-но-му-жие!.. И борется и мораль создает соответствующую, понимаете: со-от-вет-ству-ю-щу-ю!..— Адвокат поднял кверху палец.

Женщины с раскрасневшимися лицами тупо глядели на палец, не понимая.

— Ох, есть специалистки насчет многомужия.

— Позвольте-с,— прихватил купчик расстегнутую у горла рубаху,— всякий труд имеет свою оборотную медаль, и нравственность не ко всякому месту: в благородном семействе никогда не позволю себе...

— Верно изволили выразиться,— длинным басом вступился заседатель, подняв привыкшие всегда хмуриться брови,— полицейский крючок и больше ничего, ан это подумайте: каждый год сына жду, приезжаю домой — дочь, а их у меня девятеро. Да-с, а вы, извините, думаете: взяточник — и больше ничего, а в меня три раза стреляли.

Женщины засмеялись. Адвокат, расставив ноги, слегка покачивался с пяток на носки.

— Я г... говорю вообще, я г... говорю о типе женщины. Исключения только... только подтверждают правила. Так позвольте же и мне бороться, отстаивать свою мужскую конституцию...

— Вы женаты?

— Это к... к делу не относится...

— Женат, еще как женат. Ведь как ухаживал за своей женой, когда девушкой была, изнывал, дела проигрывал... хе-хе-хе!..— И мировой заколыхал животом.

— Да-а,— поморщился инженер,— борьба. А то есть еще термин...

— Кк... ккакой?

— Разврат.

— Э... э, батюшка, это в... вы уж приберегите для семейных антресолей.

Дверь чуть разинулась и со скрипом задергалась, точно делали усилие отворить.

Адвокат, привычно играя убедительностью тона, чеканил:

— Слово «разврат» выдумали ж... женщины для с... самозащиты...

А за дверьми хриплый задушенно-бешеный голос:

— Нние ххходи!.. Не смей!..

— Почему войти в сношение с женой — не разврат, а с другой женщиной — разврат? А если...

А за дверьми, словно шевеля сухой, шуршащей травой, проползла, темно извиваясь, змея, прошелестел шепот:

— Пусссти!

— ...А если с женой разведешься и сделаешься мужем второй, то единение с первой будет развратом и наоборот... Не больше, как условность, и так это и понимать надо...

И опять сдавленный хрип, заглушенный прижатой дверью:

— Убью!.. Уйди от греха... Убью!!

И сейчас же впился оттуда зазвеневший ненавистью, злобой голос:

— Ах ты, пес смрадный!.. Грозить?! Да я те сгною, пса старого, зараз скричу... ха-ха-ха!.. В каторгу... вот уж натешишься в кандалах... с тузом... сладко будет...

Грозить?! Да я те, смерд... С кем попало... со всеми на глазах у тебя буду... ха-ха-ха!.. Любуйся, пакостник!..

И, делая усилие, дверь снова, то прилипая, то разевая чернеющую щель, судорожно хрипнула, распахнулась, и на пороге в черноте коридора белым пятном — тоненькая фигурка в кофточке, с белеющим лицом, на котором улыбка, и с вздрагивающими ноздрями.

Она с секунду придержалась за притолоку, странно выделяясь, как оригинально задуманный замысел художника.

И тогда взрыв голосов:

— А-а, Карочка!..

— Красавица!..

— Тебя-то нам и недоставало...

Но она задержалась только секунду, точно ища чего-то и не умея найти, и сейчас же мягко, по-кошачьи, подошла к инженеру.

— Чего же вы так сидите? — проговорила, уронив тонкие бледные руки, и голос у нее был тонкий и бледный.

Ухо инженера оскорбительно покоробил ее мещанский говор. Сам не зная почему, он смутно ждал иного.

И в то же время за этим мещанским говором, за этим ненужным появлением почудилось что-то огромно-бесформенное, темное и повелительное, чему нет имени, от чего нельзя оторваться.

— Ну-с, до свиданья! — повернулся инженер к мировому.— Вы заходите ко мне завтра утречком, потолкуем насчет камеры. Помещение найдется. Мы тоже чрезвычайно заинтересованы в этом — меньше прогульных дней будет.

И опять тихий, бледный голос, и бледное лицо, и улыбка.

— Что же так... Только вашего и было?

И, прежде чем он успел шевельнуться, она гибким змеиным движением рванула кофточку, тесемки, пуговки, и кругом ног мягко легли на пол белым кольцом сорочка и юбка. Таким же вкрадчивым мгновенным движением очутилась у него на коленях, липко обвила шею тонкими детскими руками, прижимаясь острыми, твердыми, почти девственными грудями к шершавой тужурке и холодным пуговицам, откинув бледное, с обнажившей влажно поблескивающие десна улыбкой лицо.

— Родно-ой!..

И это так тихо, как шелест.

Было бесстыдство не в наготе ее обнаженного тела, не в страстной конвульсивности объятий, а в этой исступленно-насильственной улыбке, обнажавшей мелкие влажные зубы и десна, бесстыдство, которое не прикрывала и одежда.

— О-о-ох!..

— Матушка!..

— Господи!..

Мировой хрюкнул, побагровев и судорожно прижав вывалившийся живот.

Адвокат пепельно побледнел под влажно отсвечивающим потом, плеская в трясущейся рюмке коньяк.

Заседатель, искривленно вытянув шею, тянул себя за кадык. Женщины с растерянно застывшим озлоблением на красно-потных лицах замерли растрепанные.

В продольно чернеющей щели разинувшейся двери зеленовато горели кошачьим блеском два неугасимо пылающих ненавистью глаза.

Вся изогнувшись, дрожа, прилипая к нему грудью, судорожно отгибая голову, она старалась заглянуть в его глаза.

— Не... Нет... эт... то лишнее...— коснеющим языком проговорил инженер, взяв ее за руки, отворачивая голову, стараясь отодрать.

Она приблизила свое лицо к его лицу, и в черных пятнах провалившихся глаз мерцала не то злоба, не то развращенность, не то непотухающее отчаяние.

Что-то покачнулось, и темная мгла поплыла.

Но в следующую же секунду он оторвал обе руки и бросил женщину с отвращением и поднявшейся злобой.

Она, мягко, гибко покачнувшись, упала на ноги, как кошка, и на бледном лице была улыбка.

Черневшая дверная щель прихлопнулась.

Инженер поднялся, вышел, ни с кем не простившись, хлопнув дверью.

Все заговорили разом, наперебой, как будто лопнуло напряжение.

— Кара... Карочка!..

— Голубица...

— Да ты куда же?!

— Озолотим!..

— Фу, невидаль!.. Да я зараз...— И женщина с маслянно-черными глазами, с пьяно-красным лицом, с тупой злобой торопливо стала стаскивать с себя юбки и рубаху.

Кара не спеша вздернула сорочку, юбку, кофточку и вышла, не взглянув ни на кого, высоко подняв голову, как королева, и была улыбка на бледном лице.

Инженер шел, путаясь в бурьяне и колючках, натыкаясь на молчаливо спавшие землянки, не разбирая дороги. Он забыл фонарь в трактире и не хотел возвращаться.

Сзади в два ряда горели огни, делаясь меньше и отходя в темноту.

Но ведь ни в чем же не виноват? Нет. Грязный, жирный мешок... Одно брюхо чего стоит. Скоты!..

Да где же это он? Вот влево должен быть ров и вал, а тут какой-то плетень...

Выскочила и остервенело рвется у самых ног невидимая во тьме собака, захлебываясь от беспричинной злобы. Нечем отбиться. Очевидно, надо взять влево, чтоб все время огни трактира были за спиной. До сих пор не прислали динамо-машины, сколько ни писал, и станция не освещена.

Эта длинная глиста, хоть и пьян, но в нем какая-то звериная правда, темная, злая и неизбежная, которую до поры можно темно скрывать, таить в сокровенных тайниках, не показывая ей божьего света, но которая иногда подымается — грязная, страшная...

Он тряхнул головой и переменил мысли.

Вот они, слепые и темные землянки кругом, и в них тяжелым, давящим сном спят такие же слепые и темные люди, у которых ни прошлого, ни будущего, как у дикого степного зверья, которое бродит и сбегается на выброшенную кость, как сбежались эти сюда. И вот он, Николай Николаевич, который давно мечтал и думал о людском счастье, о счастливой человеческой жизни,— положим, мечтал и думал, когда был в институте, как-то по-иному,— но все равно, он пролагает широкую дорогу через мертвые степи, по которой потечет культура, свет, знание в эти убогие землянки, и в этом смысл, и в этом удовлетворение...

Однако был момент, когда что-то покачнулось перед глазами и поплыла жуткая мгла. Ну, так что ж! Ведь он же оторвал и отбросил прочь эту женщину...

Да и в этот момент, в это короткое мгновение пронизало темное ощущение недоступности женщины, не недоступность тела, а та недоступность, которая за телом, за ее лицом, голосом, за смехом, темная недоступность, которая делает женщину таинственной и безумно-влекущей, недоступность, которая сулит счастье самозабвения, которая дает страдания и ужас.

Недаром на одну долю секунды, на одну миллионную долю секунды все эти «рубища морали, истлевающие личины», вся эта пошлость вдруг приобрели смысл и значение чего-то захватывающего, как черный, крутящийся, не дающий передохнуть вихрь.

Вздор!.. Мало ли что может случиться... Тут влево, а тут вправо... Огни далеко позади... Ров, как бы голову не сломить...

Он на минутку приостановился, всматриваясь.

...Но отчего же у нее в глазах беспредельное отчаяние?

Не развращенность, не распущенность, а отчаяние?

Впереди неподвижно маячило; присмотрелся — темные фигуры дожидающихся людей. Осторожно вглядываясь, стал обходить.

Воровато и зловеще в темноте бежал кто-то наперерез. Инженер выстрелил вверх, осветив колеи, угол мазанки с косо повисшим ставнем и бросившихся бежать людей, перепрыгнул ров и, сдерживая себя, пошел к станции.

Когда вошел к себе, поразил уют, чистота, словно это в первый раз. Высокие освещенные комнаты, белеющие сквозным тюлем окна, безделушки, книги и навстречу она.

— Что долго, милый?

И она вся повита чистотой — чистый лоб, лицо, глаза.

Он целует милую руку, и складки на лбу разглаживаются, и на сердце светлеет.

— Да, знаешь, заблудился,— там я минуту всего побыл.

— Отчего мировой к нам не заехал? У нас бы ему удобней было.

— Ну, не совсем. Там они черт знает что затеяли,— пьянство и всякие безобразия до неприличия. Возмутительно! Катюша спит?

— Давно. Знаешь, милый, я приняла одно решение... Только, дружок, не спрашивай, потом узнаешь.

Они прошли в столовую, где сияющий от счастья самовар в клубах пара без умолку о чем-то лепетал.

Опять продолжалась было прерванная чистая, спокойная, *настоящая* жизнь. Елена Ивановна читала у самовара журнал, инженер думал о прокладке бетонных труб на сто пятнадцатой версте. Висячая лампа ровно наполняла комнату яркой белизной.

IV

В небольшой, чисто выбеленной, без всякой мебели, кроме стульев, комнате сидело трое, дожидаясь.

Борщ, с красным загорелым лицом, огненно-рыжей копной на голове, с бегло-выискивающим взглядом из-под насупившихся красных бровей, в нанковом, насквозь пропитанном бараньим жиром и пахнувшем кровью кафтане.

Старуха, худая, жилистая, из тех старух, что перестают колотиться и работать только с последним вздохом.

Женщина в платке. Она неподвижно сидела в сторонке; и из-за платка безучастно смотрело измученное молодое лицо в тонких бледных морщинах.

В соседней комнате торопливо, нервно, в десятый раз мыла слегка дрожавшие руки Елена Ивановна в белом переднике.

Стол был загроможден склянками, баночками.

Елена Ивановна подошла к двери, постояла в нерешительности, приоткрыла и робко пригласила:

— Пожалуйте.

Борщ поднялся всей своей рыжей громадой, точно занял всю комнату, и, уверенно и гремя сапогами, прошел к Елене Ивановне.

— Ну, что вы... на что жалуетесь?.. Где у вас болит?..— конфузясь и краснея, виновато проговорила она.

— Первое, что хряшки,— хрипло забасил Борщ,— опять же поясница, а также в спине колотье, а по ночам

голова, к тому же зубы и в ноги вступает, а когда за обед садимся аль вечерять, аппетит окончательно скорежит, в рот не пропхаешь.

Он замолчал, а Елена Ивановна густо покраснела.

Но Борщ, такой же рыжий, косматый, свирепо смотрел без малейшей усмешки.

Елена Ивановна, трясясь, стала спрашивать:

— Вы простудились? Не были ли вы под дождем когда-нибудь? Не продрогли ли?

— Опять же,— басил Борщ, не слушая,— в коленках смутьянит, а также шея беспокоится...

— Нет, уж вы подождите, вы мне по порядку. Что у вас прежде всего заболело? Давно? И не припомните, при каких это обстоятельствах было?

Борщ, что-то отыскивая, лазал глазами по потолку, подняв рыжие космы бровей. И вдруг заговорил, просительно изогнув брови, тонким басом:

— Барыня... милостивая... не откажите... главное, взяться нечем... семья... кабы один, слова бы не сказал... семья... хоть бы маленечко на ноги стать... передохнуть... передышку бы... не оставьте... век богу молить...

— Да что такое?.. Что такое?..

— Государыня, не велите семье пропадать, велите миловать...

— Но, послушайте, ведь я не доктор... Я только хотела помочь в легких случаях... А если что трудное, так нужно к доктору. Как только приедет на станцию, я с ним поговорю относительно вас, он очень внимательно отнесется к вам...

Борщ всей тушей грохнулся на колени.

— Государыня-барыня, не велите казнить, велите миловать...

— Да что вы! Что вы!.. Встаньте, ради бога... встаньте же, я вас прошу.

И она старалась поднять его, хватаясь за вонючий кафтан.

— Не подымусь, покеда, барыня, не смилостивитесь...

— Да скажите же, что вам нужно?

— Пропадает семья... только б на ноги стать... Сами знаете, с борщу да с каши какая прибыль... Хочь бы маленький куренек... чисто задохлись в землянке...

всего не хватает пяти красненьких... сруб купил, тесу на крышу не хватает. .

Елена Ивановна пунцово покраснела, как будто ей плюнули в лицо. Она торопливо порылась в кармане, достала портмоне, выбрала какие были бумажки и, скомкав, и все такая же красная, как пион, сунула ему.

— Вот... сколько могу... деньги у мужа...

Борщ взял деньги, поднялся с колен, аккуратно расправил, спрятал в карман, лицо стало обычно-будничное, хмуро-озабоченное, и заговорил спокойно густым басом:

— Покорно благодарим... истинно, спасение семьи... по гроб жисти, дай вам, господи, чего сами пожелаете...

Он низко поклонился и, загородив отворившуюся дверь, вылез из комнаты.

Старуха метнулась.

— Скольки?

— Нискольки.— И ушел.

Старуха остановилась перед Еленой Ивановной, подобострастно сложив руки на тощем животе, и стала низко и подряд кланяться, как послушница перед игуменьей.

— Что у вас? — упавшим голосом проговорила Елена Ивановна.

— Неможется, вот все неможется, барыня, золотая, бриллиянтовая... ох, мне, грешной... все косточки разломило...

«Ну, что она...— с тоской думала Елена Ивановна, глядя на ее сухую кланяющуюся спину.— Уж скорей бы говорила, сколько... Теперь Коля и Петя меня засмеют... И как это все глупо, нелепо...»

— Ноженьки не ходят, рученьки не владают...

— Да что у вас? Говорите толком.

«Нет, мы с ней чужие... И как у ней хищно сверкают глаза... А ведь, должно быть, действительно бедная... Какая исхудалая, изможденная...»

— Что у вас?

Старуха без всякого перехода стала всхлипывать, утирая гноящиеся глаза уголком платочка.

— Родимая моя, бриллиянтовая барыня, шестеро их, сирот-то, на моей шее, мать-то померла, а отец в лихоманке второй месяц трясется. Господи-и! Бедность-то, бедность заела...

Елена Ивановна, точно за ней гнались, выскочила в другую комнату, порылась в ящике, вернулась и сунула старухе бумажку. Та опять закланялась, точно послушница, утерла раза два глаза.

— Дай тебе, господи, красавица, и деткам твоим и поминовение родителям, царство небесное и упокой души ихней.

Ушла, а Елена Ивановна долго стояла, потирая лоб, глядя в окно, с пылающими щеками. Она рада была провалиться, как-нибудь так сделать, чтобы самая память стерлась о лечении, чтобы никто ее не знал, не приходил, не ждал. Но так или иначе, а надо было кончать — дожидалась еще женщина, — только бы скорей.

И, опять чувствуя, как они все чужды и без причины враждебны, приоткрыла дверь.

— Что у вас?

Женщина думала о своем, опустив глаза.

— Что у вас?

Женщина встала и, все так же равнодушно и все так же думая о своем, вошла, не подымая глаз. А когда подняла, на Елену Ивановну глянуло старчески-молодое в тонких бледных морщинках лицо такой непроходимо-измученной усталости, что Елена Ивановна глядела, не отрывая глаз. То враждебное и чуждое, что отделяло, вдруг исчезло.

— Что с вами, скажите?

Женщина помолчала, все такая же бледная и равнодушная. Потом сказала усталым голосом:

— Болит все тут, — и дотронулась до груди.

И, помолчав, так же равнодушно:

— Кашель замучил.

И как бы в доказательство, закашлялась долго, с трудными передышками, в грязный скомканный, зажатый в руке платок. Когда развернула, холод обдал Елену Ивановну: свежие красные пятна ярко пятнали платок.

— Да у вас кровь!

Та отерла губы, сделала платок комочком, спрятала и стояла по-прежнему, чему-то покорная и равнодушная.

— Но как же можно!.. Послушайте, давно это у вас?.. Боже мой?.. Вы, верно, плохо едите, чрезмерно работаете?.. Кто у вас муж?

— Кабы мне мази какой ни на есть, растереть на ночь грудь, все легше, а то першит дюже...

— Прежде всего вам нужен полный покой, пока не остановится кровь... Давно она у вас идет?

— Когда идет, когда нет... Месяца с два... Мази бы мне...

— Да вы расскажите подробнее, когда началось, с чего?.. Где работаете?.. Кто ваш муж?.. Как ваша фамилия?..

— Липатова. — И опять съежилась и замолчала, точно улитка снова вобралась в скорлупу.

— Но отчего же вы не хотите сказать?

— Мне бы мази...

— Да ведь не в мази дело, поймите.

Но так ничего и не могла добиться.

Целый день был разбит и мучительно тянулся для Елены Ивановны; бледно-молодое лицо в морщинках мешалось с обыденным течением домашней жизни, с поклонами, которые, как послушница перед игуменьей, клала старуха; представлялось, как Борщ, рыжий и высокий, аккуратно складывал бумажки; затем маячила дверь, глядевшая в черную ночь, и полоса света, выхватившая из темноты кусок клумбы, нешевелящуюся листву тополя.

На другой день в доме инженера стоял невероятный содом. Народ набился, как сельди в бочку, не только в приемной, но густо, давя друг друга, толклись в коридоре, на крыльце, по лестнице, с потными красными лицами, с не отрывающимися от запертой двери глазами.

Перепрыгивали через запертую на ключ калитку, лезли через заборы. Позванные со станции железнодорожные сторожа, носильщики не могли справиться с напиравшей толпой.

— Слышите, вам же русским языком говорят, приему не будет, барыня велела сказать: лечить не будет. Чтоб не дожидались, ничего не будет... Расходитесь!..

Но толпа, напирая, смывала их, и гул голосов покрывал все:

— Нам надо до барыни...

— Почему не допущаете?!

— Почему такое, Борщ тридцать две монеты принес...

— И бабка...

— Чем мы хуже?!

— Так же жрать нечего...

— Ребята, чего на них глядеть, бей их, дьяволов!..

— Лупи!.. Нажимай!..

В густом, полном человеческого дыхания, пота и тяжелого запаха воздухе росло напряжение, готовое каждую минуту разразиться катастрофой.

Елена Ивановна в дальней комнате в отчаянии ходила из угла в угол, ломая руки, прислушиваясь к все возрастающему гулу во дворе. Да ведь разве она этого хотела? И почему так нелепо и глупо выходит?

Только когда мобилизовали почти всех железнодорожников со станции, удалось очистить квартиру и двор.

За обедом Елена Ивановна разливала с бледным лицом и крепко сжатыми губами. Началось как раз то, чего она так боялась. Брат и муж, весело подавая ей тарелки, говорили:

— Ну, доктор, положи-ка мне индейки!

— По-медицински изжарена — превкусная!

— Леля, ты в какой же области специализировалась? По внутренним ли болезням, или глазные, носоглоточная полость, или, может быть, ты хирург? А то веселенькие болезни бывают, их почему-то деликатно называют накожными.

— Ей-богу, Леля, ты молодец!.. А что диплома нет, так наплевать в высокой степени. Вон в Америке железные дороги строят,— думаете, инженеры строят? Черта с два. Просто ухитрится человек сорганизовать акционерное общество, обложится книгами и валяет, строит ветку. Как честный человек!.. А сам в инженерном деле понимает, как сазан в библии...

— Только я все время, с минуты на минуту, ждал, что благодарные пациенты разнесут наш дом. Рожи разгорелись, глаза алчные... Я думаю, они это все от великой любви и благодарности к своему хорошенькому доктору...

Выроненная ложка резко зазвенела серебром о тарелку.

— Перестаньте же!..

И разом в добродушной атмосфере обеденного часа зазвенели раздражение, боль и сдерживаемые слезы.

— Над чем издеваетесь? Что смешного?.. Почему строить мосты или растолковывать рабочим их положение — это можно делать, это серьезно, это не смешно. А я что хотела сделать, это смешно, над этим надо издеваться?.. Ах, оставьте, дайте же мне сказать!.. Ну, что смешного?! Темные, невежественные люди без всякой медицинской помощи валяются, как животные... Да ведь я понимаю и вовсе не думала лечить... Не так же я глупа. Ведь они же ничего, ничего не знают, не понимают... Сам же ты, Коля, рассказывал, землекоп занозил ногу. Только б вынуть занозу, промыть, завязать, был бы здоров человек, а он на пятый день умер, набил грязи, заразился. Поймите же, им нужен человек, который — куда уж там лечить!..— просто бы посоветовал, что в каждом данном случае нужно сделать: обратиться ли к врачу, или есть простые, обыкновенные средства, всем известные, вроде того, что перевязать чисто ногу. Что тут смешного?.. Над чем издеваться!.. Ведь они — как дети беспомощные...

— Леля, голубчик, что ты!..

— Ленуся, да ты не так поняла, постой!..

И оба наперерыв стали поправлять.

— Ты не поняла. Вовсе не твоя попытка смешна, а я вспоминаю алчные рожи и разгоревшиеся глаза этого сброда...

— Леля,— брат серьезно взъерошил волосы,— всякая человеческая деятельность двояка... с двух точек зрения оценивается...— И, как бы ставя ее на равную ногу, сердито заговорил: — Или поступки мои социальны, или они исключительно для личного благоудовлетворения. Всякая благотворительность, филантропия — исключительно для собственного благоутробия, вроде того, как хорошо наворовавшиеся купцы ходят в церковь, бьют поклоны, ставят свечи...

Но она не дала ему докончить и с чисто женской непоследовательностью набросилась:

— Да ты-то... ты сам... ты идешь к рабочим, потому что противно играть в карты, пить, потому что *тебе* это нужно, для *твоего* благоудовлетворения... Оставь пожалуйста...

Брат рассмеялся, как бы говоря: ты — ребенок, прелестный, милый, но ребенок.

— Хорошо благоудовлетворение, как очутишься в тюрьме, да параши станешь нюхать, да выносить...

Но она опять с той же внешней непоследовательностью, но с внутренней несомненной логичностью продолжала, сдерживая нервно вздрагивающие губы и не давая ему говорить:

— Разве я не понимаю!.. Я бы сама пошла... с радостью бы отдалась этой работе... Но ведь... но ведь... у меня Ка... тя... Ка...тюша...— Слезы брызнули.— Я... не мо...гу, у ме...ня ребенок... Я по...ни...маю, для вас я одно: скучающая ба...ры ..ня...

Тогда они оба бросились к ней, чувствуя свою вину только в том, что она — женщина, что она слаба, что не про нее писана логика.

— Ну, Леля, ну, что ты... послушай, так же нельзя!..

— Леля, нельзя так нервничать... ты, наконец, не так нас поняла...

Она ушла и заперлась у себя.

Инженер подошел к окну, побарабанил, задумчиво глядя в степь.

— В этой дыре действительно можно с ума сойти.

И, обернувшись вдруг к шурину, неожиданно сердито проговорил:

— Я же тебе говорил и еще раз прошу и категорически настаиваю: не ходи в депо, не трогай рабочих.

— Ты бы тоже истерику, что ли, закатил.

Инженер сдержался и медленно проговорил:

— Пословица есть: где едят, там не пакостят.

Елена Ивановна хотела поставить на своем из гордости, из самолюбия, но дни шли один за другим, и все было, как прежде: вдали из-за зелени садика коричнево глядели вросшие в землю землянки, доносились со станции звонки, свистки и гул приходящих и уходящих поездов, и неподвижно и неменяемо, как разинутый рот, глядела неоглядная степь.

Муж и брат особенно ласково, внимательно, предупредительно к ней относились, ни одним словом не упоминая о печальном происшествии, но именно в этом-то и таилась оскорбительность, которую она не умела назвать.

Солнце, раскаленно державшее всю степь, точно давая передышку, зашло за водокачку, и от нее через весь инженеров садик легла длинная прохладная тень, а степь по-прежнему тонула в огне пылающего дня.

Воробьи обрадованно и неумолчно гомозились кучами на дорожках или с сорвавшимся шумом переносились с тополя на тополь. Пестрые удоды перепархивали, празднуя склоняющийся к вечеру день однотонным: уд... ддод... ддод... ддод...

Как большой воробей, неугомонно возилась между клумбами четырехлетняя Катюша.

— Мамочка, отчего червяки не летают?.. А воробьи спят ночью?.. Закрывают глазки?.. А над облаками кто?.. Боженька?..

Голосок звенел, как серебряный; Елена Ивановна в белом платье ходила за ней с книгою и думала о своем. Что-то, как тень от водокачки, тянулось от нее к тем низко вросшим в землю землянкам. Что-то не докончилось или что-то надо было начать.

...Молодое в тонких бледных морщинках лицо, усталые, покорные чему-то глаза...

— Катюша, я тебе няню позову.

— Хорошо, мамочка. Мамочка, отчего воробьи не дожидаются? Только к ним, они все — фрррр!.. Смотри, я тоже летаю...

Елена Ивановна похлопала в ладоши? Из дому вышла няня в сарафане с перетянутыми снизу грудями, дебелая и пышная, из той бабьей породы, которая специально разводится для нянь.

— Акулина, я ухожу ненадолго, вы же не спускайте с нее глаз.

— Да уж будьте покойны.

— Как солнце выйдет опять, отведите в тень, к дому.

— Слушаю.

Елена Ивановна положила книгу на скамью и пошла из садика.

— Мамочка, и я с тобою.

— Дружок мой, побудь тут: тут воробьи, удоды; поиграй с ними, а там — злые собаки... Я сейчас вернусь.

«ГОРОД В СТЕПИ»



«ГОРОД В СТЕПИ»



Когда вышла из садика, вскинув на плечо белый, отливавший шелком кружевной зонтик, точно особое царство встретила.

Не то, чтобы раньше она не видела землянок, бедности, серой жизни, но что-то тут было торопливое, спешное, как будто все, не глядя друг на друга, занятые только собой, торопливо делали свою судьбу.

Покосившиеся двери землянок были открыты, и оттуда несся запах жилья, а на вольном воздухе под горячим солнцем стоял стук, говор, плач детей. Бондари набивали обручи, слышался визг вылетавших из-под ходившего рубанка стружек, доносился звон наковальни, стучали топоры, тесали новые срубы.

«Как много новых построек»,— подумала Елена Ивановна и спросила:

— Где тут живет Липатова?

— Чаво тебе?

Бабы торопливо смотрели из-под руки не очень учтиво,— с барыни ведь нечего взять! — и опять принимались за свое: за стирку, за мытье посуды, за шитье. Все делалось тут же, под открытым небом.

— Липатиха? Никак ее дома нет, увезли. На тот край пойдешь, вон за энтот столб сверни, будет на косогоре одна землянка, она самая и есть.

Сапожник Игнат, должно быть, деньгами занимается — видна в раскрытые двери только согнутая спина и что-то на огне шипит и плавится.

Елена Ивановна идет вся белая, под белым зонтиком и такая чужая в этой спешной, торопливой жизни, так непохожей на ее жизнь, на ее обстановку, на ее отношения.

Среди спадающего зноя, среди не коротких уже теней, говора, отдельных фраз, восклицаний, стука топора и визга пилы ухо поразил полумальчишеский, полузвериный крик, которым кто-то захлебывался.

Елена Ивановна, торопливо и не отдавая отчета, пошла в том направлении. Высокий, дюжий мужик бил сложенными вожжами. Зажатый между коленями, извивался мальчишка с взлохмаченной мокрой головой и отчаянно кричал, как резаный. Рубашка и штаны пятнились проступавшей кровью.

Елена Ивановна бросилась.

— Что вы делаете!.. Оставьте... бросьте!..

Мужик поднял голову, и глянула огненно-рыжая копна волос, борода, усы Борща.

— Не замай, барыня,— сурово проговорил он, но все-таки перестал бить.

Елена Ивановна с удивлением увидела, как поднявшийся мальчишка как ни в чем не бывало затянул поясок у штанов, и на размазанном от слез лице лукаво и хитро бегали воровские глаза.

— Это же бесчеловечно... Разве можно так!..

Борщ аккуратно сложил вожжи и, молча повернувшись к ней спиной, пошел к землянке, да вдруг остановился:

— Ты, барыня, не в свое не суйся... Мое чадо, что хочу, то и делаю...

И, не давая ей возражать, заговорил хмуро, сердито:

— Со всячинкой живем... не святые, все на душе есть, а дети пущай живут по-божьему... пущай хочь у них будет жисть как есть правильная...

И ушел в землянку.

— У Филомеихи, слышь, ниток украл мальчонка-то. На змея, слышь. Думали, забьет...— проговорила баба, стегавшая на земле ватное одеяло из ситцевых лоскутков.

Елена Ивановна тихонько пошла, чувствуя, что нечего ей тут делать. Хотелось вернуться.

«Ведь он тридцать два рубля получил...— где-то в темном уголке души отзывалось,— а он такой... грубый...» Но она стыдливо подавила эту мысль.

Направо за столбом приземисто глядела маленькая землянка. Женщина, с бледными морщинами на молодом лице, чистила картошку.

— Здравствуйте!

— Доброго здоровья,— и так же безучастно продолжала чистить картошку.

— Как ваше здоровье теперь?

— Что ж...— так же нехотя проговорила та.

— Кровь горлом показывалась?

— Обнаковенно.

— Так я вам принесу лекарство.

Та оживилась и благодарно подняла глаза.

— Дай вам, господи... Мне кабы мази, грудь трошки растереть, дерет дюже.

Елена Ивановна стояла с белым зонтиком на плече. Женщина чистила картошку. Помолчали.

— Вы давно замужем?

— Пятый год.

— Муж ваш — хороший человек?

— Мужик добрый. С утра до вечера работает.

Опять помолчали. Подошла соседка.

— Марьюшка, водички у тебя позычить с полведра.

— Что ж, черпни.

— Ну, спасибо. К вечеру принесу, отдам. Коромысло сломалось. А муж у нее лют, ох, лютой,— проговорила она, оборачиваясь к Елене Ивановне,— смертным боем убивает кажный божий день, кажную ночь.

— Что вы!.. Да неужели?!

— И-и, болезная моя, так бьет, чисто убивает...

— Да за что же это?

— Так бьет, все хряшки ей отбил... Чай, на погост невдолге сволокем.

— Да за что же он бьет ее?

— Кровь из нее, как из борова, каждый день хлещет.

И, наклонившись к Елене Ивановне, сообщила конфиденциальным полушепотом:

— Одно взял в голову — беспременно забить ее, Марью-то.

— В чем же дело-то, ссорятся, что ль?

— И-и, тихоня Марья-то, тише воды, ниже травы, а вот втемяшил в голову одно: забью, говорит,— говорила торопливо соседка, обрадованная рассказать новому человеку то, что всем давно уже известно.

Марья равнодушно откладывала белые картошки.

— Но ведь это ужасно,— тихо проговорила Елена Ивановна, чувствуя, что что-то не то, что все идет в каком-то ином — не в том порядке, как надо.

— У него свои планты,— торопилась соседка,— вишь, заработал двести целковых, так надоела ему; вот и бьет, а сам по торговой части пустить деньги хочет.

— Нет, абселюцию будет строить,— поправила Марья.

— Что же это за зверь!

— Никакой зверь... Работает с утра до ночи, как вол.— И, помолчав, добавила:

— Надоела, и детей нету.

— Двадцать пудов подымает,— ввернула соседка,— вам роялю как привезли, он на себе один нес до самой фатеры вашей, ей-богу.— И вытерев губы, подперла локоть рукой и покачала головой.

— Так вам надо уйти от него.

— Куда жа уйдешь?

— Забье-оть... все одно забьеть,— уверенно тянула соседка,— забьеть, неподходящая эта ему.

Елена Ивановна стояла, сдерживая трепетание губ. Тут иные, свои, особенные законы, как стена.

И, точно вдруг найдя что-то, заговорила:

— Я вам принесу лекарства, я принесу вам.

Та снова подняла благодарные глаза:

— Спасибо. Мне бы мази, грудь только растереть.

...Каждый день Елена Ивановна ломала голову, что сделать, как быть. Но была ровная, спокойная, все та же неподдающаяся стена. Она говорила с мужем Марьи. Думала встретить зверя, а увидела добродушную, с голубыми глазами, рабочую фигуру, с великолепной, как у борца, мускулатурой и озабоченное рабочей заботой лицо.

— Слушайте, я лечу вашу жену, только дело не в лечении. За что вы ее бьете?.. Ведь это же зверство. За что?

Он стоял перед ней такой же огромный, добродушный, с голубыми глазами.

— Кто бьет?.. Так, сунешь иной раз, так не без того же.

И, сколько она ни горячилась, как ни волновалась, все та же стена непоколебимого добродушия и неосвященного, но непреложного закона.

Елена Ивановна решила вырвать несчастную женщину.

— Я вас возьму к себе в услужение,— предложила она ей, зайдя к ней вечером, чтоб переговорить вместе и с мужем.— Сначала просто поживете, пока поправитесь, а потом, если захотите, будете горничной. Жалование я вам хорошее положу.

Липатов, который только что воротился с работы, не успел переодеться и почтительно стоял перед барыней весь в муке, которую таскал целый день из вагонов, потемнел.

— От живого мужа да по людям ходить. Это не модель!

— А это лучше — бить по-звериному?

— Не чужие: муж и жена. А уйдет — кишки выпущу.

Все было по-прежнему. Елена Ивановна жила своей жизнью — муж, ребенок, музыка, чтение, а деловито дымившийся каждое утро поселок — своей, особенной, и ощущение этого постоянно жило в душе Елены Ивановны.

V

Было два Пети. Один Петя видел все просто и ясно — так, как оно было на самом деле, или, лучше, как оно казалось всем.

Видел скучно, молчаливо начинающуюся за крайними мазанками степь; веет она грустью и однообразием, вся бурая, сожженная солнцем, печально подернутая серой, послушной ветру пылью, и уходят, пропадая, телеграфные столбы, молчаливо маня куда-то, где прекрасно, где жизнь.

Видел монотонные, так похожие друга на друга, как одинаковые копеечные монеты, дни, которые проходят над мазанками, однообразные, как эта степь, простые и наивные в своей жестокости.

Видел зятя, чистенького инженерика, благонамеренно-честного и порядочного, с головой потонувшего в службу. Видел сестру, которая не знала, не умела приложить рук, головы. И все это было скучно, давно всем известно, и, казалось, все на это глядели, зевая и крестя рот.

У этого Пети были насмешливые глаза. Он подтрунивал над всеми, словно бес в нем сидел, и ни с того, ни с сего вдруг заводил козловатым, не в тон, голосом:

То-ре-а-дор!.. То-ре-а-дор!..

Другой Петя часто одиноко уходил в степь, не оглядываясь. Он идет, а над степью — неумолимо палящее солнце и стоит тонкий неумирающий звон неподвижно-слепящего зноя.

Все призрачно трепещет, и, отделяясь от очертаний, живут своей томящей истомой, растворяясь в зное, также трепещущие краски.

Тонкий звон слепящего зноя, не то звон неугомонных кузнечиков в сизом шершавом полынке, это — их нестерпимо звенящие голоса. Их миллионы миллионов. Степь полна своей независимой жизни, до которой никому нет дела и которой ни до кого нет дела.

Коротки полуденные тени от одиноких столбов телеграфа, звучит в вышине проволока и никуда не манит,— все тут.

Петя идет со сдвинутой на затылок фуражкой, с пылающим лицом. Этот зной не в тягость, только мысли в нем как расплавленные. И где-нибудь в овражке, где крохотный кусочек тени, Петя часами лежит, обдумывая.

Чудесна степь и вечерами, когда по ней длинные тени, и смутно и тихо. Чудится: вековое лежит в ее шепчущем молчании. Петя отдается сумраку, отдается невидимому простору, с которым сливаются его собственные, особенные мысли.

Да и где бы ни был второй Петя, все оборачивается к нему другой, невидимой, как будто праздничной стороной.

Зять — чистенький инженерик, да. Но и он в великой реторте трудовой борьбы и жизни вносит каплю строительства, ту, из-за которой бьется Петя.

Поселок — скучен, сер и убог мыслью, да. Но и там бьются человеческие сердца, и, кто знает, быть может, там-то зреют будущие борцы, сильные и страстные.

В Захаркином трактире дым, шум, гам, пьяные голоса, пьяные лица, пьяная брань. Петя за грязным столом потягивает прокислое пиво,— возле деповский слесарь с пьяно-косматой головой покачивается. Неприятна эта кислая бурда, но Петя смотрит мимо нее, она неизбежно случайный налет на том важном, существенном, истинном, что для него жизнь.

— Петра,— говорит слесарь икая, взъерошенный, и хлопает его по коленке,— ежели с праведностью, для такого человека не пожалею, кишки свои выверну; нн-о — если с скипидаром ко мне в душу, ккрокодил! ззверь головастый! разорву, больше ничего...

Петя слушает улыбаясь,— не любит он пьяных, скучный народ,— и смотрит мимо туповатого, мокрого, с раскосо-осовелыми глазами лица, и видит другое лицо этого деповца — с орлиными глазами, смелое и грозное,

с выражением сосредоточенной, долго копленной силы, которая ждет только момента, туго свернутая, как спираль, и вся укладывающаяся в боевой клич:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!..»

— Все, брат, прощу, а скипидар души не прорщу...

Шумит пьяным шумом трактир, и в тяжелом, густом дыму ходит одна только женщина — в беленькой кофточке, с бледным лицом, с черно-провалившимися глазами и несходящей улыбкой.

Петя знает, что она — дочь этого пьяного, грязного царства, но смотрит мимо и видит другое лицо, то настоящее, полное тайны лицо женщины.

Оно притягательно, это настоящее лицо женщины, и Петя говорит:

— Кара Захарьевна...

Кара оборачивается. Она относится к нему ласково и просто, но все так же отгораживаясь улыбкой, как и ото всех.

— Что редко к нам заходите? И то сказать, веселости мало,— грязь, накурено, скверными словами ругаются,— мужлан народ.

— Я вам все хочу занесть книжку, интересная есть, забываю все.

— И-и, Петр Иванович, где уж нам. Да я с удовольствием и даже с интересом, да ведь пока эту орду сдыхаешь, ног под собой не чуешь, как и до кровати доберешься — не помнишь.

И Петя думает, глядя на ее бледное лицо:

«Сказать этой женщине, открыть ей великую тайну кипящей кругом борьбы?»

Другой Петя усмехается:

«Это дочери-то трактирщика?»

«Но разве не бывало, что люди, коснувшись великого, неведомого для них дела, вдруг открывали прозревшие глаза».

«Это — которая с отцом-то живет?»

Но сколько б второй Петя своими сухими, насмешливыми и ядовитыми репликами ни заставлял умолкать первого Петю, этот, подождав немного, опять, как встрепанный, прислушивался к другой стороне жизни, звенящей только для него.

Было по-праздничному над угасающей степью.

Задумчиво протянулись далеко синеющие тени.

В отлогой балке с размыто-краснеющими боками синели рубахи, вперемежку картузы и пиджаки. Расположились чего-то ожидающими группами. Кто на земле, кто стоя щелкает и равнодушно плюет перед собой семена, и все гуще и гуще белеет шелухой сивый полынок.

Особенная значительность тянется от этих собравшихся в безвестной степи людей.

Догорает заревом вдали поселок.

В неумирающей тишине Пете чудится незримый, неуловимый звон.

Огромный без имени праздник сливается с дальними, молча тухнущими заревыми красками, по которым недвижно протянулась, синея, тучка, длинно и узко, как указующий перст.

В душе Пети трепещет беспричинно-радостное чувство,— чувство неоглядного простора, доброго, красного от усталости солнца, пополам перерезанного краем дальнего увала, чудесных людей, собравшихся тайно в пустой степи.

Он нахмурился. Не это нужно. Нужны обжигающие слова, нужны призывы, грозные, сердитые или волнующие.

И он сказал:

— Товарищи!..

Все подымаются не то медлительно-лениво, не то торжественно-празднично. Сгрудились. Те, что щелкали подсолнухи, перестали плевать шелуху и, вытянув шеи, слушают.

— Товарищи!..

Голос у него молодой, звучный. И оттого, что молодой и звучный, убедителен не столько формальным значением слов, сколько неуловимой непосредственной силой. Что-то привлекательное в этом безусом, немножко женоподобном широком лице, в этих непокорных, золотившихся, как у сестры, волосах. Точно туго, как росток из земли, разворачивается жизнь, и все по-своему для нее: и засыпающая степь, и глинистые бока балки, и слушающие последне-озаренные лица. Словно не заходящее солнце напоследок освещает эту степь, эти лица, эту даль, а изнутри молодая нетронутость, как наливающаяся упругая почка, не успевшая еще налиться и лопнуть.

Стоят и слушают, вытянувши шеи.

— Товарищи, одно нужно помнить, с одним нужно ложиться спать и просыпаться, помнить, что у вас — один враг, неумолимый, непримиримый, ничего не забывающий, не знающий пощады враг...

С разных концов собрался на народившуюся в степи станцию народ. Кто с дальних заводов, фабрик, кто с других железных дорог.

В городах, откуда пришли, все это слышали. Но когда попали сюда, в этот заброшенный, потерянный среди молчаливых рыжих выжженных степей уголок, где, как из земли, вырос глиняный поселок, где жили в вагонах, землянках и теплушках,— точно все стерлось; точно все, накопленное в городах, где мостовые, где церкви и тюрьмы, где день и ночь движение людей и экипажей,— точно там оставили все накопленное в мозгу и сердце и пришли сюда, всё потерявшие, голые,— и пусто на душе. После работы, когда замирал гул станков и звон молотов, шли к Захарке в трактир и в непотребный дом.

А теперь снова этот молодой, звучный голос говорит о празднике мысли, о счастье борьбы, сдергивая серую, тусклую пелену с усталого степного простора, с унылой обыденщины, которая изо дня в день бредет в беспросветных буднях.

И густо отдается:

— Верно!..

— Правильно!..

Петя говорит то, что много раз говорил, но за этими привычными, истертыми от постоянного употребления словами бьется необъяснимо-радостное чувство неумирающей новизны, нетерпеливого ожидания. Вот-вот станет назад подыматься усталое, красным узеньким отрезком глядящее из-за края солнце, подымется и озарит эту неоглядно уходящую степную даль, эти внимательно и вдохновенно слушающие лица, блестяще устремленные на него глаза. И люди поймут, что он им несет, вдруг откроются глаза и увидят,— ведь так просто и ясно!

Поймут, и огромная всесокрушающая волна, волна людского негодования, пройдет по стране, по мастерским, заводам, фабрикам, заглушая стоны, вздохи, стирая с бледных, угрюмых, покрытых копотью и потом

лиц страдания и измученность,— пройдет всюду, где замученный люд.

Отсюда, из этой глухой степи, из этого неведомого поселка вздуется и с глухим рокотом пройдет девятый вал. А имя его засветится для истории отблеском славы народного вождя. И разве прошлое не давало тому примеров?

А второй Петя набирает воздух, чтобы слышно было, и умело и привычно развертывает перед ними общественную структуру, намечает пути и вехи освобождения трудящейся массы, подхватываемый жадным вниманием этих, среди синих рубах, промасленных пиджаков, под черными картузами проступающих желтыми пятнами лиц.

Они теперь, эти люди — близкие ему и родные. И так легко, радостно отдать за них свою молодую свободу. Переполненный близостью этой, Петя хочет взглянуть в глаза, в лицо не толпе, внимательно слушающей, а отдельному живому человеку, у которого — свое выражение, свое отдельное внимание, свои особенные чувства.

И, продолжая говорить, он ищет и останавливается глазами вправо от себя.

Парень, с голым лицом, с волосами в скобку, расставил лапти, глядя в землю, сосредоточенно ковыряет в носу, вытаскивает палец, внимательно рассматривает, вытирает о рубаху и опять — в нос, весь поглощенный.

Петя на секунду роняет и путает слова. «Из артели... землекоп...» Он переводит глаза на деповского в синей рубахе. Должно быть, слесарь. Стоит, нахмурив брови, в позе внимательно слушающего человека, и вдруг начинает с усилием подымать над глазами брови и веки. Они понемногу опускаются, глаза соловеют, он опять тянет с усилием на грязно-бледном лице, да вдруг качнется испуганно и широко откроет глаза, озираясь и встряхиваясь, заговорит вместе с другими:

— Правильно!.. Так... Верно!..

Опять на секунду теряются и путаются у Пети слова.

«Наморился за день... Что ж тут удивительного...» — и опять переводит глаза на толпу, на ее громадно-желтеющее вниманием лицо. Глаза по-прежнему внимательные, не упускающие ни одного слова, ни одного

движения, тянутся к нему, радостно взмывая, и это напряженное внимание снова диктует ему:

— Товарищи, понимаете, даже самая маленькая попытка вашей борьбы не пройдет даром. Это один из кирпичиков в здании освобождения. Только бейтесь во имя общих принципов и из-за мелких нужд и ближайших целей не забывайте их, не заслоняйте их.

Он снял шапку и отер лоб. Побежал одобрительный гул, говор, сморкание и шорох.

Красная, как уголек, полоска солнца над засыпающей степью погасла. Степь неуловимо утонула в синеве, как будто не было ни отлогих изволоков, ни оврагов, ни далеких курганов, и блеснула первая звезда, а кто-то сказал:

— Рябой!

— Рябой!.. Рябой!.. Рябой!..— подхватили голоса.

Чувствовалось, что толпа заколыхалась, кто-то пробирался, стоял смех и шутки. Потом перед толпой на бугорке затемнелась небольшая коренастая фигура, и немного хриповатый козловатый голос стал разноситься. Всюду слышалось:

— Ээ... это самое... поп у нас был на заводе... это самое...

Рябой был косноязычен и с трудом вытаскивал из себя корявые слова, но что-то дразнящее пряталось в его козловатом голосе, и толпа, густо темнея, сдвигалась кругом.

— ...это самое... ежели заводская баба да родит в декабре, так ругался, как оглашенный, крестить, бывало, не хочет... это самое... на козле не подъедешь.

Он замолчал, и над толпой напряженно-выжидательное молчание. И Рябой проговорил:

— Стало быть, в великом посту баловались, не блюли...

— Хха-ха-ха... хо-хо-хо...

— ...стало быть, попадьи под рождество не рожают... Хо-хо-хо!..

— Они-то?! Бесперечь, как суслики...

Ткалась невидимая ткань между этим маленьким, невзрачным, с весело-хитрыми глазами и оживленной, не пропускавшей ни одного слова толпой.

Потом Рябой рассказывал, как на заводе выкатывали директора в тачке.

— ...Толстой, это самое... пузо вылезло из тачки, как опара из квашни... это самое... глаза круглые, держится за края и об одном только просит: «Братцы, легче, разломится она, окаянная...» Сдохли было со смеху... Кто, это самое... и держал зло на него, плюнул... выволокли, это самое... и в лужу, и черт с ним...

Потом стал говорить Волков, откидывая привычным взмахом волнистые волосы со лба. Почему-то рядом с его высокой фигурой и красивым лицом выступало перед Петей в дыму и говоре трактира бледное, с бледной улыбкой лицо и мерцающие из темной глубины глаза.

Волков говорил красиво, то же самое, что Петя, но, точно отмежевываясь, постоянно вставлял:

— Мы, рабочие, сами о себе должны позаботиться, помощи нам никто не даст,— всяк ведь за себя, а бог за всех. Только тогда и выбьемся, когда сами за ум возьмемся.

Петя чувствовал, что тут есть доля и по его адресу, и с некоторым незлобивым чувством удовлетворения видел, что Волков и языком, и жестами, и манерой старался походить на него, Петю.

Из-за горизонта, который, казалось, в двух шагах обрезывал потемневшую землю, выбирались все новые и новые звезды и, выбравшись, располагались над головами.

В темноте стояло:

— Ну, айда, ребята!..

— Да не табунитесь.

— Эй, Прошка, дай махорки свернуть.

— Ребята, станцию обходи, кабы жандар не увидал.

— А то не узнает? Узна-ают.

— Небось среди нас которые найдутся, зараз к нему на пузе поползут, доложут.

— Пришить их!

— На морде написано?..

Петя идет с Рябым и Волковым, перекидываются отдельными фразами, и ночь идет с ними — молчанием, невидимым степным простором и бесчисленно раскинувшимися над головами звездами. И вместе идет опять переполнившее Петю чувство торжественности незримого праздника.

— Нужно в субботу одних деповских согнать,— говорит Волков.

— Да и то не всех... это самое... выбрать надо...

Они сухо ведут деловой разговор.

Как на человеческое лицо приходит печаль, раздумье, смех и раздражение, нежность и отчаяние, так лицо степи меняет свое выражение. Точно стиснув скулы, опустив веки, она подернулась равнодушно-безумным выражением гнева, ни на кого не направленного.

Бурая, выжженная, она помутнела, потеряв границы, и, казалось, неслась в облаках безумно крутившейся пыли. В серой горячей мути потонуло солнце, пропало уходящее полотно, телеграфные столбы, не видно станции, поселка.

Молчаливая, безгласная степь, на которую люди не обращали внимания, позабыли, загроможденные в своих домишках и мазанках грудой повседневных дел, забот, горя, ссор, борьбы; позабытая, она как бы грозно поднялась.

— Иду на вы!..

Нечеловечески гигантские крутящиеся столбы пыли идут, доставая серыми головами до неба, и на зубах у людей хрустит.

— Теперича надолго зарядил...

В огромные окна инженерова дома смотрит все та же мертво колеблющаяся, все заслоняющая непроглядная сухая муть.

Елена Ивановна говорит:

— Боже мой, ведь это — сама тоска!

Входит помощник, как всегда безукоризненно одетый, с теми же холодно-открытыми глазами, которыми он медленно раздевает каждую женщину, так корректно, вежливо и безукоризненно, что ничего не скажешь. Елена Ивановна подымается, чтобы уйти.

— Доброе утро. Николай Николаевич дома?

Он держит фуражку в обтянутой перчаткой руке и как бы учтиво говорит: «Знаю, не выносишь меня, и все-таки любуюсь тобой, и ни в малейшей тени некорректности меня не упрекнуть».

— Коля, к тебе Феликс Брониславович.— И слышен удаляющийся шелест ее платья в другой комнате.

Вышел Полынов.

— Здравствуйте, Феликс Брониславович. Что хорошего?

Тот, глядя холодными глазами и как бы мстя за что-то, сказал, особенно отчетливо выговаривая слова:

— Рабочие волнуются.

«Это для тебя подходящий случай попытаться столкнуть меня и занять мое место». И то сосредоточенное спокойствие, которое приходило всегда к Полынову в минуту опасности, легло на лице его.

— Что такое?

— В депо бросили работу. Стрелочники, составители, смазчики — тоже волнуются. Бригады оставили рабочие поезда.

Постояло молчание.

— Хорошо,— проговорил Полынов, и так спокойно, как будто сказал: «Знаю, все знаю,— знаю, что нужно делать, но не считаю нужным распространяться на этот счет».— С динамо-машиной покончили?

— Сегодня можно будет пустить.

— Пожалуйста, чтобы сегодня же, а я приду туда.

Помощник ушел.

Полынов покончил с бумагами, аккуратно запер их, прошел в столовую и поцеловал руку жены.

— Ну, я иду.

Та печально смотрела в окна.

— Какая тоска!..

Полынов вышел. Все было мутно, точно стерлись очертания и пропали краски. Станционные здания, постройки, возле которых он проходил, чудилось, смутно маячили — где-то далеко в зыбкой завесе мчащейся пыли.

И в этой тонкой, все заволакивающей мути поражало безлюдье. Смутно пустела платформа, молча темнели кое-где проступавшие рельсы; молча, не белея дымком, стояли, смутно обрисовываясь у разинутых ворот депо, холодные паровозы.

Это отсутствие перебегающих от стрелки к стрелке темных фигур, эти не дымившие паровозы и не перекликающиеся уныло и печально в мутно несущихся пыльных облаках рожки веяли затаенной угрозой.

Полынов шел смело и спокойно, чувствуя где-то в глубине у себя такой запас неопровержимой убедительности, который разом восстановит нарушенный порядок.

Шел мимо бесконечно вытянувшегося по запасному пути красного ряда товарных вагонов, временного жилья рабочих.

По шпалам между колесами ползали голые, черные от загара ребятишки; крутился песок с тоненьким визгом; у печурок неугомонно возились бабы, и ветер, выкидывая языки огня, трепал юбки, облепляя ноги, рвал развешанное на веревках серое от пыли белье и свешивающиеся из вагонных дверей одеяла и пеленки.

Когда инженер обогнул депо, у стены зачернела толпа. Глаз, привыкший к одиноким фигурам, разбросанным по путям, на стрелках, на паровозах, у буферов сдвигающихся вагонов, странно и непривычно останавливался на этом живом, густеющем сквозь колеблющуюся муть море картузов.

Полынов быстро и смело подошел с гордо поднятой головой, как человек, у которого все ясно, определенно и оттого нет основания к опасениям.

В сторонке конфузливо и растерянно жалось все железнодорожное начальство, железнодорожные жандармы. В телеграфных столбах, в ушах визжал задыхавшийся от злобы и пыли ветер.

Полынов подошел вплотную к толпе, и дальние ее ряды тонули в несшейся пыли.

— Что такое? Что это все значит?

Он старался поймать выражение глаз отдельного лица, как он это привык в обычное время с каждым отдельным рабочим. Чернели картузы; желтело одно общее лицо толпы, блестели глаза.

Кое-кто в передних рядах неуверенно взялся за шапки, и тотчас же, смешиваясь с ветром и несшейся пылью, побежали говор, смех и восклицания:

— Вы бы и штаны сняли!..

— Спинолизы!..

— Я спрашиваю, что все это значит?! — И голос Полынова гневно покрыл и взвизги, и крутящийся шум ветра, и смех.

Но тогда, в свою очередь, его голос был покрыт неудержимым взрывом над толпой, так что ничего уже больше не было слышно:

— Долой мастеров!..

— Долой начальство!..

— Пускай уходят...

— Чтоб не было жандармов...

— Примечают...

— Им абы выловить кого...

— Все в ответе... никого не дадим в отдельности...

Жандармы стояли с хмурыми лицами, на которых сдержанное волнение: мы, дескать, свое дело исполняем, а остальное нас не касается.

— Господа, я прошу на некоторое время уйти.

Жандармы и мастера неторопливо, точно пожимая плечами, пошли, теряясь в смутно несшейся пыли: дескать, приказания слушаемся, а ответственность с себя снимаем.

— Теперь прошу спокойно изложить, в чем дело...

Выступил приземистый, в картузе, Рябой, с не то насмешливо, не то хитро бегающими, колючими глазками. Он заговорил, глядя смеющимся серым глазом и прищурив другой:

— Рабочие желают... одно слово... этово... потому в скотинячьих вагонах... для скота вагоны, а вы людей напихали...

— Ну-с?

Полынов вдруг почувствовал свое превосходство перед этим Рябым, который писал словами мыслете, вдруг почувствовал не только превосходство образованного человека, к услугам которого точная, чеканная, культурная речь, но и превосходство внутреннего понимания, которое давало удовлетворяющее чувство нравственной правоты.

— Опять же лето кончается, там ветры, дожди... одно слово... этово... ребятишки... семьи... куды же?

И он смотрел прищуренным глазом не то насмешливо, не то хитро, как будто за этими словесными каракулями таил нечто, чего пока не хотел обнаруживать...

— Так вам чего же, собственно, нужно?

Толпа дрогнула:

— Правильно, он правильно!..

— Нельзя людей гноить в скотских вагонах...

— Не лошади, не быки... люди...

— Осень подходит...

И опять уверенный, красивый и точный голос зазвучал над толпой:

— Раз у вас имеются требования, вы должны были

спокойно изложить их мне, а не бросать работы. Я даю вам два...

Его голос потонул во взмывших косматых голосах:

— Знаем!..

— Старая погудка...

— Поможет, как мертвому кадило...

— Надень себе на... да цалуйся...

— Покеда разговоры, подохнем все с ребятами.

А прищуренный глаз, глядя другим — серым, хитрым, говорил:

— Одним словом, люди... этово... понимать надо...

Полынова укололо.

— Ну да, потому что люди... потому что считаю и отношусь к вам, как к людям, говорю с вами. На моем месте давно бы дали телеграмму, и вместо разговоров перед вами стояла бы рота солдат.

— Не пужай!..

— Не испужались!..

— Не на таковских напал!

А прищуренный глаз все так же — не то покорно, не то хитро, не то насмешливо:

— Господин начальник, должно, на скотском положении: в оранжереях, двенадцать комнат, чисто и благородно, а мы наподобие людей... одним словом, этово... в скотинячьих вагонах... осень подходит, холода, дожди... ребятишек, одним словом, заморимся таскать на погост...

И опять космато и отрывочно заволновалось по ветру:

— Себя обстроил...

— Себя перво-наперво...

— Себя не забыл...

Полынов подавил вспыхнувшее было раздражение.

— Вы не понимаете... Вы должны понять, что это зависит не от меня. Смета и порядок работ вырабатываются в управлении. Мне присылают готовый план, а я его выполняю. Я его так же не могу изменить, как последний чернорабочий. Указано раньше всего возвести станционные постройки, помещения для служащих, необходимые для эксплуатации пути сооружения, я так и выполнил. Если бы план был обратный и распорядились бы сначала возвести рабочий поселок, я бы так и выполнил. Я простой исполнитель. И, если бы на кирпич по-

строил иначе, меня сейчас же выгнали бы. Вы это должны понять.

Черное море картузов негодующе дрогнуло, но Рябой обернулся, сделал знак рукой и, точно отвечая за всех, так же щуря глаз, проговорил:

— Нам ни тепло, ни холодно... этово... одним словом, правление ли, управление ли,— ребятишек все одно придется таскать на погост... Кто там командует, нас не касается... Вина не наша, а подыхать нам...

И вдруг, повернувшись, и точно выросши, и уже злобно глядя большими серыми глазами, бросил толпе охрипшим на ветру голосом:

— Не так ли, ребята?

Толпа разом взмыла, поглотив его. И вокруг Полынова — возбужденные, отсвечивающие клейким потом лица, злобный блеск играющих глаз.

— Умный задом наперед.

— Задом думает, головой сидит...

— ...Да почесывает...

— На посуле, как на стуле...

— Мокро под ним стало — наговорил...

— Чего на них глядеть!..

— Га-а-а!..

«Нет, с ними только плетью разговаривать...» Но он в ту же минуту подавил мысль, которую бы не произнес вслух, и пошел из толпы, спокойно и гордо подняв голову и не оглядываясь, каждую минуту ожидая, что плюхнется в затылок пущенный сзади камень.

Он шел, голоса и говор сплывали, заметаемые ветром, и с тонким и злобным повизгиванием носился между рельсами, долго не рассыпаясь, крутившийся песок. Небо безумно неслось серой мутью.

Красные ряды вагонов; копаются в пыли ребятишки; бабы все так же неугомонно возятся у печурок, и ветер яростно треплет облепляющие юбки, а впереди станционные здания.

Вместе с чувством безопасности всплывал горький привкус ощущения, что убедительное, ясное и простое разбилось, а перед глазами стоит тупое, незрячее и упрямое.

На платформе в ожидании толпилось начальство, мастера, жандармы.

Полынов подумал. Потом резко проговорил помощнику:

— Пошлите заявление машинистам и стрелочникам: даю два часа. Если через два часа паровозы не будут в деле, по телеграфу вытребую резервные бригады! Они понимают, что́ это значит!

— Не вызвать ли сотню? — кто-то вставил осторожно.

— Нет.

И ушел.

Через два часа маневренные и рабочие поезда, колеблясь белыми тающими дымками, срываемыми и уносимыми ветром, перекликались то тонкими, то толстыми или двойными голосами, им отвечали разорванно от ветра рожки: ти-ти-и-и...

Одинокие темные фигуры озабоченно перебегали от стрелки к стрелке, выглядывали с площадок паровозов, мелькали между буферами со звоном сталкивающихся вагонов.

Деповские разошлись,— слесаря, монтеры, столяры не стали на работу.

«Но ведь я же не виноват?» — думал Полынов.

«Нет, не виноват».

«А они?»

«И они не виноваты».

И в этом их сила,— в том, что они не виноваты. И в этом его бессилие,— в том, что он не виноват.

Но с людьми он был строг, короток и точен, как человек, для которого все ясно и который знает, чего хочет.

И за обедом так же определенно, точно и ясно и в то же время стараясь быть деликатным и корректным, как всегда, к жене, говорил:

— Леля, согласись, что это неудобно. Петр гостит у нас и заводит среди рабочих истории. Ведь я еще не знаю, чем все это кончится. Не доносить же мне на него.

И, заделав привычным движением салфетку за жилет, продолжал, приготовляясь есть:

— Ты понимаешь, я не ради себя, даже не ради тебя и ребенка, не ради нашего положения, ты это знаешь. Но вся эта история в конце концов обрушится на рабочих же, и бессмысленнее всего то, что они ничего не добьются.

— Мама, отчего червяки не летают?

— Кушай, дружок. Надо кушать, а то кончится обед, и ты останешься голодною.

Дебелая няня в белом переднике так же важно и независимо кормила Катюшу, важная и осанистая, как будто вся суть в том, что и как она делает, как нагибается к ребенку, поправляет салфетку, придерживает, чтобы та не болтала ножками.

Елена Ивановна разливала суп, и было как всегда: чисто сияла скатерть, посуда, серебро.

— Ты хочешь, чтобы я поговорила с Петей? Хорошо.

Она сказала это, чтобы сказать что-нибудь мужу и не обидеть молчанием. Но было свое, особое, отдельное и от мужа и от Пети, и надо было обдумать, и не с кем было поделиться.

Темно и тихо.

Чудится, кругом без края тянется степь, но во тьме ничего не видно. Ветер стих к ночи, и теперь неподвижно, молчаливо.

В той стороне, где поселок, такая же тьма; лишь скудные огоньки трактира маячат, да мглисто-голубоватым заревом стоит отсвет электрических фонарей над путями.

Студент лежит, протянувшись по сухой, пахнущей горьким полынком и остывающей пылью земле. Рядом, также протянувшись, лежит Рябой. Лиц друг друга они не видят, лишь неясно темнеют фигуры.

Когда вспыхивает папироса, проступают на мгновение из темноты озаренные ноздри и кусок всклокоченного уса, и студент делает усилие восстановить знакомое лицо, так эти отдельно выступающие ноздри и кусок уса не похожи на Рябого.

Студент покусывает травинку и напряженно думает, представляя разинутые ворота депо, вечерние дымки над поселком и милое лицо сестры.

— Я считаю дело проигранным. Суть, конечно, не в домах, их теперь до зимы все равно, если бы и хотели, не могли бы выстроить. Дело в том впечатлении, которое производит стачка на врагов. Разом, дружно началась, так же дружно, разом кончилась, как по команде; это, как удар, ошеломляет врагов и сплавляет, спаивает рабо-

чих. Вот в чем суть. Тут, понимаете, процесс важен, а не результат. Если б не машинисты...

Папироса на секунду осветила ноздри и ус.

— Полстей выдадут вагоны обить на зиму — и то ладно.

Студент поморщился.

— Из-за полстей не стоило огород городить.

И, помолчав, проговорил в темноте:

— Деповские — молодцы; не ожидал,— держались великолепно...

— Бараны!..

Студента покоробило, но он тотчас же подыскал объяснение и успокоился: за словами Рябого не чувствовалось презрения. Он был кость от кости их и плоть от плоти их и просто грубовато выражался. А тот, на секунду опять проступив из темноты, точно поторопился опровергнуть:

— Ведь я что проделывал. Возьмешь, этово, одним словом, газету или журнал, безграмотных, почитай, половина, читаешь-то, темно иной раз, кверху ногами держишь, и катаешь им, будто читаешь, катаешь отсебятину... ха-ха-ха... Стоят, слушают, ушми жуют.

Студент угрюмо молчал.

— Начинял, как колбасу.

Негромко, как-то по-ночному из далекой темноты донесся клекот подходившего ночного поезда, сначала слабо, едва уловимо, потом все ясней и ясней, все отчетливей и отчетливей — всеми колесами враз. Так же по-ночному, чтобы не разбудить, донесся сдержанный крик паровоза, и все смолкло, и у станции неподвижно сквозь тьму зазолотилась цепочка огней.

— Ну, я завтра уезжаю. Делать тут больше нечего.

— Поезжайте, одним словом, этово... состряпали хорошо, дело на ход пущено. Прощевайте.

Паровоз опять осторожно, не тревожа сонных, отрывисто гукнул и стал дышать редко и глубоко, потом все чаще и чаще; замелькала цепочка огней. Один за одним они погасли, как искорки в темноте, и так же погас клекот колес. Стояла распростершаяся до утра темь и молчание.

Студент еще слышал удаляющиеся шаги по крепкой сухой земле. Впереди смутно маячили крайние землянки, а может быть, это только чудилось.

— Товарищ!..— и остановился.— А, товарищ!..

— А?

В темноте опять сошлись. Папиросу загасил.

— А ведь знаете... меня как-то... осадок остался... знаете, к товарищам вы как-то странно... ведь они же — товарищи же вам...

Тот засмеялся.

— А то что же... одним словом, на морде не написано: может, шпион. А тут я все говорю, как есть; а станут допрашивать — по газете читал, по разрешенной, и все подтвердят. Не бараны, что ль? Ба-ра-а-аны!..

И засмеялся.

Этот смех вызвал в представлении Пети живые серые глаза, и что-то в них наполовину помирило с собой.

— Ну прощайте, товарищ, будьте здоровы, удачливы...— и пожал мозолистую, пахнущую машинным маслом и пóтом руку.

А из темноты:

— Счастливого... Одним словом, этово... свидимся еще...

Петя шел, не видя земли и глядя на далекий голубоватый отсвет над станцией, и как всегда старался подыскать смягчающее объяснение неприятно черкнувшим словам Рябого. И вдруг почувствовал, что никакого объяснения нет и не надо. Нет и не надо, потому что он и Рябой глядят — он это чувствовал — с двух разных концов.

Петя живет праздником, живет той особенной стороной жизни, которую надо повернуть к себе, которая не для всех. Рябой живет каждый день, живет тем, что есть, но живет крепко, не отрываясь, вплотную со всем, что кругом, и по-своему прав.

Нет и не надо никаких объяснений.

В мягкой темноте и молчании полоса света через раскрытые двери падает, ломаясь, по ступеням в сад. Местами из темноты проступает озаренная листва да призрачными пятнами умирающие предосенние цветы.

Преодолевая темноту, белеет на скамейке в стороне платье Елены Ивановны. Возле смутная фигура брата. Из столовой сквозь открытые на террасу двери доносится неторопливо мерное чокание стенных часов.

— Рано?

— Часов в шесть утра.

— Отчего не поездом?

— Непременно заберут где-нибудь на станции, теперь всюду дали знать.

— Петечка, я знаю, ты нехорошо обо мне думаешь...

— Что ты, Леля, будет...

— Нет, нет, постой... Не хватает... не хватает, Петечка, сил бросить Катюшу... Ведь уж если отдаться делу, так без оглядки, вся... Тут ни семьи, ни детей...

— Я понимаю тебя, Леля, всякому свое... Вот я только что виделся с одним из деповских. Маленький, невзрачный, рябой и вдобавок косоглазый, а всех их в кулаке держит. Но странное отношение — так-таки и говорит: «Бараны!» Я уж...

— Знаешь, Петя, вот когда ты придешь, говоришь, принесешь самый воздух оттуда, у меня как-то раскрываются, как будто расширяются глаза. И я из-за повседневности гляжу и вижу, как в каждом уголке, в каждой мастерской, в каждой квартирке рабочего делается что-то огромное, какое-то большое, важное дело, и все больше да больше, и, знаешь, я больше ничего не вижу, только одно это, как будто весь мир покрывает... А то...

Она помолчала, чертя носком невидимый песок.

За домом стоял голубовато-мглистый электрический отсвет, озаряя снизу низкое, молчаливое и неподвижное небо.

— А знаешь, как опять погрузишься в хлопоты, так и кажется, что главней всего на свете ребенок, да муж, да хозяйство, да что журналы получаешь, да поезда, гости, да из газет разные события... Право, Петечка...

— Это оттого, что сама не работаешь.

— А эта борьба кажется где-то по уголкам, какой-то незначительной, подпольной.

— С кем поживешь, тем и прослывешь...

— Ах, нет, не думай так дурно о нем... Право, он уж не такой... Знаешь, уже прислали запрос, почему он не вызвал воинской команды и почему до сих пор не рассчитал всех рабочих. Он честно относится к делу, понимаешь ты, не как инженер только, а как человек, к рабочим. Я думаю, едва ли он долго тут продержится.

Опять замолчали. Бесконечно много надо было переговорить, было смутно в будущем, может быть уже не

увидятся, и не подыскивалось, с чего начать, не подыскивалось слов.

— А помнишь, Петя, когда были маленькими, ты очень любил такие крепкие пряники,— в пыли, песок хрустит, а ты часами простаивал около торговки?

— И я помню, ты, бывало, возьмешь на завтрак в гимназию деньги и отдашь мне на пряники, а сама голодная. Славная девчурка была.

В темноте белело ее платье, и слабо пятном проступало лицо.

— Не оправдала надежд,— тихонько засмеялась она.

Всех людей он делил на две неравные части: тех, кто так или иначе был связан с делом борьбы, и все остальные — «буржуи», сытые, заевшиеся. Первых была горсточка, но они заполняли весь мир; вторые кишели, как мухи, и среди них было пусто и скучно, как в степи. Сестру не умел поставить ни туда, ни сюда. Она занимала в его сердце особенное место, ласковое и нежное.

Он проговорил, беря ее руку своей широкой, крепкой, молодой:

— Поцелуй же Катюшу. Она меня все допрашивала, ползают ли мухи по облакам. Я говорю: «Нет». А она: «А зачем же они вверх ногами по потолку ползают?» Ну, прощай!

— Ты же пиши!..

Он пошел, но она его окликнула и, когда вернулся, обняла, спрятала лицо на его груди, и он чувствовал, как она вздрагивала от беззвучных рыданий.

Шаги заглохли в темноте, и долго одиноко белело платье.

Рябой выждал, пока смолкли шаги Пети, и быстро побежал назад. Перепрыгнул через плетень, ничего не видя в кромешной темноте, но чутьем угадывая дорогу между бесформенно черных землянок.

— Ой-о-о-ай-а-а!..— все тонко повышаясь, слабо оттиснулось в темноте, просительно и неведомо откуда.

Рябой остановился, напряженно вытянув шею.

— Не то поют, не то режут?!

— ...О-о!..

Потом опять побежал, с бьющимся сердцем, прыгая чрез плетни, натыкаясь на жердевые ворота. В одном

месте собака молча рванула за ногу и потом дико залилась хриплым, злобным лаем.

«А-а, дьявол!..»

Но камня не было под рукой.

У одной землянки остановился и, подобравшись к окну, напряженно стал вслушиваться. Тихо. Из степи бесчисленно неслось тренькание ночных кузнечиков вместе с горьким запахом полыни, сливаясь в ночную дрему.

Рябой осторожно стукнул. Подождал. Потянул ставень, и он со скрипом тихо открылся. Стекло было поднято, и оттуда пахнуло душным теплом человеческого тела, дыхания, жилья. Наперебой, с тонким присвистом неслось сонное детское дыхание и необузданный храп сапожника.

Рябой наставил ухо, стараясь уловить в этом запутанном крикливом концерте дыхание девушки, но побеждающий храп царил, все подавляя. Рябой наполовину всунулся, перевесившись в окно. Перед глазами мутно белело. Протянул руку, рука коснулась тепло дышащего тела.

В темноте стоял шепот: — Даша!.. а, Даша!.. Слышь...

Быстро пробегая пальцами по сонному телу, хотел найти лицо, и пальцы запутались в жесткой клочковатой бороде.

— А-а, чтоб тебе!..

Рябой торопливо соскочил, присел на корточки затаясь.

Сапожник завозился, сел, бормоча:

—Мрв... те... олова лей... пятиалт... ый-а-а-ха-ха!..

Громко зевнул, полупроснувшись, перевернулся и захрапел.

Рябой тихонько прикрыл ставень, подобрался к другому, отворил. И тут пахнуло теплом, и перепутанно неслось ребячье дыхание, но ухо сразу отличило спокойное, ровное дыхание девушки.

— Даша!..

Рука коснулась нежно отдающей теплом груди; он быстро отдернул.

Она села, разом проснувшись, полуиспуганно, полурадостно и в темноте стыдливо закрывая рукою грудь.

— А!.. Кто!.. Ты, Алешенька?..

А он, сдерживая частое дыхание, едва слышным шепотом:

— Даша!..

Из темноты такой же шепот:

— Зараз... Прикрой ставню-то...

Ставень тихонько, без скрипа закрылся. Рябой обошел землянку и сел за углом, плотно прижавшись спиной к завалинке.

И в первый раз увидел — без границ уходили звезды в безграничную темноту, и радостно, тревожно и больно неслось неисчислимое треньканье из молчаливой темной степи и приторный полынный запах, от которого сердце тоскливо колотилось. И, все улыбаясь, проговорил сам с собой:

— А сверчки-то... этово... аж звенит в ушах...

Но кузнечики мгновенно смолкли — хрустнула камышинка, и из-за угла забелело.

И это блеснувшее белизной платье разом наполнило всю громаду звездной темноты и степного молчания.

— Здравствуй, Алешечка... чего давно не видать?..

Она села возле, прикоснувшись и обжегши теплотой, а он плотней придвинулся, не выпуская ее руки.

— Испужалась... думала, кто...

— А я к батьке к твоему в бороду залез.

Она засмеялась, зажимая рот.

— Страсть не любит, как мы с тобой. До свадьбы, грит, не смей.

— Али я... этово... жеребец?.. Что зря буркает! Не любит меня...

— Не-е... парень, грит, добрый, прокормит, а боится, кабы не испортил...

— Непутевое мотает, этово... Чего Железняки приходили?

— Сватов засылали...

— Ну?

— Батя грит: «Поставьте четверть». А они две принесли. Пили цельный день. Ну, выпили и спрашивают: «Отдаешь?» А батя пьяный, грит: «Приходите, как просплюсь». Пришли на другой день, а он грит: «Спросите девку, ей жить, не мне». Ну, плюнули и ушли.

Оба засмеялись в темноте и вдруг почувствовали, как безумно близки друг другу.

И среди притихшего молчания тихо и глухо, так что только она слышала:

— Даша!!

И так же тихо, нагнув голову:

— А?!

Но уж не нужно было слов. Сильные руки притянули, и обжигало ему шею горячее дыхание. Она, слабея и запрокидывая голову, слабо, чтобы не подумал, что отталкивает, упиралась в него, и стоял просящий шепот:

— Не ннада... не нна... да... Алексей Капитоныч... не нада...

— Да... ша... господи... все одно... свадьба вот ведь, али не любишь!

И, когда она прильнула, бессильно сдаваясь, вдруг обвила шею руками и, спрятав в плечо лицо, всхлипнула:

— Страшно, Алешенька... батюню угонють... Железняки хвалились... хвальшивыми займается... за это, сказывают, каторга...

Он разом глубоко выдыхнул, и вдруг услышал — вся ночь заполнена бесконечно звенящим треньканьем, и кругом полна звезд темнота.

Повинуясь другому, посадил к себе, обвил руками, прикрыв щекой, тихо качал, как ребенка. Растаяла и пропала разделявшая их черта стыдливости, чести, долга, что нельзя, нечестно испортить девку до свадьбы, а протянулась тонкая, соединяющая черта нежности, ласки, бесконечной нежности к любимой, непокрытой и беззащитной перед любовью.

Он качал ее, баюкая и все так же прижимаясь щекой, и стоял в темноте шепот, все заслоняющий:

— Горлинка моя!.. Касатка моя сизокрылая... не бойся, этово... все, как следует... уж говорил,— подряд ему выхлопочу на железной дороге, хорошо будет зарабатывать... Свадьбу сыграем, на коленках буду ползать, чтобы бросил, этово... в нитку вытянусь, втрое заработаю, деньгами его засыплю, лишь бы бросил... Ясочка моя... люба моя...

Он качал ее, баюкая, и не слухом, а угадыванием ловил:

— Любый мой... один ты... один ты у меня на всем свете... ни отца, ни матери; слышь, один ты... Господи!..

Хочь весь век буду ждать тебя... один ты... что ни скажешь, все сделаю, жисть тебе отдам...

Ее обвивали крепкие руки, как корни. Нельзя было шевелиться, да и не надо было шевелиться с забытой в темноте на лице слезинкой и радостной улыбкой.

И слов не надо было, и шепота не надо; просто он качал ее, баюкая, и стояло над ними, ласково улыбаясь, тихое степное молчание, все затканное неумирающим звоном ночных музыкантов. И не было конца.

— Господи, да ведь видно все!..

Она вырвалась и вскочила.

А видать было действительно все: и ласково улыбающуюся степь, и голубеющее небо, и ползущий по полотну поезд — белый дым спросонок лениво стлался над ним и за золотившиеся верхушки глиняных крыш землянок.

Он стоял перед ней и радостно глядел на трепетно шевелившуюся сорочку над крепкою грудью, на смеющиеся оттененные глаза, вздернутый носик, блеснувшие смехом белые зубы и всю крепкую фигуру одного с ним роста.

— А я видала, как вы разговаривали с анжинером.

— Это как же?

Она весело и задорно засмеялась, оглянув тонко синевшую даль, как будто ища выхода просившемуся радостному настроению.

— А как же!.. Услыхала, рабочие бунтуют, зараз и побежала украдкой от батеньки, думаю: и вы там. Прибегла и спряталась промеж вагонов. Рабочих черным-черно, и вы впереде. А анжинер беленький да щупленький. Он — слово, а вы два, он — слово, а вы три, ну, чисто кочан капусты режете его.

И засмеялась беспричинно, задорно и радостно.

— А как вы их снимали?

— Да как! Обыкновенно. Пришел, этово... стукнул молотком по железу,— было, оглохли все,— выходи, ребята!.. Ну, все побросали инструмент и повалили в ворота.

Она радостно глядела ему в глаза.

— Ну, прощайте, Дарья Игнатьевна!

Он держал ее руку, глядя в смеющееся лицо, и сам смеялся.

— Прощайте, Алексей Капитоныч,— и трясла руку, и все не могли разнять.— К нам...

— Ваши гости...

Вдруг испуганно шепнула:

— Батя!..

И исчезла.

За углом кашель и харканье.

Солнце узко и длинно погнало по степи живые синие тени.

— Н-но, поглядим... дьяволы... го-го-го!..

Рябой шел, туго стягивая большие неуклюже-корявые кулаки. Вся его борьба, вся его работа среди рабочих, всегда такая обыденная и привычная, как то, что он каждый день вставал, ложился спать, сморкался, ел, вдруг отделилась от всех мелочей жизни и празднично зазолотилась.

— Го-го-го!.. Ребята, не сдавай... еще будет на нашей улице праздник!.. Эх, Дашута, свет с тобой перевернем!

А поселок и станция просыпались, повсюду забелели дымки.

VI

После службы инженер вошел в дом с обычным ощущением покоя, чистоты, уюта своего жилья, и мгновенным несознанным ощущением мелькнуло лишнее в доме.

Он бегло пробежал глазами по чистой, светлой, веселой комнате; все было на месте — сквозной тонкий тюль на окнах, отражавший мебель паркет, яркие солнечные пятна и белое платье жены у окна.

Елена Ивановна стояла в глубокой задумчивости, уронив руки, не слышала его шагов и глядела в садик, ничего не видя.

Почему-то сквозь усталость и голодное желание поскорей сесть за завтрак ему бросилась ее стройная, легкая фигура и целая шапка золотых волос в ореоле непокорно выбивавшихся завитушек.

Она обернулась. Губы чуть дрожали.

— Милый, посмотри, какая гадость,— и протянула серую мятую бумажку.

Полынов взял и, с трудом разбирая каракули и нахмурясь, пробежал:

«...посему извещаю вас, барыня, как бывши в трахтире моем в низах мировой, а также аблакат из городу, а также заседатель и купецкий сын Игнатов, пригласимши для плясу и голого виду Феньку курносую да Гашку с сестрой Оловянкиных с водкой и закуской, завели ахвинский вечер в голом виде. Пришедши муж ваш, к нему на коленки сиганула баба, солдатка, в чем мать родила, она же дочь моя, Кара, которая обнимала его до бесчувствия, а он как кот на сало. Как честь моей дочери пострадамши, извещаю вас, барыня, как есть, можете допросить девок, а также мирового, не откажутся...»

— Черт знает, какая пакость...— Он смял и бросил бумажку.

Она, слегка краснея, что решилась переспрашивать, и чтоб это не носило и тени недоверия, кладя ему руки на плечи, проговорила:

— Милый, ведь это же все ложь, ведь это же неправда...

— Да ведь видишь... я был там, я же тебе говорил... ну, я пробыл минуты две, не больше...

Темное, тревожное встало между ним и женой, кольнув сердце мгновенной болью...

Пустяки! Он сейчас же все разъяснит.

— Мировой со своими приятелями действительно устроил возмутительную мерзость. Я бы, конечно, ни за что не пошел в эту яму, если бы знал, но эта жирная свинья схитрил, вызывая якобы по делу. Как только я увидел, что лжет, сейчас же ушел.

— Но... но ты... но к тебе... на коленях...

Губы ее дрожали, и глаза умоляюще смотрели, чтоб он сказал, что этого не было.

На одно мгновение из жалости, из любви, из глубокой нежности к ней он хотел сказать: «Нет, не было»,— но вздыбилась гордость и, насупившись, четко проговорил:

— Да, это было.

Она отступила с огромными побелевшими глазами, помертвелая, протянув руки, защищаясь, белее стены, но губы не слушались, жалко и бессильно подергивались улыбкой.

Он взял ее за руки.

— Выслушай спокойно. Я еще раз повторяю: пробыл там не больше двух минут. Когда говорил о каме-

ре, ворвалась раздетая женщина и бросилась ко мне. Я сейчас же оторвал, отбросил, хлопнул дверью и ушел. Фонарь забыл... Пойми же ты...

Она засмеялась злым, оскорбительным смехом, и он не узнал ее искаженного лица. Вырвала руки.

— Ха-ха-ха!.. Ха-ха-ха!..

— Послушай, ведь это была какая-то психопатка...

— Ха-ха-ха!.. долго же ты с психопаткой проводил время?..

— Я же тебе говорю, заблудился, фонарь забыл, не хотел возвращаться за ним... Я подозреваю даже, что это все подстроено, шантаж... Захарка все просил у меня подряд, я прогнал...

Она спрятала голову на его груди, и слезы мочили тужурку.

— Зачем... зачем это было?.. Зачем?.. Ведь я тебя люблю... ведь я тебя беззаветно люблю, мой любимый!.. Ты знаешь ведь, я тебе прощу всякое преступление...

Она отодвинула его; она долго держала его за плечи, смотрела на него с нежностью, с любовью, с безграничной нежностью и любовью сквозь туман набегающих глаз.

И опять отшатнулась.

— Заче-ем!.. Заче-ем ты солгал!.. Зачем не сказал об этом, когда пришел? Все рассказал, а об этом умолчал...

— Слушай, из уважения к тебе. Не рассказывают же, когда влезешь ногой в гадость, а просто вытрут ногу... Пойми... Ведь если бы тебя какой-нибудь нахал обнял на улице, не стала же бы ты благовестить на весь народ...

Она затрепетала, как подстреленная, вся дрожа, бросилась к нему, торопясь и не поспевая высказаться, точно от этого зависела судьба, жизнь:

— О, я бросилась, я бросилась бы к тебе, я бы рыдала: «Милый, отомсти за меня, милый, защити!..» Я бы целовала твои руки, я бы заглядывала тебе в глаза: не разлюбил ли? А ты... ты промолчал, скрыл.

— Слушай, ведь в сущности пустяки, а из-за этого — сцены.

Она разом притихла, как в воду опущенная. Поглядела в окно, где золотился день. И тихо, тихо, как будто боясь уронить и разбить, и все глядя в окно, проговорила:

— Ты... за тобой, которого я вижу и знаю, другой, которого не знаю.

На секунду ему почудилось — длинный уходящий поезд, и последний вагон, и последнее исчезающее трепетание белого платка, и уже ничего нет, только даль, да пропадающие в ней рельсы, да сизая мгла на горизонте, да пусто на сердце...

И он сказал, чувствуя холод:

— Если б и сказал, было бы то же.

Потом встряхнулся, сгоняя насевшую мглу.

— Какой вздор!.. Перестанем об этом.— И он притянул, обнял ее.

Она не сопротивлялась.

С этих пор дом Полыновых наполнился непрерывной, постоянной заботой и напряжением, и исчезла скука.

Никогда так страстно Елена Ивановна не отдавалась своей девочке, как теперь. Она забросила книги, журналы, забросила своих больных, совсем не вникала в хозяйство и целые дни проводила с ребенком.

Девочка лепетала целый день, суетливо и озабоченно раскапывая мир.

— Куда бегут облака?.. Отчего шатаются деревья?.. Есть ли козявка с человека?

Когда у ребенка был жар, Елена Ивановна просиживала над кроваткой дни и ночи, меняла компрессы, ставила термометр и рассказывала сказки. В ее сказках вставали большие города, шумные улицы, много людей, магазины, движение и говор. Ребенок внимательно слушал, округлив глазки.

— Мамочка, а отчего у нас нет шуму? А только шум, когда ветер, да когда воробьи кричат?

Елена Ивановна бросается и, не отрываясь, бессчетно целует ребенка. Эти серые, всегда с вопросом, открытые глаза, это нарастающее сознание, точно всасывающее все, что окружает, что совершается,— это приводит ее в какое-то материнское исступление.

— Милая ты моя, единственная!..

— Барыня, дозвольте ключи: нарзану достать,— говорит горничная.

Елена Ивановна смотрит на Ольгу и вдруг видит то, чего никогда не видела раньше — выпуклые черные, с

«ГОРОД В СТЕПИ»



«ГОРОД В СТЕПИ»



искорками, глаза и такие густые выгнутые ресницы, как будто они приставлены.

— Возьмите.

Горничная уходит легко, стройно и торопливо.

Елена Ивановна прислушивается к смутному паровозному гудку, где-то затерявшемуся в далекой степи.

И, опустив глаза и считая наискосок квадраты паркета, говорит чужим голосом:

— Няня, барин выходит в зал, когда Оля прибирает?

Няня, такая же дебелая, перетянутая и от этого важная, с удивлением смотрит.

— Какой барин?

Краска заливает щеки, шею, и, просвечивая, нежно горят кончики маленьких ушей.

— Наш барин... Коля... Николай Николаевич...

И, вдруг покраснев еще больше, так что слезы выступили на глазах, вспыльчиво кричит:

— Да что вы, в самом деле, притворяетесь!.. Маленькая... Оставьте, пожалуйста!..

Няня растерянно разводит руками.

— Барыня, голубушка, да я разве нарочно!.. Господи...

— Ну, хорошо, хорошо... простите... я вовсе не то хотела спросить...

Она выбегает из комнаты, прикладывая холодные руки к пылающим щекам, а сзади тоненько, просительно:

— Ма-ама!..

Но и этот голосок не трогает.

«Фу, какой ужас!.. Какая гадость!.. Как я могла?!»

Холод обдает ее с головы до ног. Она выходит в сад и смотрит сквозь деревья в степь — там пусто и скучно.

«Никогда, никогда больше этого не повторится...»

Ноябрь пришел, как всегда, переменчивый.

Степь потеряла свою задумчивость, тоненькую, ее облегавшую синеву и плоско лежала холодная, голая, обнаженная, под кучей низких, до самого горизонта сероневороченных облаков, состарившаяся и угрюмая.

Давно смолкли голоса пролетных птиц, прощальным говором и невидимой жизнью наполнявших ночные сте-

пи. Теперь бесприютные черные осенние ночи проходят, пустынные, полные лишь холодного, невидимо мечущегося ветра, и иззябший серенький рассвет не приносит надежды.

Из-за тысячи верст, из азиатских степей злобно шумит ветер, все омертвевая сухим морозом. И над оцепенелою серою землею несется холодная, злая серая пыль.

Далеко по крепкой дороге споро бежит пара прозябших лошадей и катится доверху нагруженная повозка. Гривы и хвосты воротит, из-под копыт длинно в сторону бегут злые струйки пыли, и человек в шубе с поднятым воротником подставляет ветру спину, а по степи, сколько глаз видит, в неподавимом отчаянии катится и прыгает иссохшая, спутавшаяся в шар колючка.

Но в конце концов ветер устает. Мороз отпустит, степь почернеет. По дорогам нескончаемо тянется вывороченная черная грязь; каркают вороны, и лишь в лошадиных следах мокро белеет талый снежок. Телеграфные столбы мокро темнеют с белеющим снежком у оснований.

Иссиня-белые, рыхлые, обещающие не то дождь, не то снег облака без перерыва спешат, теперь уже гонимые в другую сторону. Беда, кого застает в это время дорога,— колеса по ступицу, а лошади в нитку вытягиваются в постромках, взмыленные, окутанные облаками пара.

В поселке улицы — чернеющее болото: ни прохода, ни проезда. Люди жмутся к плетням, и против Захаркина дома посреди улицы из жидкой грязи глядит верхушка дуги с прихваченным к концу ременным поводом — засосало лошадь в сбруе и с дрогами.

Дни короткие. Полыновы обедают при лампах. Все у них размеренно. Аккуратно, в определенные часы приходит домой со службы инженер.

Елена Ивановна ходит по комнатам и ждет мужа. Поглядывает на часы, и по мере того как стрелка незаметно подбирается к пяти, разрастается и овладевает тревога. Все кажется, что муж опоздает, куда-то уйдет, а она будет ждать, будет ждать по большим пустынным комнатам, переходя от отчаяния к надежде, от надежды к отчаянию, а накрытый стол будет стоять в равнодушном ожидании.

И она в волнении мечется от окна к окну, глядит на голые деревья, истоптанные клумбы или черную степь. И вдруг видит знакомую фигуру мужа, с сосредоточенной торопливостью без опоздания идущего в урочный час. Бросается к дверям, чтобы обнять, жарко поцеловать, но встречает холодно, полуотвернувшись.

Тот целует руку.

— Ты что-то бледна. Здорова?

Она не отвечает, рассматривая ногти, и говорит прислуге:

— Подавайте.

Садятся, и он чувствует тяжесть молчания, а ей хочется наговорить колкостей, отомстить за ту тревогу и муку, пусть ложную, но которую она каждый раз больно переживает. И еще больнее, еще тяжелее, что если это рассказать словами вслух, рассказать об этой тревоге, об этом ожидании, об этих муках, так можно только рассмеяться.

— Пожалуйста, я вас попрошу пересесть вот сюда и здесь всегда сидеть...

— Леля, милая, что за официальность? Что за «вы»? Ты чем недовольна?

— Я попрошу вас пересесть. Вы слишком интересуетесь, по-видимому, резьбой буфета,— не спуская глаз смотрите через мое плечо...

— Леля, да что с тобой?!

— А вы, Ольга, по два часа у меня за спиной возитесь...

— Я, барыня, искала...

— Ну да, два часа ищете. Ступайте. Пусть второе подает Агафья!

Горничная уходит, а Полынов минуту сидит как оглушенный. Потом с сердцем бросает салфетку и с шумом отодвигает стул.

— Это черт знает что такое!.. Сумасшедший дом!..— и уходит в кабинет.

Елена Ивановна также убегает в свою комнату, а Катюша болтает на высоком стуле ножками и кричит тоненько:

— Папочка, мамочка, куда же вы убежали? Грех из-за стола выскакивать... И я к вам пойду...

— Кушай, кушай, деточка, не болтай ножками,— говорит няня, чувствуя себя с ней сиротами.

Ночью, когда в доме тихо, а в черные окна мелко стучится, белесо мелькая, крупа, Елена Ивановна, подняв обнаженные руки, закручивает перед зеркалом волосы на ночь, испытывая чувство стыда и унижения за свою выходку.

— Леля, ведь это что-то невозможное создается у нас. Ты, наконец, черт знает в чем начинаешь меня подозревать.

— В чем? — говорит она задумчиво, все так же не отнимая рук от головы.

— Я не знаю, это даже не психопатизм, а на границе помешательства.

— Ты это о чем? — И она видит в зеркале свои тонко приподнятые удивлением брови и собирающие волосы руки.

— Подумать только...

Она бросается в кресло в отчаянии и заламывает руки...

— Да ведь ты меня обманул!

— Ты уж начни с Адама переворачивать старую труху...

Лицо ее искаженно бледнеет, и ложатся синие пятна.

— Ха-ха-ха... Для тебя это только труха... а для меня... а для меня вся жизнь... в этом.

Он крепко стискивает ее руку, так что у нее склеиваются пальцы, и глядит, не отрываясь, в зрачки, как укротитель в звериные глаза.

— Перестань!..

Она перестает, бессильно тонет в кресле и начинает всхлипывать по-детски и покорно.

Он ходит большими шагами, нагнув шею,— затылок давит тупая злобная боль. Раздражение понемногу переходит в страстно-торопливое мелькающее искание какого-то подавляющего, неотразимого довода.

Останавливается и говорит:

— Ну, хорошо, хорошо, ты только предположи, только на одну секунду предположи, что ты ошибаешься. И подумай, взвесь тот ужас, всю ту бессмыслицу, которая на меня обрушивается. Ведь ломает душу... Я не знаю, идти некуда дальше... тупик!..

Она тихо плачет, перебирая ворсинки на юбке, и полуобнаженные, детской белизны, тоненькие ее плечи по-прежнему вздрагивают.

Он покосился.

— Я тебе верила, как богу. Если б меня резали и сказали бы, что ты солгал, я с радостью умерла б под ножом, а не поверила бы им. А ты обманул, скрыл. И все, что бы ты ни делал теперь, у меня сейчас: а тогда? Если раз обманул, отчего еще не обмануть?

И вдруг всхлипнула.

— Милый, не сердись... Я тебе верю... Слушай... Господи! Что же мне делать!..

При виде этой беспомощности, при виде этого слепого и темного, бешенство судорожно повело его лицо и передернулись губы.

— Черт!.. Ведь это же... Я не знаю... Убить тебя или себя...

— Убей, убей, милый, мне жизнь не в жизнь.

Он подошел к окну и глядел в стекло, где — одна тьма, и мелко и торопливо вылетали из нее и бились, исчезая, белые крупинки.

Она была по-своему права, эта женщина с золотыми волосами и манящей белизной плеч и шеи, о которых сейчас не думала. Цепь ее логических построений шла параллельно с его, не пересекаясь, и это вызывало безнадежность. Оттого, что было безнадежно, ему стало бесконечно жалко ее.

Он обнял, притянул к себе.

— Родная... родная моя!.. Ведь... ну, перестань... Мы устроим жизнь, ведь люди же мы...

Она пригрелась, как теплый комочек, и он стал безумно целовать эти теплеющие под губами плечи, руки, грудь, чувствуя, как тает сердитая уверенность в своей правоте, уже чувствуя себя полувиноватым.

Чего она так смертельно боялась и чего беспричинно ждала, случилось — он не пришел.

И она металась от окна к окну именно так, как представляла себе раньше: с безумной тревогой, с надеждой, с неподавимым отчаянием. Часы били два, три, четыре; его не было, стол стоял накрытый в равнодушном ожидании, а в окна молча глядели истоптанные клумбы и голые деревья, а в другие — черная степь.

Она до мелочных подробностей вспоминала ту страстность и нетерпение, когда он обладал ею, и это было

одним из самых злых доказательств, что изменяет, что с такой же страстностью обнимает других. И хотя это и было лишено внешней логичности, но для нее имело неотразимую внутреннюю убедительность.

Не попадая дрожащими руками в рукава, она торопливо одевалась.

«Вот оно!.. Вот оно, конец!»

— Няня, я сейчас приду... Если опоздаю, укладывайте Катю без меня.

— Барыня, куда же вы на ночь-то глядя?

На платформе то же, что всегда. На дальних путях маневренный паровоз, посвистывая, катит сталкивающиеся вагоны. Землю запорашивает, и вдоль рельсов с наветренной стороны узко белеют наметы.

Железнодорожники, сторожа, носильщики с преувеличенной вежливостью кланяются, и в глазах сдерживаемые улыбки.

Не подымая глаз, она проходит. Встает вся гордость, не позволяя спросить. Она идет бесцельно. Смеркается. Сзади над станцией зажигаются огни. Снежок мутно пестрит темнеющую подмерзшую землю.

Перед глазами неотступно стоят подлые подробности вечера у Захарки. Ноги вязнут, и она с трудом их вытаскивает. В пустующем сумраке — землянки, недостроенные дома, плетни. Кое-где мерцает крохотное окошечко. На другой стороне вдоль плетней пробираются несколько темных фигур, и с ними грубый разговор, ругательства. А ей все равно; могут оскорбить, ограбить, убить — все равно.

Подымает глаза — в два ряда светятся окна, освещена открытая лестница, несется гул, говор, звон посуды, обрывки заглушенной песни, стук бильярдных шаров.

«А-а... так вот!..»

Она никогда здесь не была, но сразу угадала, что это такое.

Поднялась на несколько ступенек и стоит. Сердце стучит с тоскливым, мучительным замиранием, перед глазами темные круги.

В коридоре по обеим сторонам двери, и оттуда хриплые голоса, скверный смех.

«Так вот до чего он унизился!.. Может быть, за одной из этих дверей...»

Она открыла рот, чтобы истерически на весь поселок закричать:

— Ко-оля!..

И так и осталась с открытым ртом — сверху в белой кофточке, с бледным лицом, темными кругами около глаз и с бледной улыбкой сходила тонкая женская фигура. Она остановилась, не дойдя двух ступенек, и они, не спуская глаз, смотрели друг на друга. И опять Елена Ивановна узнала, кто это, хотя никогда не видала раньше.

С минуту они смотрели как зачарованные. И та, в кофточке, тоненькая, проговорила, победно глядя:

— Вам чего?

Одна из дверей в коридоре приотворилась, и хриплый голос:

— Пива! — И видна была в одном грязном белье всклокоченная фигура.

«Нет, не может, не может быть!..— думала с содроганием Елена Ивановна, не разбирая, шагая целиком по грязи, едва вытаскивая ноги,— не может быть, чтобы он так низко опустился... ведь это грязь!..»

Она шла, успокоенная, все дальше, туда, где среди густой ночи упруго подымалось сияние станционных огней, озаряя смутные облака; шум и говор притона и огни остались далеко сзади, а калоши — в грязи.

— Эй,— послышался голос в темноте,— слышь, что ль!..

А оттуда, издали, должно быть с другого края, донесся вой. Собака выла упорно, долго, тоскливо в темноте.

«Чему она улыбалась? И отчего такая улыбка? Измученная или торжествующая?.. Узнала и улыбалась... спускалась с лестницы к нему... За одной из запертых дверей он сидел, и она ему теперь рассказывает: «Жена твоя приходила...» А он: «Не может быть...» — «Приходила, вот тут стояла...» Торжествующая улыбка на бледном лице, торжествующие темно-провалившиеся глаза... Так вот почему все это!.. Вот почему она так надменно смотрела сверху: «Вам чего?»

Елена Ивановна ломала руки. У своего садика не нашла калитки — сбилась с тропинки. Она лазила вдоль огорожки, щупая мокрые, холодные доски руками, с мокрым, холодным от слез лицом, оплакивая мертвого

дорогого человека: «Коля, Коля!.. Родной мой, дорогой мой...»

Валил снег, и мутно-белесая ночь непрерывно колебалась. Шумел ноябрьский ветер не то в невидимых голых, иззябших деревьях садика, не то в станционных мутно проступающих зданиях, или в безлюдной, беспредельной степи.

Дома няня ахнула. Сбежалась прислуга. Стали стаскивать все в грязи платье и белье, а Елена Ивановна дико металась и бормотала почти в бреду. Уложили в постель.

Ночью вернулся Полынов, измученный, весь в грязи. Как только вошел, Елену Ивановну стала бить истерика. Она безумно выкрикивала, хохотала, а Полынов ничего не понимал, с трудом удерживая ее, бившуюся в его руках. Среди криков, визга, хохота он, едва держась на ногах, только к утру узнал, в чем дело, и ахнул.

— Леля, голубчик, да разве ты не получила моей записки?!

Подняли заспанную прислугу, которая ничего не могла понять. Наконец кухарка испуганно побежала на кухню.

— Господи, да ведь я запамятовала!.. Вчера ж приносил сторож со станции.— И она подала Елене Ивановне конвертик.

«Дорогая Леля, я уезжаю с дежурным паровозом на двадцать пятую версту,— осела труба под полотном. Получена депеша из управления — в самый короткий срок и во что бы то ни стало восстановить движение. Вероятно, пробуду всю ночь; будем работать при фонарях. Целую крепко тебя и Катю».

Совсем рассвело, когда дом успокоился.

А к вечеру, сидя у постели больной и держа ее горячую руку в своей, Полынов говорил ласково:

— Леля, у тебя как-то странно направлены мысли. Вот я, например, не пришел; так ведь не пришло тебе в голову, что я убит, ранен, что со мной случилось что-нибудь. Все это же всегда возможно при нашей службе. Помнишь, стрелка потухла и меня под паровозом две сажени протащило? Так ведь тебе же не пришло в голову прежде всего это; ты не ужаснулась, не испугалась потерять меня так внезапно, а прежде всего побежала в при-

тон... что я там... Леля, пойми, я не сержусь, но... но я просто не понимаю.

Она беспомощно и виновато смотрела в окно, оно все было узорчато-морозное. Еще чудилось потухающее сияние снежной степи.

«Разве он не прав?»

Поникла и вдруг порывисто схватила и поцеловала его руку.

— Лелечка, дорогая, милая, что ты!..

Она отвернулась, с вздрагивающими губами, сдерживая слезы. Вспомнила все свои тревоги, муки, отчаяние, которых ни измерить, ни передать словами. Ведь это каждый день. Это безумное ожидание несчастья, этого никакие человеческие силы не вынесут. Все равно, права она или не права, но она измучена до последнего предела, и кто-нибудь должен же быть ответствен за эти муки. С лицом бледно искривленным злобой, закричала:

— Ты всегда сухой из воды выйдешь!

Его взорвало неподавимым бешенством, но сдержался и, ненавидя ее, чувствуя, что они непримиримы, вышел из комнаты.

Все празднично, нарядно, начиная с сияющей под зимнем солнцем степи до дверных станционных ручек, отчаянно вычищенных. Путь заново забалластирован, сияют убегающие рельсы, и начальство ходит — как умытое, краснея новыми фуражками.

Поглядывают в степь, откуда бегут поблескивающие рельсы. Степь молчалива, в бесконечно прозрачном, похолодевшем воздухе очерчена далекой снежной линией, полная сдержанного, одинокого зимнего ожидания, иного ожидания, чем летом, и чем то, которое томит людей и заставляет то и дело поглядывать, вытянув шеи, на выбегающие из-за далеких отлогостей рельсы.

Один Полынов спокоен, одет, как всегда,— он всегда одет безукоризненно,— отдает приказания обычного порядка или работает в канцелярии. И только когда прибежали впопыхах и объявили, что поезд подходит, Полынов неторопливо вышел на платформу, как бы говоря:

«Хорошо, я выхожу, но это — простой акт вежливости».

Экстренный поезд из трех вагонов, блистая огромными зеркальными стеклами, на всем ходу лихо подлетел к платформе и, скрежеща тормозами, остановился.

Из вагона вышло несколько инженеров, и первое, что бросилось от их фигур,— это утонченная изысканность одежды, лиц, манер, точно они осторожно ступали, чтобы скрыть эту отделяющую их разницу от тех, кого встречали на этих диких степных станциях.

За ними гибкий, сухой, с седеющей бородкой и висками человек, тоже в фуражке инженера, и все, кто был на платформе, как один человек, точно на них подул ветер, повернулись к нему, отдали честь и не отрываясь стали глядеть на него, на его изящные маленькие руки, в которых судьба многих тысяч людей.

Казалось, он обжег из-под седеющих бровей мгновенным блеском черных молодых внимательных, ничего не упускающих глаз и платформу, и стоящих на ней людей, и станционные здания, и маневрирующие вдали по путям паровозы.

— Здравствуйте, Николай Николаевич! Эта часть пути у вас в прекрасном состоянии.

Полынов слегка наклонил голову, точно говоря:

«Разумеется, иначе и не могло быть...»

И так же сдержанно, точно подчеркивая разделяющую их черту, проговорил:

— Быть может, угодно отдохнуть с дороги?

— Нет, предварительно осмотр произведем.

Председатель правления шел гибкими, мелкими шажками, сухо и коротко бросая вопросы, а сзади ненужной гурьбой шли инженеры.

Полынов так же коротко и деловито давал объяснения, с удовольствием чувствуя, как его понимают и схватывают с полуслова.

Это не была приятно пролетающая в салон-вагонах ревизия, это — рачительный, умелый, каждую мелочь замечающий и дающий ей цену хозяин.

Остановились около больницы. Наверху оглушительно стучали, гремя листами железа заканчиваемой крыши.

Человек с седеющей бородкой остановился.

— Отличное здание. Пойдет под квартиру служащих.

— Это больница,— сухо вставил Полынов.

У того тонко дрогнули ноздри.

— Николай Николаевич, ближайшие потребности удовлетворяются в первую голову.

— Куда же девать заболевших?

— Мне нужны здоровые, а не больные.

— Прикажете подавать в отставку?

Председатель сделал вид, что не расслышал.

— Осман-паша, запертый русскими в Плевне, заявил английскому врачу, сердобольно явившемуся помогать раненым турецкой армии: «Берите ружье, становитесь в ряды — мне нужны только солдаты». Железнодорожное хозяйство — та же война, и беспощадная.

Инженеры почтительно, шаг за шагом, ходили за председателем правления и своими лицами и своими безукоризненными манерами молча и снисходительно говорили:

«Ну, конечно, война. У нас, в Петербурге, это — стертая истина».

Среди них были высокие и небольшого роста, худые и полные, но Полынову казались все на одно лицо, одного роста, с одним и тем же выражением.

Осмотрели станцию, станционные службы, водонапорную башню, обслуживавшую громадное пространство, закладки начатых зданий, всюду разбросанных, бесчисленные пути, исчерчивающие степь в таком странном контрасте с ее снежною пустынностью, молчанием и одиночеством.

Дававшие объяснения служащие с собачьей готовностью прикладывали пальцы к козырьку и упруго бегали, не в состоянии ходить шагом.

Пошли осматривать мастерские — огромный куполообразный, бесконечно протянувшийся сарай из камня, железа и стекла. Свет тускло пробивался сквозь закопченные окна и такие же закопченные стекла в крыше. Всюду станки, строгальные машины, горы стружек, серая металлическая пыль и безлюдье. Всюду мертвый инструмент и несколько одиноких фигур.

Председатель бегло оглядел огромное здание и осторожно обратился к Полынову:

— Разве перерыв?

Полынов нахмурился: обеденный час давно прошел.

— Где же рабочие? — повернулся он к одному из оставшихся.

Тот стоял, сняв шапку.

— Возле депа собрались.

Прошли депо, и зачернелось море голов. Как и тогда, у Полынова строго и чутко натянулось ожидание. Как будто потемнело вдали и вздулся парус, но еще нет бури, и весело и жутко.

Инженеры шли гуськом за председателем, осторожно и недоумело, как легавые, подняв уши и слегка поджав хвост.

«Это что-то не входило, кажется, в программу ревизии...»

Председатель легкими, упругими шагами подходил впереди, внимательно и осторожно пронизывая черную толпу.

Когда подошли, настроение Полынова разом упало,— все рабочие, как по команде, сняли шапки. Полынов с удивлением всматривался в эти тусклые лица, ища того острого и едкого, что так било, когда он говорил с этими же рабочими. Была какая-то другая толпа, вялая, однообразная, тусклая.

Председатель в ответ приподнял фуражку.

— Что скажете, ребята?

И это «ребята» опять разочарованно покоробило Полынова.

Среди рабочих поднялся легкий галдеж:

— Зимовать трудно...

— Трудно, не приведи господи...

— Полсти выдали, да что с полстями?

— Не завернешься в нее.

— Опять же расценки...

— И расценки тоже... концы не сведешь...

— Лавок нету, все втридорога...

Председатель сделал знак, и все смолкли.

— Изложите все на бумаге в порядке и подайте мне вот через Федора Ивановича.— Он указал на низенького толстенького инженера, который легонько выступил и не то слегка поклонился, не то сделал неопределенный жест.— По приезде в Петербург я все сделаю, что возможно, и сейчас же дам ответ. А вот относительно продуктов — так, Николай Николаевич, необходимо, чтоб железнодорожные лавки-вагоны, курсирующие по магистрали, организовали бы посылы провизии и по станциям этой ветви.

— Писал, и много раз,— ни слова в ответ.

— Хорошо, я сделаю распоряжение.

Он повернулся спиной и пошел от молчаливой толпы. За ним хмуро, потеряв что-то, пошел Полынов, а за ним гурьбой, удерживаясь, чтоб не ускорить шаги и не оглянуться, пошли инженеры.

Обедали у Полыновых.

Большой стол белоснежно искрился скатертью, серебром, посудой.

Давая этой белизне жизнь, благоухали на столе живые цветы.

Но самый благоуханный, полный тонкой дрожащей жизни цветок — белая женщина в конце стола с нежным румянцем. Движения ее самые простые — протянет руку с тарелкой, предложит вина — полны особого значения, прелести.

Лакей в белых перчатках бесшумно подавал. Инженеры небрежно заделывали углы салфеток, и на их с учтиво сдерживаемой снисходительностью лицах было:

«Все это совершенно неожиданно,— тем приятнее...»

За столом, мешаясь со звоном рюмок и серебра, стоял тот легкий, непринужденный, ни на чем не останавливающийся разговор, который вызывает первая рюмка и вид вкусно приготовленной и хорошо сервированной еды.

— Среди пустыни эта станция,— как оазис.

— У нее — будущее.

— Скучны степи...

— Благодарю вас... О нет, довольно...

— Скучаете, я думаю?

— Раньше, как только приехали, тяжело было, теперь привыкла.

— Говорят, оперная труппа гастролирует в ближайших городах.

— Какая же труппа поедет гастролировать по провинции?

По правую сторону хозяйки — толстенький инженер, круглый, румяный, поглядывая искоса, как кот, на соседку, взял немного икры и, поблескивая золотой пломбой на многих зубах, стал нежно прожевывать.

— Дикая степь, скучные недостроенные станции, на станциях полуодичалый народ, ведь это уж целую неделю мы так,— и вдруг у вас точно в оазис попадаем. Вот

вы, говорите, привыкли. К пустыне, к дикой стране, к диким людям нельзя привыкнуть.

— Но Елена Ивановна себя гипнотизирует, уверяя себя, что здесь Эдем,—говорит Дзянковский, через стол глядя учтивыми глазами, в которых наглость.

Елена Ивановна слегка потупилась, с тем же прелестным румянцем, и чуть-чуть сердито нахмурилась тонкая бровь.

— Какие новинки в музыкальном мире? Я совсем отстала от музыки,— обратилась она к толстому.

— Елена Ивановна прелестно играет, артистка.— И в глазах Дзянковского та же наглая почтительность.

Толстый, приподняв бровь, как легаш ухо, словно удивляясь, что наткнулся в трущобе на этот цветок и снисходя к этому нежному румянцу и золоту пышно сияющих волос, начал долго и обстоятельно докладывать обо всех музыкальных новинках, о предстоящем музыкальном сезоне, о восходящих звездах музыкального мира.

Елена Ивановна говорила: «Да, да, да, да... вот как... скажите»,— смотрела на мужа и думала:

«Он лучше, красивее и благороднее всех... Как спокойно и просто говорит с председателем. У этих у всех, даже у наглого Дзянковского, под маской выдержанности — спрятанное лакейство, а Коля, как с равным, нисколько этим не рисуется».

— Нет, в мое время этот пианист не выступал, я не слыхала...

«Но отчего же он, такой благородный с другими, так грязно относится ко мне? Отчего? Разве я не могу нравиться?.. Вот эти оба дурака уже полувлюблены в меня... отчего же он так?»

— Старинную музыку? Да. Она мне ближе, по сердцу больше, чем современная, как-то шире, торжественнее; нет той болезненной напряженности, как в современной. Но...

— Ко мне поступили донесения о забастовке,— говорил Полынову председатель,— красок не пожалели, чтоб очернить вас. Для меня же одно важно — конечный результат. Расстреливаете ли вы рабочих, ведете ли с ними переговоры, делаете ли уступки в известных пределах,— конечно, не это важно. Важно, чтобы к известному сроку из ремонта вышло определенное число вагонов,

паровозов, чтоб правильно шло движение, чтоб поддерживался необходимый ремонт пути. Достигаете вы этого массовым расстрелом — великолепно, находите выгодным пустить в ход переговоры, уступки — превосходно! Только конечный результат,— остальное меня не касается.

— Да, но речь идет о людях, а не о машинах, не о зверях...

Зимнее солнце сквозь искрящиеся морозные окна ложилось на лица, на одежду, на скатерть, на посуду.

Лакей с напряженно-победным лицом выхватывал, глазом не успевали моргнуть, тарелки, моментально ставил новые.

«Не лыком шиты... А то — степь, необразованность! В «Большой Московской» не лучше подадут».

Он был когда-то в Москве официантом в большом ресторане, за пьянство выдворен и, спускаясь все ниже и ниже, попал, наконец, сторожем на глухую, вновь строящуюся станцию. Теперь, облеченный во фрак, белый жилет и белоснежные нитяные перчатки, тряхнул стариной, обдавая гостей перегаром.

Полынов поднял глаза. Через стол с другого конца глядели два серые, полные странного внимания глаза. Он не узнал этого когда-то нежного, полного любви лица, нахмурился и опустил глаза.

«Но в чем же моя вина? Ведь в том, в чем она меня обвиняет, нет и не было, никогда не было ни малейшей вины. Зачем же эта мука, это взаимное поедание?..»

Как в смертельной болезни, незаметно высасывающей человека, больной ходит, работает, говорит, смеется и все думает: «Обойдется, вот начну лечиться как следует, возьму себя в руки, на время все брошу — и тогда поправлюсь, и все пойдет по-старому»,— и вдруг ахнет: смотрит в зеркало, а там — смерть; щупает себя, осматривает тело, уже нечему поправляться,— так Полынов, когда глянул на Елену Ивановну, на нее, молодую, нежную такую, обаятельную для этих мужчин, которые не знали их жизни, ахнул — того, что было, уже ничем нельзя поправить, стояла смерть их отношений.

Но как в смертельной болезни, как бы человека ни убеждали, какие бы неумолимые доводы ни приводили, что конец, что ничем уже себя не спасешь,— больной с тем же упорством, с тем же невытравимым отчаянием

надежды хватается: «Вот только возьму себя в руки, вот только серьезно займусь лечением...» — так Полынов хватался за спасение своей личной жизни.

Ведь эта женщина принесла ему счастье; то счастье, которое не замечаешь, как свой глаз, как свое тело, как ум, которое — все, когда потеряешь. И разве он не понял, что выше страсти, выше красоты та интимная, ничем не заменимая близость к женщине, все значение которой он только теперь понял и так расточительно тратил, не ценя прежде?

— Мне нужны люди дела, упорства, люди определенной несокрушимой воли, а не разговоров,— говорил председатель за кофе, а инженеры, делая ему обстановку для делового разговора, оживленно и весело вели собственный, никому не нужный разговор.— Единственный участок, который ведется так, как если бы я вел сам,— ваш. В январе управляющий дорогой подает в отставку: от имени правления предлагаю вам занять этот пост.

Прежде все, что было вне семьи, составляло беспредельный океан борьбы, острой и напряженной, а семья была крохотный островок, интимный и исключительный, где отдых и тепло, и милая скука домашнего очага. Теперь внешнее поле сузилось, потеряло остроту и напряжение, а семья огромно раздвинулась, наполнилась незасыпающей борьбой, покрыла все.

«Глаза ее полны ненависти ко мне...»

И проговорил:

— Я очень благодарен за честь, но вынужден отказаться.

Гримаса презрения, кривя, пробежала по лицу председателя.

Что бы ни делал Полынов — на службе ли; по линии, в канцелярии ли, в разговоре ли с людьми,— позади слов, позади работы, позади обычной служебной заботы, стояло: «А Леля!..»

Казалось, вот только доделаю то или это — и тогда примусь и распутаю этот никем не завязанный узел. Бросить он ее не может? Нет, любит, любит ее и ребенка, не может разрушить семьи. Надо подойти как-то иначе, с другого конца.

— Леля, дорогая моя, хорошо, ты мне не веришь...

— Я тебе верю, иначе бы не жила с тобой.

— Да, но тебя преследует постоянно сомнение.

— Ты меня обманул.

— Постой, ведь не можем же мы жить этой ужасной жизнью. И вот что: я всегда, всегда буду жить с открытой для тебя душой. Все, что я сказал, сделал, где я в данный момент — все ты, все, самые мельчайшие подробности моей жизни будешь знать. Пусть твои сомнения, подозрения постепенно умрут, и снова ты подаришь меня самым дорогим — своим доверием. Тяжело, Леля, сил нет!

— Что ж, все буду знать, а захочешь — обманешь.

Постояла, уронив голову, полуотвернувшись, и вдруг обвила его шею, страстно целуя.

Сторож по нескольку раз стал бегать на квартиру, относя записки, где Полынов рассказывал, где он, что делает, какие идут работы. Если уезжал на линию и задерживался, посылал домой рабочих на дрезине. А когда возвращался, рассказывал обо всем подробнейше, и она слушала, не спуская любящих, благодарных глаз. И это служило наградой.

Но жить становилось не легче, а тяжелее. Постоянно из-за работы, из-за спешности и напряжения надо было помнить, что надо послать известить о себе, где, что и как,— это постоянно тревожило и преследовало. И если пропускал, забывал, или некого было послать — дома ждали слезы, жалобы, мучительные допытывания.

Как-то так сложилось: что̀ он делал для ее успокоения добровольно и по собственному почину — превратилось в обязательность, неизбежную, требовательную и все возрастающую, которую, хоть формально, необходимо было выполнять.

С этих пор сознание вины, не содеянной, но несомненной, повисло над ним. И когда приходил домой, заискивающе и виновато заглядывал ей в глаза, торопливо рассказывал о проведенном времени, стараясь наиболее благоприятно для себя изложить обстоятельства, опуская все, что могло возбудить ее подозрительность. Она это видела и еще больше настораживалась.

— Но к тебе на станцию ведь заходила жена машиниста?

— Ах, да... просила пособие для больного мужа. Просто забыл тебе об этом сказать.

— Ха-ха-ха, забыл... обо всем не забыл, а об этом забыл!

— Но, Леля, скажи тебе, и ты сейчас же тысячу самых нелепых предположений построишь.

— О мой милый, о мой искренний друг!..

Уходили месяцы, уходили годы. В непроходящей усталости тянул Полынов службу постольку, поскольку необходимо было, чтоб держаться, чтоб не уволили.

— Ну, что ж, ладно,— неизменно добродушно отвечал он на все вопросы служащих и улыбался.

VII

Трактир, по обыкновению, разноголосо шумел и гудел, полный народу. Комнаты мутно стояли в табачном дыму, и смотрели черные окна. Между столиками, терявшимися в сизой синеве, бегал запотело-грязный половой, за стойкой управлялся один Захарка, и странно было отсутствие привычной женской фигуры.

Захарка выдает посуду, получает сдачу, нагибается, достает новые бутылки, и все те же неповоротливые, неуклюжие таящие силу движения— все, как всегда; но волчья негнущаяся шея как будто напряженно вытянута все в одну сторону, точно прислушивается сквозь говор, шум и крики, сквозь табачный дым к иному, вот-вот готовому вырваться из дальней комнаты, отдельному, ни на что не похожему крику.

Прислушивается. Но все тот же говор, дым, плеск голосов, звон посуды, все те же знакомые, усталые, потно-пьяные лица кругом.

— Пару пива!

— А с меня за водку получи.

— Ай!.. Ай!.. А-а-а!..— пронизал напряженно ожидаемый, ни на что не похожий, пронзительно страшный крик.

Быстро сбежала с лица Захарки багровость, и медленно поползла пепельная мертвенная безжизненность.

Показалось, будто воцарилась мгновенная тишина в неподвижном дыму, и Захарка раскрыл рот, давая выход остановившемуся дыханию, и весь повернулся, как кабан, которого ранили.

Нет, это из бильярдной донеслось пронзительно:

— На-пра-а-во в лузу-у!.. Суку твою ма-ать!..

И Захарка, чувствуя, как отлила туго давящая кровавая волна, проговорил низким, вдруг хриплым голосом:

— Четыре копейки сдачи,— и ловко бросил плашмя.

Ему кажется, что сбросил давившее ожидание, но опять начинается то же: низко опустив брови, из всех сил старается тяжело погрузиться в эту привычную обстановку, в этот пронизанный табачным дымом шум, говор, брань, песни; но новая волна напряженного ожидания уже зарождается, уже встает, уже подымает его над этой шумливой, крикливой жизнью по направлению к тому готовому каждую минуту пронзительно прорваться крику, о котором эти пьяные, горластые никто не знает.

Захарка глухо не то стонет, не то рычит, с раздувающимися ноздрями оглядывая мутно плавающие в дыму потные головы и красные лица.

— Э-е... о-э-э... о-э-э... э-э!..

— Мил чела-эк... потому... в середке все-о одно не поймешь... дай я те... обыму... Ппа-ру пи-ва-а-а!..

Захарка не выдерживает, бросает стойку и идет, такой же тяжелый, волкообразный, и, когда притворяет за собой дверь, шум трактира точно придавленный, мечется глухо и мутно. Спускается по лестнице; ступени тяжело скрипят.

«Рассохлись, сбить надо велеть».

По коридору вдали красно глядит прибитая к стене коптящая жестяная лампочка. Всюду смутные сторожащие тени. Он идет мимо дверей, за которыми девки. Оттуда то хриплый смех, то грязная брань, то на минуту водворившаяся тишина, и опять то же.

За одними дверьми что-то неладно; слышится топот, стук опрокинутого тела и тяжелые удары: хапп! хапп! хапп!.. И вдруг вырывается резкий крик:

— Ай-а!.. Ра-а-туйте!.. Уби-ва-а...

Чей-то бубнил пьяный голос, и все доносилось: ххапп! xxxапп!..

— Ра-атуй-те-э... а-а-а... ой-ей-ей...

Захарка останавливается.

— Убьет, дьявол. И куда Пашка провалился! Тоже дурака пусти, всех разгонит.

Он постоял. Крик перервался, только глухо: ххапп... ххапп!..

Из других дверей выглянули полуодетые женщины, а из-за них лохматые головы мужчин.

— Чего такое?

— Ничего, не вашего ума дело.

Захарка прошел коридор, потом чуланчик и остановился перед дверью в свою половину, в отдельную комнатку, где была Кара. Сдерживая тяжелое дыхание, вытянул негнущуюся шею. Из-за двери сдавленно прорываются смятые стоны, только не такие, как те крики в коридоре.

И, подавляя подымающийся ужас, потянул, и дверь, скрипнув, отворилась.

Кара уже много часов лежит с раздувающимися ноздрями, судорожно комкая грязное ситцевое одеяло. Когда боли подступают, она забирает угол подушки в рот и глухо мычит.

Из-за стены пьяно и рассолодело доносится:

— Об любве как понимаешь?..

— Цыц!.. Пей, кобыла...

В комнате мать и повитуха. В углу дрожаще светится лампадка; в мигающей мгле шевелятся лики образов: повитуха возится с тряпками, а мать...

Нет, это не мать, это какая-то другая, незнакомая женщина. Она подходит к кровати, большая и толстая во тьме, и беззвучно хихикает легким обрадованным смешком:

— Хи-хи-хи... Муж далече... Без мужа можно... мужа-то, его жди... хи-хи-хи!.. С кем-то молодка ночевала, милому бороду расчесывала... Хи-хи-хи!..

А из-за стены:

— Ой, щекотно!..

И опять:

— Хи-хи-хи... дружка выбрала молоденького, небось... или старого?.. Позарилась... старые бывают прытче молодого...

Боли схватывают. Опять забивает рот подушкой и мычит, как прикрученное веревками животное.

В мелькающей мгле повитуха все так же возится, и за стеной говор, и все тот же хихикающий смех бес-

сильно-злой радости. От нее пахнет водкой,— Захарка один не уследит, и она утаскивает бутылки. Ее не узнать — эту забитую, покорную женщину, для которой одно — напиться досыта белого спитого чая вприкуску.

Дверь со скрипом разинулась, просунулся смутный гул и темный человек с негнущейся волчьей шеей.

В то же мгновение схватили ни на секунду не отпускающие звериные боли; все заслонилось, и, уже не борясь с ними, она стала кричать незнаемым бычьим голосом, которого никогда в ней не угадать бы.

Это продолжалось безумно долго, казалось — без конца дни и ночи, потом разом все прекратилось. И в наступившей тишине, и в мигающей пепельной мгле повитуха с чем-то возилась на кровати.

— Сынок... с сынком...

Незнакомо раздался беспомощно-вякающий младенческий плач.

Над Карой, все больше и больше наклоняясь, вырастало каменное лицо и толстая воловья шея.

Глаза Кары приобрели никогда не испытанную остроту, и теперь среди мигающей пепельной мглы она отчетливо различает до мельчайших подробностей это страшное, такое чужое теперь лицо — выступившие круглые глаза, пепельная бледность и прыгающая борода с ляскающей нижней челюстью. А перекошенные губы судорожно сводятся, выдавливая:

— В... вво... вот ни... ничего... теперь, в... всё...

Пепельность лица и прыгающие челюсти подняли в ней волну неодолимого омерзения. Ее приподняло, как судорогой свело, и, чернея ямами провалившихся глаз, она, что было силы, плюнула в это лицо.

— Уй-ди-и-и!..

А в мигающей мгле стоял мелкий, злобно боязливый смешок да беспомощно-жалкое вяканье, и из-за стены доносилось:

— Шею те пополам скручу... цыц!.. Пива...

Он давно ушел, а она все кричала исступленно:

— Уй-ди-и-и!..

— Хи-хи-хи... ай не люб?.. Сынка, сынка родненького хотел посмотреть... забрыкалась... хи-хи-хи...

— Уй-ди-и-и!..

Он давно ушел, а прыгающая челюсть и пепельная бледность искаженного лица стояли безумно ярко, не

потухая, и омерзение, липкое, заливающее, как блевотиной, заволакивало все, что было кругом, все к чему прикасалось, что звучало и выделялось в трудно озаренной мерцающей мгле.

На третий день Кара встала,— Захаркино хозяйство не ждало.

Снова в говоре, в дыму плавают головы, красные распаренные лица, и между ними, белея, ходит, подает, принимает бутылки, посуду маленькая фигурка с надменным, смертельно-бледным лицом, и нет на нем улыбки, и это почему-то особенно жутко, а из черно-провалившихся глаз пылает неугасимая ненависть, и у всех прикусываются языки. Пьяная брань, шум, площадные слова — все плывет мимо нее, не относясь к ней, не задевая ее.

Захарка сдает сдачу, получает, выдает бутылки и смотрит мимо, никогда не подымая на нее глаз, чувствуя к себе в этих темно-провалившихся глазах ненависть и омерзение.

Но не только у нее, он прислушивается и у себя к подымающемуся чувству отвращения. И по целым дням они работали бок о бок, не проронив ни слова, не подымая глаз, как два смертельных врага.

Все по-прежнему, только изредка доносится слабое вяканье.

Водяночная женщина возится с ребенком, суя ему в рот грязную тряпку с прокислым молоком.

— У-у, выродок!.. Отродье поганое, ну, трескай!.. Ба-а-а... ба-а-а... ба-а-а...— спи, тебе говорят, иродово семя!.. Ба-а-а...

Над грязной, вонючей от прокислых пеленок люлькой всегда висела только брань, обидные горькие слова, и никогда не прозвенело материнской ласки, никогда не блеснуло слезы материнского горя, материнской гордой улыбки, не прозвучало вздоха неповторяемой радости.

А он только вякал, да сучил прелыми, грязно-пахнущими ножками, да тускло глядел еще запухшими, как будто долго спал, глазами. Но, когда ворочался ночью и напоминал о себе, как заброшенный котенок, рыхлая, одутловатая женщина сейчас же, кряхтя, подымалась в темноте, совала соску в беззубый круглый рот, вечно раскрытый в мокрую гримасу плача, или брала на руки и, качая, пела засыпающим голосом:

Ба-а-а... ба-а-а... спи-и... усни-и-и...
Бесо-во-о-о... отро-одье-е...
Ба-а-а!
И не-ет те-бе ни-и о-тца, ни-и ма-а-те-ри, ни-и анге-ла,
Ни-и го-спо-дня бла-го-сло-венья...
Ба-а-а-а!

И он засыпал.

Эта одутловатая водяночная женщина, которую постоянно томило одно желание — напиться вдоволь жиденького чая вприкуску, приобрела в доме какое-то тайное значение и силу. Так же ее никто не замечал, но когда выносила и развешивала, горбясь, мокрые пеленки во дворе, как бы говорила:

«Ага, вот и у меня дело... Послушайте, вы... Молчите?.. Прикусили языки!..»

А встретившейся раз в коридоре Каре кинула вслед не особенно громко, но так, что та слышала:

— У-у-у!..

Кара гордо пронесла свою бледную голову, как проходят мимо придавленной безопасной змеи.

Однажды одутловатая женщина с невинным видом принесла ребенка, завернутого в тряпки, в горницу, где пили чай. Захарка открыл округлившиеся глаза и, заикаясь и с усилием преодолевая слова, заревел диким зверем:

— Во-он!.. Чтоб духу твоего не было... падаль!..

Та, горбясь, засеменила с ребенком из комнаты.

— Хи-хи-хи-хи-хи!..

Сквозь крутившуюся злобу, сквозь липнувшее ко всем отвращение беспомощно, ничего не прося, звучал плач ребенка.

По ночам Кара просыпалась в холодном поту и молча раскрытыми глазами глядела в темь. Хотя спала она далеко и не могло быть слышно,— чудилось беспомощное, ничего не просящее вяканье.

И стоит неподвижное воспоминание не то действительности, не то сна. Теплый комочек мокро тычется в грудь. Кара жалостливо присматривается, и у него, к ужасу, проступает огромная трясущаяся челюсть и старое каменно-пепельное лицо с вылезающими глазами.

Тогда она с омерзением, с неподавимым ужасом отдирает эту челюсть, выдавливает вылезающие глаза, стирает пепельность лица, и снова маленький теплый ко-

мочек, беспомощный, заставляющий трепетно биться сердце материнскою жалостью.

Она протягивает руки, и блестят слезы неиспытанного счастья, но опять растет тяжелая старая челюсть, набегает серость на лицо, выступают большие глаза с морщинками по углам.

Стуча зубами, в холодном поту, она садится на постели, часами сидит и смотрит в темноту, и нет слез, нет крика, не выплакать.

Приходит день — все то же. И что бы ни делала, куда бы ни шла — всюду это немеркнущее представление детского беспомощного тельца, с огромной челюстью и старым каменным лицом на воловьей шее.

Залегали осенние сумерки, как это делали они каждый день. В комнатах терялись предметы. Наверху в трактире уже просыпались голоса. По не освещенной еще лестнице подымались, сморкаясь и покашливая, одинокие фигуры. Девки у себя по комнатам причесывались, готовясь.

Захарка шел по коридору зажигать лампочку и вдруг остановился: под лестницей в полумгле блестели два глаза. Присмотрелся — Кара. Она странно и неподвижно стояла в неугадываемом ожидании.

Смутная тревога проползла у Захарки — не то что-то нужно было сказать ей.

И в первый раз почувствовал: надо сказать ласковое; но не успел и метнулся: тупо блеснувший в руках Кары топор с размаху перехватил вверху ступень лестницы и остро въелся, лишь мелькнули оторвавшиеся от рукоятки руки Кары.

Захарка, играя мускулами щек, не упуская ни одного ее движения сторожким звериным взглядом, подошел.

— Ну... тты... брось!..

Выдернул и швырнул под лестницу топор.

— Змея!..

Кара точно сделала последнюю попытку, словно обессилела, повернулась, пошла.

И засмеялась.

— Лучину к самовару хотела наколоть...

Пришла и ушла зима. Коротко зазеленела и сожглась степь — и уже бурая, сухая, пыльная, и мгла над

ней, белесая, тонкая, без границ; горячие ночи, палящие дни.

Кара, повязав белый платочек, бросив недоделанное дело, торопливо, точно убегая, идет по поселку, глядя под ноги, а над поселком вечно виснущая, непроходящая, как непроглядно огромное облако, пыль. Вздымая ее, едут телеги, брички, идут с вечерней степи коровы, пережевывая горькую полынную жвачку.

Улицы остались позади. Посвистывают паровозы. Монотонно тянутся в несколько рядов железнодорожные домики для служащих. Как один, кирпичные, низенькие, с красными крышами. Веет скукой, однообразием и подчиненностью, и на дверях крупные арестантские номера.

Но у семейных бабы повесили в окнах занавески, смотрит герань, а у крылец разбили огороды: по три кочна капусты, посадили зарю, да по воткнутой палочке вьется повитель. Тут же на веревках сохнут пеленки, выстиранное белье.

— Где тут триста сорок пятый номер будет?

— А вон.

Кара входит в чуланчик.

— Иван Матвеевич дома?

— А? Кто там?

На минуту выглянула красиво-лохматая голова Волкова, и ворот рубашки у него расстегнут.

— А-а, вот неожиданный гость! — Он спрятался опять.— Кара Захаровна, очень рад, страшно рад... Одну минуточку подождите... сейчас... с дежурства только вернулся...

Слышно, как плескался и фыркал. Кара стояла в чуланчике, и сердце билось. Потом, слышно, шуршал, одевался, переставлял что-то, должно быть прибирал в комнате.

— Ну, жалуйте, жалуйте... рад...

Он задержал в своей широкой большой руке ее маленькую руку.

— А я сейчас самоварчик вздую.

— Не надо, Иван Матвеевич, я... я на минутку...

Бледные щеки пробились тонким румянцем, и от этого в темной глубине глаз засияли искорки.

— Ну нет. Вы сколько раз мне служили, послужу и я вам.

«Фу, черт, да какая же она хорошенькая!»

Руки дрожали, и он, не попадая и срываясь, колол в чуланчике лучину около вытрушенного и налитого самовара.

Кара присела на стул. Комната небольшая, без занавесок, но вся аккуратная, чистоплотная. Опрятная кровать, фотографии на стене, стопочка книг, чернила, перо, платье, завешенное на стене простыней.

— По-холостецкому живу,— говорил Волков, ставя на стол маленький самоварчик на трех высоких паучиных ножках.

Глаза блестели.

Он аккуратно заварил чай, достал из чемодана чистое полотенце, вымыл, тщательно вытер, в порядке расставил посуду и из маленькой баночки положил в блюдечко несколько ложек варенья.

— Хорошо у вас тут... А у нас-то...

Он видел — длинные густые ресницы покрыли на минутку темные глаза. И, справляясь с собой, заговорил:

— Придешь с дежурства, один тут, все сам сделаешь: и самовар поставишь, и комнату приберешь, когда и обед сваришь...

— Вы и обед готовить умеете? — И любящая, сближающая улыбка осветила нежный румянец и блеск глаз.

— Нашему брату, пролетарию,— вдохновенно заговорил Волков, отбрасывая со лба волнистые волосы,— нужно все уметь. Мы — люди черной рабочей руки. У нас нет источников дохода и прибавочной стоимости, которые сосут разные белоручки, баре и эксплуататоры. Потому, Кара Захаровна,— грядущее царство есть царство пролетариата. Это не у нас только, по всему миру...

Он совсем близко сел около нее, чувствуя ее дыхание. Налил чаю в стаканы.

— Кушайте, Кара Захаровна, вареньице.

Взял за руку, взглянул в опущенные темные глаза, в раздражающий румянец. Она быстро дышала.

— Кара... Карочка!..

И, как бы говоря «теперь уж... все равно», обнял большими сильными руками ее, гибко перегнувшуюся, как тавлинка, поднял и, целуя, щекоча свисшими ей на лицо волосами, шагнул к кровати.

Она выскользнула тонко, как змея, соскользнула на пол и, зарыдав захлебывающимися рыданиями, припала к его руке.

— Родной мой... Господи!.. Иван Матвеевич... да ведь я... о, боже мой... господи!..

Он разом остыл. Но не это молящее сопротивление — оно только разжигало,— а глянул и не угадал помертвелого лица: бледное, темно-провалившиеся глаза, и не было улыбки, той бледной улыбки невысказанного цинизма, которая очерчивала эту женщину в трактире этой всех раздражающей и обещающей недоступностью.

Она целовала, обливая слезами, его руки, а он конфузливо прятал их в карманы.

— Успокойтесь... Да вы сядьте, Кара Захаровна... Кара Захаровна... не нужно этого... Э-эх... Ну, что...

— Родной мой... все... все буду делать... прислугой, судомойкой... стирать, смотреть за тобой... глаз не буду спускать... один ты у меня... Только за мной грех... не могу сказать... сейчас не могу... язык не повернется... Один ты... ведь один... не к кому больше... Пошлет господь деток от тебя... смотреть буду, изведусь вся, доглядать буду... выращивать... Ваня!.. Одного тебя... давно люблю... не смела сказать... Ванюшка, не найдешь другую... как собака буду... потом все про себя расскажу...

Она ползала, целовала его колени, моча слезами.

Он с брезгливой жалостью отступал. Потом усадил на стул, откинул со лба волосы и заговорил, перебивая ее плач:

— Кара Захаровна, я — представитель пролетариата. Я придерживаюсь принципов. Жизнь моя обязана идти по руслу, как мое положение велит. А слово «пролетарий» — священное слово, Кара Захаровна. Из-за него люди идут в Сибирь и даже жизнь отдают, Кара Захаровна. Вы же замужем. Сами понимаете, был бы подлец, если бы сделал вас своей наложницей. Кабы не замужем, женился бы...

Кара все ниже и ниже клонила голову со сбившимся платочком, с пробором среди темных, густо сбегающих волос, и заглушеннее становились рыдания.

Он стоял над ней, глядел, как вздрагивает тоненькая, гибкая фигурка, такая беспомощная, просящая и отдающаяся в своей беспомощности.

«Эх, индюк, слюни распустил!..»

— Кара Захаровна!.. Карочка!.. Ну, родная...— И потянул ее гибко послушное тело.

Она подняла голову, и на него глянуло лицо с опустившимися углами рта, с дергающимися губами, которые она все пыталась и не могла закусить, помертвелое, заплаканное лицо женщины, на котором — неудовлетворенное материнство и измученность.

И опять холодность и брезгливая жалость охватили.

— Ну, будет... довольно... надо же успокоиться...

Она надвинула на глаза платочек и, не сказав ни слова, вышла.

Все тот же неоглядный палимый простор. Далеким маревом облеглась степь и без границ потонула.

Без конца тощий, пыльный, не скрывающий иссохшую землю корявый полынок, небритые, щетинистые жнивья или постаревшие, усталые пашни, все свои родящие силы отдававшие урожаю.

Горячий степной ветерок звенит играя. Прихватит насмешливо пыль и соломинки по дороге и побежит, тонко и серо крутясь. Туда нельзя бросать нож — брызнет кровь. Или высоко, до самого неба, вздыбит черный столб, и ходит он, далекий и смутный, напоминая пожар, пока не рассеется.

Ветер бежит, играя, все в одну сторону, а облака, ослепительно белые, с серыми пушистыми брюшками, странно бегут в другую сторону, и внизу вместе с ними бегут их плоско-изменчивые тени.

Далекой прерывистой черточкой тянутся волы и возы с хлебом на тока.

Нескончаемым и странным караваном мерно ступают друг за дружкой, взрывая пыль, верблюды, запряженные в двуколки. Огромные, в рост человека, колеса все покрывают раздирающим скрипом, и горбы свешиваются на стороны, как опорожненные мешки. На степную ярмарку везут товар, и пыль плывет за ними.

Прозвонит колокольцами на тройке заседатель, в парусиновом халате, сердито нахлобученной посеревшей фуражке; и замрет вдали звук, оставив над дорогой уносимую пыль.

Калмык стороной проскачет на горбоносой лошади, оглядывая узкими глазами — кобыла забежала из табуна. И опять ветер, да облака, да знойный простор.

Неотделимо связываясь с этим зноем, с без конца бегущими облаками, с играющим ветром, видна по дороге женская фигура, в лохмотьях, с почернелым от солнца, сквозящим в изорванной рубахе телом. Ноги пололись, вспыливая горячую дорогу, непокрытая голова посерела от густо набившейся пыли, а огромные чернопровалившиеся горячечные глаза на нечеловечески исхудалом лице с безумной жадностью ищут и глядят вдаль по нескончаемо пропадающей извивами дороге. Шепчут иссохшие, истрескавшиеся губы, показывая липкие десны:

— Господи Иисусе, спаси и прокляни грешницу... Разрази громом-молнией... разруби зубы волчиные...

Неоглядное желтеющее лицо степи то засмеется, залитое солнцем, то потемнеет бегущей тенью.

Отдаленно курится легкое курево — стоит молотьба на токах. Плавают широкими кругами рыжие коршуны, зорко поглядывая, и по жнивью, бесчисленно чернея, грачи.

И женщина вдруг засмеется. На костлявое лицо с провалившимися глазами мелкими морщинами ляжет дразнящая улыбка, и сейчас же потемнеет, набежит судорога, дернутся вниз углы губ, и всхлипнет.

Опять торопливо спешит по пыльной горячей дороге неведомо куда. Не отрывает воспаленных зноем, блуждающих глаз от лиловой, вечно отступающей черты, где могуче слились синий океан неба и синий океан степи,— и бегут по небу белые облака, и бегут по степи темные тени.

Там тихонько отделяется полоска земли и блестит узенько протянувшаяся вода. А над ней, смутно рисуясь, проступают синеватые силуэты верб, ветряки, крыши. И все это — живое, зыбкое, неуловимое, и сами собою ускоряются шаги к людскому жилью.

А синеватые вербы, ветряки, крыши постоят немного, помутнеют, тоненько отделятся от земли, призрачно подержатся в воздухе и тихонько, без следа растают в знойной игре, и лишь легкие курева курятся, плавают коршуны, чернеют грачи, и меняющаяся степь безгранично глядит в бегущее небо.

— ...разруби зубы волчиные... прокляни и спаси грешницу неотмоленную... Иисусе... Иисусе...

И засмеется.

Катится телега, бегут, мотая головой, сытые маштаки, катится, окутывая их, пыль, лежит на брюхе работник с черно-загорелой шеей, и в пыли вместе с телегой бежит скучная, сонная, как эта далекая степь, заунывно-одинокая песня:

...Ай-да-а-а... де-е-ев-ка-а... де-е-е-воч-ка-а...
Бе-ез ро-о-о-ду-у бе-е-ез пле-е-ме-е-ни-и...
Го-о-рь-ка-а-я го-о-о-ло-ву-шка-а-а-а...

С удивлением видит странную, непокрытую, нечеловечески исхудалую, сожженную солнцем женщину в лохмотьях. Она кричит, исступленно махая черными от загара руками:

— Куда бежишь?.. Ой, постой, беси за колеса цапаются!.. Бей грешницу!..

Тот смеется и, лениво напруживши крепкую руку, вытягивает ее кнутом. Женщина с радостно визгливым не то смехом, не то плачем отскакивает, хватаясь за обжегший рубец, а телега уже далеко, и из клубов бегущей пыли несется, умирая:

Го-о-рь-ка-я го-о-о-ло-ву-уш-ка...—

умирая, как этот далекий безграничный простор в фиолетово-млеющей дали.

Та же бесконечно серая дорога. Торопливо вспыливают ее истрескавшиеся ноги. Тяжело пылающее солнце перевалило на другую половину неба, не умаляя зноя. Лишь бегущие облака на секунду обессиливают его.

Гусиные выводки, как пушинки, белеют и сереют, такие маленькие перед громадой степи. Пятном темнеют терны, и сидит девочка с хворостинкой, а в косичке красная ленточка.

Женщина в лохмотьях останавливается и кричит исступленно:

— Бей грешницу!..

Девочка бросает хворостинку и с плачем бежит, мелькая босыми ногами, а по тонкой загорелой шейке бьется косичка с красной ленточкой.

В балке — хутор. Поверху — ветряки, неподвижно отвернувшиеся от ветра. По пересохшей речонке внизу огромные вербы левад; из-за вишенника лохматятся соломенные крыши.

Никого — все на молотьбе. На улицах только зной, куры да собаки, лежа в тени, лениво цокают мух, да ребятишки, сидя на припеке, разгребают и играют в пыли.

Измученная, с иссохшим черным лицом, в лохмотьях, женщина кричит ребятишкам:

— Бейте грешницу... бейте ее, непрощенную...

Ребятишки обрадованно вскакивают и запускают в нее камнями и комьями, норовя попасть в голову. Она бежит, летят ребятишки, улюлюкая, несутся собаки, остервенело лая, и камни срывают кожу, оставляя пятна густых синяков.

Подымается окошко, и шамкающий голос:

— Брысь вы, пострелята!.. Ужо я вас!..— и протягивает старческой дрожащей рукой кусок хлеба.

Та хватает, запихивает за пазуху и бежит, преследуемая стаей ребят и собак.

Далеко назади балка с хутором, и ветряки маленькие сделались, а она идет и спешит по пыльной горячей дороге, не отрывая горячо-ждущих глаз от знойной, трепещущей дали, где обманчиво родятся и тают хутора, и деревни, и люди, родятся и тают марева. И курятся курева, и плавают коршуны, и глядит необъятный степной простор в необъятно синеющее небо с бегущими облаками.

Великая степь поглотила великую грешницу.

Те, что жили в поселке, забывали, что есть степь, что она огромна, молчалива, лежит вековечная дума неразгаданно, что там своя жизнь, и людская и звериная. Торопливая толчея наполняла каждый час, и кругом, заслоняя, стояли дома и мазанки. А плотничьи артели, стуча топорами, выводили все новые дома. Мазанки разваливали, готовя места под срубы, и стояли столбы не оседающей под ними пыли.

Захарка тоже не помнил, что есть степь и что она громадна.

Когда спрашивали:

— Где же находится Кара Захаровна?

Он ронял:

— К мужу поехала.

— Да никак муж ейный, сказывали, помер.

— А тебе какое дело!.. Что суешься не в свое!..

И целый день ходил злой, не поворачивая шеи.

Огромное хозяйство на ходу и тысяча неотложных дел делали свое и заметали прошлое. Но совсем извести его Захарка не мог.

Ругался ли с рабочими, принимал ли товар, в лавке ли резонился с покупателями, между мыслями, разговорами, заботами, как тонкое острие с зазубринкой, стояло напоминание, смутное, неясное и нетревожимое, пока не взглядывал на мальчика.

А когда взглядывал, всегда он стоял на кривых ножках, хилый, золотушный, сопливый, с огромной бледной головой, плохо держащейся на тонкой шейке, со свисшим назад затылком и выпятившимся над глазами черепом. А глаза всегда круглые, удивленные, и палец во рту, и всегда смотрит на деда. Это раздражает, особенно большие желтые уши, плоские и сдавленные виски с боков.

Мгновенно является брезгливо-раздраженное желание пнуть ногой, отбросить с дороги, как запаршивевшего щенка.

Захарка злобно кричит:

— Эй, уберите его!..

Торопливо раскачиваясь на толстых водяночных ногах, испуганно спешит старая женщина, с усилием подымает на руки и, дав шлепка, уносит его, беспомощно плачущего.

Но и в этом испуге, в ее вздутой спине, как бы нарочитой торопливости, даже в плаче ребенка ему чудится беззвучный, никогда не потухающий смешок:

— Не люби-ишь?!

Хотелось, скрипнув зубами, с размаху дать ей по шее, топать ногами, гнать, но не было внешнего повода и, как всегда, старуха была безответна, униженна. Хлопнув дверью, он уходил в лавку и забывал, пока снова не попадались эти не по-детски внимательные круглые глаза на огромной золотушной голове, плохо держащейся на тонкой шее, и палец во рту.

Среди работы, среди отдыха, среди новых забот и дум о постройке дома, о тесовых воротах, всей абселюции Осип не заметил, как подошел срок. Захарка не-

сколько раз оттягивал, наконец назначил на восемнадцатое.

Над базаром непроходимо стояли гомон и пыль; глядели вверх, подняв оглобли, возы с виноградом, помидорами; на земле высились горы арбузов, дынь, всюду валялись арбузные корки, и в пыли, блистая сочностью, ярко краснело выроненное на дороге, разбитое арбузное мясо.

Горячее, полное пыли небо говорит, что еще много солнца, не израсходована знойная сила; полна виснущей пыли степь, и бесконечно тянутся на станцию, скрипя в окутывающих серых облаках, обозы с нововымолоченным хлебом.

Осип шел к Захарке сосредоточенно, в чистой ситцевой рубахе — только что был в бане. Сегодня не пошел на работу, весь полный торжественного ожидания, которое совпадало так с этим жарким августовским днем, наполненным золотой пылью, гомоном, скрипом, запахом дегтя и грудами вызревших плодов земных, которые так щедро родила блаженно уставшая к концу от безграничного материнства степь.

Казавшееся далеким и смутным, вдруг без промежутка придвинулось и стало возле — дом, тесовые ворота и... новая хозяйка с бледным, раздражающе зовущим лицом и раздражающей улыбкой.

Когда вошел в лавку, Захарка и приказчики отпускали покупателям товар.

Чудно показалось Осипу, что и Захарка, и приказчики, и покупатели как будто не видели его, но, главное, не видно никаких признаков торжественности на их лицах, как будто сегодня было не восемнадцатое число.

— Захару Касьянычу!

А тот, не оборачиваясь, глядя на него красной негнущейся воловьей шеей, бросил угрюмо:

— Чего?

Опять странно удивил этот вопрос, как если бы на пасху спросили: почему в колокола звонят?

— А как же, нонче же восемнадцатое число,— и, улыбаясь всем своим огромным ртом, и лицом, и фигурой, добавил: — да еще и августа.

— Знаю.

— Так вот произвесть расчет и насчет капиталу и насчет проценту. По закону, как есть.

— Законник!

И Захарка вдруг, повернувшись и обращаясь к мужикам и мещанам, наполнявшим лавку, бросил:

— Во, законник... по сту процентов гладит и не поперхнется...

— Ну-к, что ж, заработанные. Хребтом, потом.

— Иди за мной.

Они пошли. Осип было свернул на лестницу наверх, но Захарка цыкнул:

— За мной, сказываю!

Осип тяжело зашагал за ним. Все было странно, както по-необыкновенному. И Захарка молча, не поворачивая бычачьей шеи, вел его во двор. И хотя удивлялся Осип, думал: стало быть, так и надо в этот особенный и не похожий на другие день.

— Что-то не видать Кары Захаровны?

Захар не ответил.

Прошли мимо конюшни под навес.

Под навесом стоял шум и галдеж. Человек семь здоровенных мещан, распаренных и красных, с засученными рукавами на волосатых руках, пили водку, стучали по дощатому столу, а под столом валялись пустые бутылки.

Опять удивился Осип и опять подумал: стало быть, так и надо в этот торжественный день.

Мещане замолчали и глядели на Осипа красными, как говядина, глазами.

— Рассчитываетесь? Доброе дело, вот и я за этим за самым. Доброго здоровья!

И он благодушно приподнял картуз. Сегодня все казались добродушными и расположенными друг к другу, но ему не ответили.

Ласточки, мгновенно чертя воздух черным крылом, влетали с коротким чиликаньем под навес, и бестолково, назойливо и суетливо липли мухи, говоря, что еще — их время, еще зной, некогда, и надо торопливо делать свое дело.

Захарка прошел в угол за загородку из толстых досок, повернулся и глянул на Осипа исподлобья злыми кабаньими глазками.

Опять удивился Осип и опять подумал:

«Стало быть, так и надо».

Лицо его огромно разъехалось в широчайшую благодушную улыбку:

— Вы, Захар Касьяныч, как телок в закуте.

Но Захар, зло глядя, спросил:

— Так тебе чего?

Осип заколыхался всем огромным телом от поднявшегося смеха.

— Шутники вы, Захар Касьяныч.

— Чего тебе, говорю? — сурово оборвал Захар.

— Восемнадцатое, да еще и августа. Вы мне и капитал и проценты, все уж отдайте, строиться буду. На сруб лесу приглядел.

— Ты говори толком, какие проценты?

Осип перестал улыбаться.

— За... Захар Касьяныч... а... а... двести целковых, что взяли.

— Сколько же тебе процентов?

— Чего же вы спрашиваете, сами знаете. Как говорили. По пятерке на сотню в месяц.

— Та-ак. Шестьдесят годовых!..

И он побарабанил толстым пальцем по доске.

— Здо-орово!..

— Ло-овко!..— И лица мещан стали потны.

Поднялись и сгрудились. Опять показался Липатову весь сегодняшний день ужасно странным.

— Ну, да, ведь по векселю, стало быть, расписка, по закону. Тут уж известно... по суду.

Злой и сделавшийся вдруг тонким голос Захарки заметался под навесом, и ласточки опрометью кинулись вон.

— Ах, ты, моченое рыло!.. вша!.. бурдюк!.. сосет кровь из крестьянского люду... шестьдесят годовых!! а?! да ты сунься в суд. Знаешь закон: за ростовщичество на девять месяцев в тюрьму!.. сгною тебя в тюрьме.

Складки смеха остались около рта Липатова, но он не смеялся. Глаза тянулись к Захарке, и на начавшем багроветь лице страдальчески и с усилием стала выдавливаться тяжелая, неповоротливая мысль. Нужно было перевалиться через черту, которая оборвала его ожидания, мысли, весь строй жизни и за которой чудовищно лежали обломки его хозяйства, и он никак не мог перевалиться.

— Проце-енты! А про то забыл, сколько набил да наломал у меня в трактире? Все, брат, записано, все до копеечки, до последней рюмочки, до последней щепочки. Ты что же, про это забыл?

И он стал высчитывать по бумажке:

— Слухайте, будьте свидетелями. Две дюжины стаканов по три рубля дюжина — шесть рублей; десять дюжин рюмок по рублю тридцать пять — тринадцать пятьдесят; пять столов... зеркало...

И опять с застывшим смехом на несмеющемся лице, с просыпающейся в глубине глаз недоумелой звериной силой Липатов проговорил, не сразу выговаривая слова:

— Во как вы... видал?!

— А то проценты!.. Стало быть, наколотил да и к сторонке.

Мещане загалдели:

— А-а, процентщик!.. Народ обирать... Которые трудются, а он ссётъ!..

Рыжий, распаренный, с мокрыми волосами, с двумя черными дырочками вместо носа, один из них тяжело дышал перегаром в лицо Липатову и гундосо шипел:

— Зме-ей!.. Обиратель!.. Нутро все вынул у народа...

Он не кончил. Уже совершила оборот тяжелая и странная мысль в голове Липатова, и красный, с дырочками вместо носа исчез,— ахнула земля от ударившегося тела, и затрещали доски перегородки.

Захарка закричал заячьим голосом:

— Выруча-айте, православные!.. Убьет!..

И Липатов пошатнулся — в черепе потемнело, точно проломили его.

«Ай... гирями?..» — И повернулся, как медведь, чтобы вышвырнуть — они ему не нужны были.

Но били действительно гирями. В глазах помутнело, и, увлекая всех на землю, Липатов рухнул, как огромный обвал. Озверевшие, с окровавленными лицами, мещане били его на земле, выдыхая харкающие звуки, точно дрова рубили.

Когда огромная кровавая туша, на которой не было лица, перестала подаваться под ударами, Захарка вылез из загородки.

— Буде вам!.. зверье... дорвались... убьете на свою голову...

Те остановились, задыхаясь, отирая кровь на разбитых лицах.

— Волоките его домой.

— Куда! Его разве сволокешь? Ишь туша! Как бык освежеванный.

— Кабы не помер, еще расхлебывать придется.

— Везть надо.

Захарка велел запрячь лошадь, и Липатова отвезли домой.

— Ну, теперича отпусти нас,— приступили мещане.

— Ну, вот вам по полтине.

Они угрожающе надвинулись.

— Это что же, на попятный? Рядил по целковому на брата, а теперь по полтине? Не модель.

— А водки сколько стрескали, не считаете?

— Во-одки!.. А искровянил он нас всех, это не считаешь? Должен еще прибавить по двугривенному, во как.

Захарка озирался, как загнанный зверь, но уйти нельзя было,— они обступили кругом, тяжело дыша, окровавленные, изорванные, с распаленными глазами. Пришлось расплатиться, как требовали.

Первое, что увидел Липатов, открыв глаза, бледное пятно. Оно долго стояло над ним во мгле землянки, и он смотрел на него. И стали проступать на нем глаза, которые горели горячечным блеском. Должно быть, освещенную ими, он разглядел невиданную дотоле человеческую худобу. Острые кости подымали тонкую бледную кожу, заостренный, как у птицы, нос, ввалившиеся виски и бледный острый подбородок.

Липатов пошевелил губами, но они были толстые, пухлые, как подушки, и только шуршали поднявшейся кожей.

Белое, как бумага, пятно приблизилось и проговорило:

— Ис... пить... вам... Осип... Митрич?

И такая же белая, с обозначавшимися тонкими косточками рука подняла чашку, в которой дрожала и плескалась вода. Когда напился, откинув голову, стал

опять глядеть на белое лицо. На лице раздувались ноздри от слабости и усилий держаться. Она проговорила с трудом шуршащие слова:

— Ох... невмого... ту...

Опустилась, и он перестал видеть.

Он стал думать и узнал, что это его жена, Марья. Били его... Захарка... гирями...

Марья закашлялась и кашляла долго, с надрывом, задыхаясь. Он скосил заплывшие глаза и увидел,— она лежит возле на земляном полу, на котором натрушена солома, и тяжело с перерывом дышит.

— Били меня вчерась... гирями,— с трудом ворочая опухшими губами, начал Осип и остановился, так как не знал, что хотел сказать дальше.

Слышалось только свистящее дыхание Марьи, да тараканы бегали по обмазанному потрескавшемуся потолку, роняли с тихим шуршанием кусочки глины.

Собравшись с силами, расставляя хриплым дыханием слова, она проговорила:

— Не вче-рась, дру...гую... неделю... ле...жите...

Осип стал глядеть перед собой, и тяжелая, непривычная мысль тянулась и не могла дотянуться до какой-то правды, которую он не мог понять. Тогда он бросил думать, прислушался к трудному дыханию Марьи, и вдруг ему стало жалко ее.

Он опять скосил глаза и приподнял и повернул голову.

Марья следила за ним блестящими глазами, все так же раздувая ноздри, и, как только он заворочался, с перехватывающимся дыханием поднялась, подавая дрожащую, плещущуюся чашку с водой.

— Испей...те... во...дицы, Осип Ми...трич...

Вдруг он сел и заговорил, шлепая опухшими губами и дико моргая багровыми веками:

— Маша, а, Маша!.. Да черт с ними, с деньгами, пущай подавятся... Маша, худая ты...

Белое лицо жены было так же строго той строгостью, когда лицо не умеет улыбаться, не умеет отражать душевных движений, но в зрачках далеким, слабым отблеском блеснуло счастье. С этих пор она уже не сводила с него глаз, строго, серьезно следила за малейшим движением.

Когда Липатов в первый раз стал на ноги, он поднял ее, как перышко, положил на нары, а сам лег на солому возле. А она проговорила, с усилием дыша:

— Напрасно, Осип Митрич... вам там лучше...

Липатов поправлялся, а она слабела. Уже не могла поднимать головы и поворачивать, а следила за ним, скосив, одними глазами, не отрываясь. А Липатов глядел на нее с полу, и растоплялось у него сердце.

— Маша, да ну их к черту, деньги-то... Маша, худая ты...

Стал выходить на работу и работал, как вол. Началась опять ровная рабочая жизнь, как будто влег в привычный родной хомут, без которого и жизнь не в жизнь.

К вечеру приходил домой и стряпал, а она, не поднимая головы и не отрываясь, следила за ним.

— Маша, медку тебе принес.

— Вы сами... скушайте... Осип Митрич.

— Ешь, ешь, хороший медок.

Он поднимал ее широкой лапой и кормил из руки, а у нее было такое же строгое лицо и в глубине зрачков — безумное счастье.

Раз он пришел, она не повернула к нему глаз, а смотрела в потолок и редко дышала. Он приготовил поесть, сел возле на обрубке и долго слушал ее редкое шумящее дыхание.

— Помрешь ты, Марья...

Она так же важно и строго глядела в плетневый, с облупившейся глиной потолок и проговорила:

— Кто вам рубахи стирать будет... Осип... Митрич?

Осип как-то несообразно мотнул головой, как бык, которому накинули веревку, и засопел:

— Некому будет, Марья Лексевна.

Через два дня ее несли на кладбище. Шли соседи. Осип ревел тем страшным голосом, которым ревет скотина, почуяв кровь.

Потом опять надел лямку, и потянулась рабочая, похожая одним днем на другой жизнь, и в обваливающейся землянке, в которой по колено стояли сор и грязь, его никто не встречал.

VIII

Мертвое царство, густо усеянное крестами и обнесенное валом и канавой, год от году богатеет и ширится — тесно становится. Языками выползают в степь белеющие новым тесом кресты, и, где было ровно и только сизый полынок, глинисто пестрят свеженасыпанные холмики.

Старые могилы давно поросли густой травой; кресты покосились, а где и упали, и наместо их весело и нежно, как молоденькие девушки в прозрачно-сквозящих бледно-зеленых платьях, улыбаясь, шевелят ажурно-кружевной листвой акации.

И высокие тополи, такие грустные в своей стройности, трепетно струят сверкающую листву, одиноко возносясь в степное небо.

Покойники тесно ложатся друг около друга, отнимая у степного простора все новые и новые места,— ложатся молчаливые, намучившиеся там, откуда их принесли.

И солнце стоит над ними, и бегут облака, и носится пыль, и ходят зимою бураны с мертвым пением...

Рядом с мертвым царством ширится, растет царство живых, буйно раскидывая по пустой степи улицы, переулки, площади, полные гомону, пыли, движения, живого человеческого запаха.

Лавки, трактиры, пекарни, сапожные, портняжные заведения — все, что человека одевает, обувает, кормит и веселит. Несутся песни, крики, брань, голосят торговки, телеги тарахтят, снует народ, роются с разговорами в пыли куры, деловито лают собаки.

— Эй, посторонись!..

— Ква-асу... ква-асу хорошего!..

— Почтенный, как проехать на Куриную Слепоту?

— Направо переулком, опять улица влево, увидишь, собаки брешут, это и есть.

— Помолчи, честной наро-од!..

— Я те помолчу... Вот этого хочешь?

— Держи, держи, ребята... гужи срезал!..

— Ве-о-о-дра, ка-за-ны-ы починя-а-ать!..

— Кому набоечку накинуть?! Эх, почтенный?!

И надо всем солнце, и бегут облака, и виснет пыль,

и с похоронным пением ходят по зимам мертвые бураны.

Давно пропали землянки. На их месте высятся двухэтажные дома под железными крышами, с палисадниками, с пирамидальными тополями, стройно возносящимися к голубому небу, и стаи голубей носятся над крышами.

На окраинах, где степь, лепятся землянки новых пришельцев, тянутся огороды, и в странном контрасте с открывающейся степью темно зеленеют молодые сады.

Те, что когда-то табором случайно заночевали в открытой голой степи, над которой одиноко стояла ночь да звезды, положили тут своих покойников, поставили кресты и уже забыли тихие воды, далекие могилы и назвали эти молчаливые, от века думающие места,— назвали своей родиной.

Из лиловатой дали, из дымчатой сухой сизой мглы, таинственной и смутной, по молчаливому степному простору медлительно и бесконечно поползли отовсюду к поселку серые извивы пыльных дорог. И, как серые змеи, плоско сползаясь, беспорядочно свились в запутанный узел кривых улиц, переулков, тупичков.

Глядя на них, чувствуешь, что степь, такая молчаливая, пустынная, безлюдная, населена, что где-то далеко друг от друга — заброшенные людские поселения, и тянутся сюда серыми дорогами, и рады этой торопливой, неугомонной, кричащей, суетящейся жизни.

С редко белеющих по степным балкам хуторов, с далеко разбросанных экономий, над которыми неумолчный гул локомобилей и паровых машин, тянутся сотни обозов с хлебом, кожами, шерстью, идут гурты красного скота, гонят в облаках пыли табуны вольных степных лошадей и всякую живность.

На станции стоит непроходимый содом.

В тонкой, всюду виснущей мучной пыли, среди отчаянной ругани, рева скотины, чугунного грохота буферов, звона цепей, непрестанных паровозных гудков торопливо бегают по гнущимся доскам, сгибаясь под пятипудовыми кулями, крючники с потными, красными от натуги лицами.

С криками вгоняют в разинутые решетчатые вагоны в ужасе упирающихся, с выкатившимися кровавыми глазами быков. Остервенело бьют храпящих лоша-

дей. Втаскивают гогочущую, кричащую на все лады птицу, поросят, свиней, овец. От мычания, блеяния, визга, гоготания стоит одуряющий, ни на минуту не падающий, все заглушающий стон.

Но сколько разинутые вагоны ни глотают быков, лошадей, хлеба, овец, свиней, сколько красных тяжело груженных бесконечно длинных поездов ни уползает днем и ночью,— на станции, на платформах, в пакгаузах все тот же содом, все тот же рев, крики, брань, и железный звон, и чугунный грохот. Точно нет и не будет конца раз начавшемуся. Точно молчаливая, неподвижная, века думавшая дикая степь, то сожженная, то нежно-зеленая, без границ и возврата, то мертвая белыми снегами, открыла чрево своего великого материнства и потекла млеком и медом.

А по вечерам зажигаются огни в домах. Из трактиров несутся звуки музыки. В постоялых дворах подняты к звездам оглобли и заливаются гармоники.

Съезжаются коннозаводчики, скачут по улицам, звеня колокольцами и серебряной сбруей, давят собак, детей и кур. Ражие, дюжие, с сонными степными глазами, в которых накопленная годами степного сна, покоя и бездумья сила, дремлющая, как спокойный зверь, ищет выхода. И льется рекой шампанское, орут голые девки, и всю ночь звенят колокольчики скачущих по улице троек.

У себя в экономиях эти люди забивают рабочих насмерть и закапывают, как падаль, ночью за плетнями. Впрочем, не часто, так как товарищи в отместку жгут стога, хлеб, калечат лошадей, помогают конокрадам.

Во время летних каникул в зелени экономических садов мелькают светлые платья институток, голубые фуражки студентов, а из окон несутся звуки рояля и чистые молодые голоса,— на детей коннозаводчики не жалеют.

Приезжают немцы-колонисты, бритые, как актеры, с неподвижно-каменными лицами, с настойчивыми, упорными, проницательными глазами. Едут на прекрасных лошадях, в прекрасных экипажах, едут ровно, спокойно, споро.

Глядя на их выезды, чувствуется, что так же все спокойно, ровно, споро в их колониях с белыми под железною крышею домиками, с прямыми широкими

улицами, где все пропитано чистотой, аккуратностью, беспощадным порядком и беспощадным отношением собственников.

Немцы также кутят и гуляют, но также со всеопределяющим порядком, заранее дома определив, какую сумму пропьют и сколько придется на брата.

Приезжают казаки верхом, в фуражках с околышами, с красными лампасами, гордо поглядывают, точно, только снисходя, позволили и железную дорогу проложить и дома построить.

Много приезжает народу, и каждому, что нужно, дает поселок.

— Почему не отправлено двадцать вагонов под песок? — сердито и строго говорил Полынов, как будто вся суть была в этих двадцати вагонах, в этом песке.

— Платформ не хватает, с камнем пошли,— отвечает помощник начальника, тоже полагая, что суть в песке, в вагонах, в постройке.

— А-а...— проговорил полуудивленно Полынов и пошел прочь.

Захотелось вдруг уйти, и впервые прозвучало: «от рабьей жизни».

Он шел по путям, оставляя следы на песке. Разбросанно и неподвижно стояли бесчисленные вагоны, и от каждого, ломаясь на рельсах, прохладно тянулась косая вечерняя тень.

Маневренные паровозы, белея султаном колеблющегося дыма, торопливо, сердито и нервно по нескольку раз кого-то звали, и тогда над ними струился белой расходящейся воронкой пар.

Издали печально и задумчиво отвечал рожок, и было в его длительном певучем ответе свое, невысказанное, затаенное. Покрывая, доносился чугунный звон сдвигаемого и раздвигаемого состава, и опять то там, то здесь зовут кого-то белые султаны; и опять мягко, задумчиво и печально отвечают рожки, разбросанные по огромному пространству путей.

«Но в чем же моя вина?»

«Ни в чем».

«Отчего же так тяжело, так невыносимо тяжело складывается жизнь?»

Инженер шел, и на песке между рельсами оставались следы. Издали красиво белели станционные постройки. А еще дальше круглилась, краснея на вечернем небе, водонапорная башня. Подымался, заслоняя небо, огромный корпус больницы, и, прячась в зелени сада, кокетливо выглядывала школа. Из мрачного, с вечно разинутыми закоптелыми воротами депо неумолкаемо несся грохот железа, удары молотов, звон и дребезжание стали. По другую сторону полотна, производя зелеными садиками впечатление уюта, протянулись нескончаемыми улицами железнодорожные домики для служащих.

«Эти здания, эти постройки, пути, сооружения — все созданное мною будет жить много десятилетий, а у меня уходят годы, силы, молодость, и не так далеко уже старость...»

«Уходят...»

«И если нет моей вины, то кто же виноват?»

Поселок дымился,— должно быть, готовили ужин.

«Лошадь, если ее бьют, кусается и бьет задом, а ведь я — человек».

«Ну, так что ж!..»

Было жалко, горько и безысходно не столько оттого, что жизнь так неутешно складывается, сколько оттого, что никому нет дела до него, от того ледяного равнодушия, с которым отвечает кто-то из его собственного сердца.

Он на минуту внутренно замолчал и видел только песок, который с тонким звуком сыпался под ногами. И в это душевное молчание ворвался крик паровоза. И печальный, длительно-певучий, замирающий вдали рожок ворвался, напоминая о себе как-то особенно, поиному, напоминая о себе, о них.

Их полторы тысячи человек, и, что бы он ни думал, как бы ни чувствовал, каким бы горем, отчаянием, нежностью, надеждой ни наполнялась его жизнь, все равно у них — своя особенная жизнь, не останавливающаяся, полная своего непрерывного напряжения. Когда-то — он сам не знает когда — он отделился от них и идет своей одинокой, отдельной дорогой.

Он на секунду остановился и заглянул в глубь прошлого: не тогда ли потерял себя?

Опять устало пошел, глядя на красивое, изящное белое здание станции — дело его рук. Там кипела своя обычная жизнь. Бегали крючники, гремели багажные тележки, белели фартуками носильщики, краснела фуражка дежурного.

За станцией выглядывала крыша великолепного здания его квартиры. Оранжереи, зимний сад, рояль, библиотека, картины и... и жена.

Он шел, не подымая глаз.

И милый ребенок, который всегда рад его приходу, как будто он был в отсутствии месяцы. Но и это воспоминание, проплывшее теплым комочком, не согнало усталости, и он шел, все не подымая глаз от земли.

Вдруг захотелось уйти, захотелось хоть на минутку оторваться от всего, что железно сдавливало, не выпуская. И он свернул и пошел прочь, в степь, где было, как всегда, голо, пусто и необъятно, и в этой необъятности и пустоте все та же, от века незнаемая дума.

Инженер шел, глядя в землю, ничего не видя, кроме шершавого полынка под ногами, и все назойливо крутилась и липла одна и та же мысль: с чего началось?

Казалось, вопрос решался просто, ясно, как он решается во всем мире животных, да и людей в конце концов: подойти и молча, не говоря ни слова, ударить ее в лицо, и бить, бить без пощады, с остервенением, пока не почернеет, не вспухнет лицо, не заплывут глаза, не вздуются губы, пока... пока...

И он уже бьет ее, бьет исступленно, сладострастно, не выговаривая слов, только выдыхая, как когда рубят дрова... а она... а она... а она лежит неподвижно и молчит, молчит... Он наклоняется и хрипит ей в распухшее ухо:

— Видишь... вот... я ни в чем не виноват перед тобой... ни в чем!..

Она тянется к нему изуродованной багровой улыбкой.

— Милый... милый... я люблю тебя... я тебе верю... я тебе теперь во всем верю... как я безумно была неправа!..

Он подымает ее на руки, несет, целует, ухаживает, как за ребенком, и начинается... и начинается... счастливая жизнь!

Полынов в холоде тревоги останавливается — уж не грозит ли сумасшествие!..

Потом идет, борясь с навязчивостью, глядя в землю. Потерял меру времени и усталости, и все та же тяжесть на сердце.

Остановился. Никого, пусто. Сколько ни ловил глазом, только теряющаяся черта на самом краю, и над самой чертой красное, усталое, отяжелевшее солнце глядит на него безболезненно.

Прислушался — вековая тишина, полная своего непроизносимого шепота, беззвучно переполняющего степное молчание.

И опять пошел, пошел в это молчание, тишину и беззвучный покой пустынной вечерней степи.

От неровностей, от далекого кургана лежали длинные тени. На красном закате четко рисовались телеграфные столбы уходящей насыпи, а на тонкой проволоке — черным рядком ласточки. Солнце оставило из-за края узенький кровавый серп, и тронулись краснотой гребни, верхушка кургана, загорелись концы телеграфных столбов, а в лощинах и по изволокам уже залегала голубоватая дрема.

Инженер поднял глаза и с удивлением оглядел этот простор, спокойный и тихий, как будто увидел в первый раз. Он вдруг почувствовал его. Почувствовал другое, до сих пор незнаемое царство, которое само по себе, которое ничего не имеет общего с мостами, трубами, отчетами, станционными зданиями и которое огромно.

Он опять пошел по степи один туда, где уже не было солнца, но еще пылал закат. Поднялся на курган, сел и глянул назад. Глянул и ахнул: далеко на краю бесчисленными стеклами блестел золотым закатом город. В дымке бесконечно терялись крыши, трубы, кудрявившиеся деревья, и, как крохотный белый зародыш, потонула среди своего порождения станция, когда-то казавшаяся такой громадной.

Не заметил, как ушел так далеко.

Не заметил, откуда взялся город. Был поселок, землянки, точно кроты изрыли степь. И вспомнилась глухая ночь, и как он шел между землянками, и во тьме

в два ряда светились окна трактира, и еще улыбка не то развращенности, не то отчаяния на бледном лице.

Инженер сделал усилие, подавив воспоминания, и стал глядеть на раскинувшееся поселение. Оно огромно разлеглось.

Неужели же десять лет! Как будто вчера была голая степь, и раздался первый удар заступа, и проезжала первая тачка с землей для насыпи.

Опять почудилось, мимо прошла целая полоса, зародилась и разрослась новая сложная жизнь, а он, не подымая головы, не отрываясь, возился над мостами, над трубами, над насыпями.

Но при чем те полторы тысячи, их интересы, горе, труд, радости, при чем эти дома наместо землянок, когда у него дома — ад, когда он не может ступить шагу, чтоб не наткнуться на самое злое, оскорбительное обвинение, когда он потерял жену, друга, любимую женщину, а ежеминутно помнит о жандарме, полицейском, о раздраженном сыске и незасыпающей подозрительности!

Отчего?

Стекла, молча переливая, играли в закате. Белела станция.

Тогда он перевел глаза и стал глядеть в степь. И она стала меркнуть.

Степь стала меркнуть, а горечь воспоминаний разрасталась.

В чем же его вина? И не прошла ли мимо жизнь?

И не потерял ли он самого дорогого, неназываемого, чему нет имени?

В сухой сизой мгле потонула уходящая насыпь, телеграфные столбы, курганы, и смутно стало; только неясно белевшими пятнами — не разберешь, близко ли, далеко ли — проступали дома.

Зажигались в еще не потухшем небе одинокие звезды, но еще не зажигались огни на земле.

Полынов все так же сидел на кургане, и было тихо, и было молчаливо и смутно.

Чья-то тень, странно качаясь и сливаясь со все густеющей вечерней мглой, шла к кургану. Тлела полоска непотухшей зари.

Когда человек подошел, Полынов узнал голос:

— Доброго здоровья!.. Сумерничаете? Хорошо в степе, воздух слободный.

Полынов насупился. Не хотелось уходить, точно бежал бы от этого человека, не хотелось и оставаться. Захарка стоял перед ним, опираясь на палку.

— Вышел со двора, вечер, покой; дай, думаю, протиться трошки, воздухом для здоровья попользоваться.

Полынов видел, что тот его подкарауливал, и стало противно, точно по телу пробежал паук.

— Что вам угодно?

— А так, собственно, для прогулки. День-то в заботе, передохнуть некогда; ну, вечером только и попользоваться.

Полынов, не отвечая, поднялся, чтобы идти, и вдруг темная фигура загородила путь, и перед самым своим лицом увидел другое лицо,— тяжелые скулы, негнущаяся шея, и глаза сверкают по-волчьи.

Тот заговорил языком, какого не ожидал Полынов:

— Во́... бьюсь... ползу с самого дна... горбом, плечьми... не то, что грабить — трудами... Заработать дайте, не иное что... в лаптях был, одна кожа своя, ничего не было; теперь, слава богу, хозяин... Только заработать, не что иное прошу...

В этом голосе, так необычно звучавшем в густеющем вечере, послышалось что-то, что остановило Полынова,— железное упорство, железная воля, пусть на стяжание, но, как всякая сила, невольно влекущая к себе, покоряющая.

А тот без обиняков нагло заговорил:

— Ваше благородие, по какому случаю пятитесь?.. Ежели мирно поделить, господами будем над всей округой, все в нашем кулаке будет,— он сжал и поднял черневший кулак,— а как душим друг друга... ни к чему... один урон... и у вас в семействе...

Он не договорил. Дыхание перехватило у Полынова, и часто, часто замотались красные искры. Отдаваясь мгновенно нахлынувшему потоку жгучих воспоминаний, боли и крика, сунул руку в карман, выдернул и, не целясь, нажал собачку.

Неожиданно слабо перед громадой ночи и степного молчания стукнул короткий удар, и вспыхнул призрачно-белесый мгновенно растаявший клубочек...

В ту же секунду Полынов понял, что совершилось.

Но страшно было не это. Страшно было, что необыкновенно быстро исчез белесо вспыхнувший клубочек, и за ним не оказалось темневшей до этого в уровень с лицом фигуры, а была пусто, и за этой темной пустотой смутно блеснули еще не потухшие белые пятна домов.

Полынов спускался с кургана, выронив револьвер, сдавливая обеими руками голову, шел, покачиваясь, и мычал, как от невыносимой зубной боли:

— Ммм... ммма-а... у-у-у... ммм...

Шел в темноте, сдавливая голову и качаясь.

Долго шел, и, когда вошел в сад, все было, как прежде.

Смутно и темно стоят деревья, и полоса света из отворенной двери на террасе, ломаясь по ступеням, узко и длинно тянется по саду, выхватывая из темноты то косо срезанный плоский кусок дорожки, то странные пятна неугадываемых цветов, то низко озаренную нетрепещущую листву невидимого тополя.

И безграничность ночи, и призрачно вспыхнувшие пятна цветов, и неподвижно озаренная листва, и белая стройная фигура жены в глубине освещенной столовой — все это было когда-то, и только теперь он угадал, какое оно было наивное, ласковое, бесконечно нежное, глядевшее прямо в сердце.

Он пошел навстречу ему, доверчиво всего отдавая себя, как маленький ребенок с протянутыми ручонками к матери, оставляя позади всю накипь горечи, злобы и бессмысленности, и голосом, который сам не угадал, полным глубокого внутреннего волнения и безграничного доверия и надежды, проговорил:

— Леля!..

Белая стройная грациозная фигурка стояла вполоборота, головка в золоте пышных волос повернута к нему.

— Леля!..

Он поднял глаза и остановился: сквозь молодое, нежное, безумно-привлекательное лицо глядело старое, изуродованное отвратительною злобой, и раздался хриплый чужой голос:

— Явились? С кем же изволили так весело проводить время?

Он медленно подходил к ней, чувствуя, что летит в темную глубину, точно у него выдернули из-под ног доски.

— Я был... в степи.

— Ха-ха-ха!.. Конечно... Я ведь весь поселок велела осмотреть, везде посылала, десять человек бегали... Вы очень удобно устроились... в степи!.. Никому в голову не пришло там искать... теперь тепло...

Последним судорожным усилием спасая, он проговорил побелевшими трепещущими губами:

— Я... убил человека...

— Соперника, разумеется... Не поделили... ха-ха-ха!.. Каждый к себе на колени тащил...

Как зверь, бросился на нее с кулаками.

— Молчи!.. тварь!.. гадина!..

— Бейте!.. бейте!.. нате!.. Бейте меня... Ведь вам только и осталось...

И, роняя все ниже и ниже золотую головку, она рвалась сквозь рыдания:

— Это ужас, не жизнь... Давно бы бросила, ушла... но ребенок... ему нужен отец... и... еще... я... тебя... сердце раз...рывается... от... любви к тебе... от без... граничной...

Над молчаливой степью стояла молчаливая тьма, и в темноте на черном кургане ворочался и хрипел черный человек.

— Слышь... подожди... постой... перевяжи... ничего не будет, чха-а-а.

Шершавый полынок, не видимый в темноте, стал остро пахнуть кровью.

— По...ст... хх...о-ой!..

Никого не было.

Потухли белевшие пятна домов, и на их месте зажглись разрозненные огоньки. Как последняя надежда, узенько кровавился потухающий след ушедшей зари. Над станцией голубовато вздулось зарево.

Сцепив зубы, опираясь на локоть, Захарка искаженно смотрел в темноту, с которой слилась уходящая, покачивающаяся фигура, крепко зажимая бок, и пальцы

все больше и больше влажнели теплой липкой влажностью.

Попробовал закричать; во рту, пузырясь, только захрипело, и кругом — покойное молчание да разбросаны во тьме огни.

— А ггххх... по...мирать...

С раздувающимися ноздрями, с глазами, в которых — только зверь, опираясь о шершавый полынок и зажимая рану, он, злобно хрипя, попробовал встать. Все поплыло: и темнота и дальние огни и сверлящая, разрывающая боль в груди, и он опять приник к шершавому, остро пахнущему кровью полынку, как раненый матерый волк, у которого зеленовато блестят глаза не то от боли, не то от бессильной злобы.

Отдаваясь минутной слабости, закрыл глаза, но сейчас же снова открыл, и они зеленовато горели звериным напряжением. Поднялась дикая борьба.

С раздувающимися ноздрями, не спуская горячечных глаз с мерцающих в разных местах ровной темноты огоньков, пополз.

Каждое движение, каждое сокращение мышц давалось ценой невыносимой муки, но он полз на руке и на коленях, все зажимая бок, все не спуская горящих глаз с огоньков.

— Доползу... ни-чего... огни све...тлей, ста...ло ближе...

Он полз. Стояла, дожидаясь, равнодушная тьма. И все еще, как последняя надежда, едва видимо догорала искорка на месте ушедшей зари.

Рука подвернулась, ткнулся в жесткую землю лицом.

— Пропал!.. Не... ничего... до...ползу...

Он поднял голову,— все небо было в звездах,— и закричал. Во рту захрипело, вздувая пену.

— Про...пал!..

Опять пополз. В темноте словно кто-то, спокойный, дожидался, пока потеряет силы и останется неподвижным.

Кровь липко и медленно протекала сквозь пальцы, и так же медленно вливалась расслабляющая слабость.

Около, совсем близко — черта, за которой уже никому не нужны его трактир, постройки, магазин, вся хозяйственность, все напряжение жизни. Это не смерть, не страх смерти, а страх того безразличия, которое око-

ло смерти; страх той черты, за которой нет борьбы, за которой уж все равно.

Это его-то положенная в хозяйственность жизнь — все равно? Это незамоленные его грехи, когда он наживался, сколачивал копейку и рос, и забирал силу, и почувствовал ее, наконец, теперь — так это все равно?

Стиснув зубы, задавив пузырящиеся сквозь них стоны, приподнялся на левую руку и потащил свое все больше и больше обессиливающее тело, как зверь с полураздавленным задом. И все прижимал правую руку, под которой теплела расплывающейся кровью рана. Пузырились подавляемые стоны, и злобно раздувались ноздри.

Огоньки так же безразлично, так же о чем-то о своем мигали. И стояла, не заслоняя, не приближая, не отдаляя их, ровная бесстрастная темень.

— Вре-ошь... посто-ой... в...вре-ошь...

Вот так, стиснув зубы, боролся он когда-то со своими односельчанами, у которых отобрал общественную мельницу. «Вре...ошь, не возьмешь!..» — говорил он, окруженный злобными, готовыми на все лицами.

Так выпрастывал молодым работником засевшую в трясине хозяйскую телегу: «вре-ошь, вылезешь!»

Так боролся со всеми, кто становился поперек пути.

И теперь боролся во тьме среди степи с кем-то, кто, не делая никаких усилий, подтаскивал его к роковой черте, за которой было все равно, за которой — только степь да ночь.

— Вре-ошь... посто-ой... вре-ошь...

Не ближе, не дальше мигали огни, и стояла, не заслоняя их, темнота.

Но уже нет сил, уже одолевает. Ткнулся глазами в шершавый колюче-иссохший полынок. Приподнялся, опять ткнулся и остался лежать затылком кверху, дыша пахнущей пылью.

— Ага... ну?..

Поплыла вкруговую и тьма, и мигающие огоньки, трактир, и жизнь, и все, что имело в ней смысл, поплыло и на секунду закачалось, готовое потонуть и потухнуть.

Он, судорожно хрипя, дышал, уже охватило безразличие покоя, и вдруг мучительно захотелось ухватиться и вылезть, вылезть опять на жизнь, на заботы, на шум

и беспокойство дня. Но ухватиться было не за что. Было пусто и молчаливо в молчаливой темной степи.

Во дворе дремали на цепи чуткие собаки,— и был он пуст.

В кухне вечеряли, собираясь спать, работницы и работник, боявшиеся и не любившие его,— там было пусто.

В трактире шумели пьяные голоса, но среди множества людей, среди пьяного шума, говора и звона было пусто. Было пусто и в комнатах, где торговали собой девки.

И тогда со страхом, воровски, крадучись, заглянул в свои комнаты. Водяночная, безответная, давно чужая женщина, мимо которой он проходил, как мимо стола, мимо лавки или мимо стены.

Дочери!.. Дочери нет, а была...

И тут пусто страшной пустотой.

И он простонал:

— Господи!..

Кровь, медленно густея, вытекала.

Какой-то далекий смутный намек, недосказанная мысль или неуловимое воспоминание подымались из закоулка, нежданные, негаданные.

— А-а-а...

Он не мог уловить, хрипло дышал в сухой полынок, и стояла над ним темная ночь. Не та ночь, полная заботы и дохода, что приходила во двор и в дом, и надо было запирать ворота, спускать с цепи собак, и наполнялся трактир шумом и пьяными голосами, а огромная, молчаливая и недвижимая, и нет ей конца и краю.

И... вспомнил:

— Внучек!

«Сын!» — поправил кто-то.

— К внуку... внучек... родненький ты мой!..

«Сынок»,— опять твердо поправили его.

— Ну, ин так... перед кем запираться... Сынок... сыночек ты мой!..

Теплый комок растаял в согревшейся груди. Сочилась кровь.

— Только бы поспеть... не помереть... сказать... трактир... все ему... сыночку... все ему...

Темная, пусто простиравшаяся над степью ночь наполнилась смыслом.

Он сделал безумное усилие, стал на колени и на руки, вытянул по-воловьи шею и с клокочущим хрипением в груди завыл:

— У-у-у-у!..

Опять пополз. Мигали огни. Не прижимал раны, давая свободно течь крови, и полз, опираясь обеими руками.

— У-у-у-у!..

Долго.

Среди бесстрастно ровной темноты проступили густые, неопределенно черные пятна, и вздулся огонек.

Захар прополз еще два шага, теряя последние силы, уронил голову и прохрипел:

— Вó... тут я... пропадаю...

Сухая земля зазвучала шагами, потом в темноте голос:

— Кто тут?

Темная фигура выросла огромным силуэтом.

— Сказывай, кто?

— Уби...ли... у...бил... кровь... перевяжи... кровью... изойду...

— Никак Захар Касьяныч?.. Так и есть!.. Да кто тебя?.. Гляди ты!..

— Инже...нер... Полы...нов, перевяжи ты, господа ради...

— Ах, беда!.. Перевязать-то нечем.

— Рубаху порви, Осипушка... не забуду этого век.

В темноте смутно маячит, как громадного роста человек снял рубаху, разорвал и стал перевязывать. Захарка мычал, подавляя стоны.

— Ох, постой... не подымай... спервоначалу сходи на курган... леворверт подыми... которым стрелил инженер... никому не сказывай... Спички есть ли?

— Есть. Где, говоришь?

— На кургане... ох!..

Было так же темно. Из оконца ложилась бледная полоска света.

Захар лежал на земле. Ныл бок. Лежал на земле, прислушиваясь к боли, к замолкшим в темноте шагам и к тому теплому и ласковому, что грело грудь, пустеющую от крови.

— Сы...ночек!..

Стояла огромная ночь.

Снова раздались оттуда, из темной степи, по сухой земле шаги ближе и ближе, и силуэт огромного тела зачернелся над ним.

— Нашел. Теперь давай понесу.

— Ой-ёй!.. ой, больно... ой-ёй-ёй-ёй!.. Постой, дай передохнуть... дай трошки передохнуть...

Тот опустил на землю и сам присел на корточки возле, огромный, темный, обнаженный. В груди раненого клокотало. Из оконца лежала все та же бледная полоска. И стояло великое молчание.

Нарушая его, раненый заговорил:

— Оси... пушка, ох!.. Слышь, сынок... сыночек у меня... каюсь... мой это... сыночек...

Темный силуэт так же чернел над ним.

— Про...сти, Осипушка... изобидел тебя... награжу... ох!.. ежели смерть... не придет...

Тот так же молчал, потом голос его в темноте:

— Похоронил... похоронил Марью-то... Марью Лексеевну-то похоронил...

Долго сидел на корточках, темный, грузный и голый.

— Ты... ежели помру... заяв... за...яви начальству... убил... меня... инженер По...лынов... Николай... Нико... лаич... леворверт представь... А... ежели... живой... оста...нусь, никому... не сказывай... А трактир... вся абселюция... сы...ночку...

Замолчал и стал реже дышать с клокотанием в груди.

— Похоронил... напоследях и головы не подымала... только глазами поведет, где я.

Осип долго сидел над ним, потом поднял и понес, как ребенка, и смутно и неясно проступали все больше огни трактира.

IX

Когда Захарка открывал глаза,— видел над собой ровно тянущиеся потолочные доски и шляпки пришивших их гвоздей. Возле — табуретка, на ней опрокинутый медный таз и молоток, чтобы звать, когда понадобится. Но он был слаб и, когда хотел позвать, не мог поднять руки, и снова наплывала стирающая все ощущения дремота.

Может быть, минута, может быть, полсуток пройдет, приподымет тяжелые неслушающиеся веки — огромная женщина, загораживая стену и дальнюю дверь, стоит перед ним с раздувшимися руками и ногами, с лицом каменных баб, которых находят в курганах. Стоит, глядя утонувшими в оплывшем лице глазами.

Захар не знает, на самом это деле или только мутнеет в глазах. Хочется провести рукою, и, кажется, рука пройдет через нее, как в воздухе, но рука не подымается.

Та стоит и без звука шевелит громадными, как резина, губами. Захару кажется, она хочет сказать:

— Може, вам чего надо, Захар Касьяныч?

И не знает, слышится ли это, или в комнате никого, он — один. Страшно хочется, чтобы это было на самом деле, и, чтобы подтвердить действительность, говорит:

— Нет, ничего не надо, Параскева.

Нет, не говорит: язык без движения лежит в пересохшем рту.

Чтоб как-нибудь ответить, дать понять, что он думает о ней, чувствует ее близость, благодарен, слегка качает головой.

Нет, мол.

Но голова неподвижна, и он жалобно и беспомощно смотрит на нее. А она долго стоит, потом долго поворачивается и медленно, занимая много места в комнате, уходит, не оглядываясь, загораживая на минутку всю дверь. Захар измученно отдается тяжелому забвению.

По ночам пусто, никого, ни одного звука. Вытянув шею, закрыв глаза, он мучительно вслушивается в мертвенную неподвижность. Дыхание становится затаенное, едва ощутимое; но все та же пустота, ничем не наполненная тишина.

Время тянется, потеряв счет. И оттого, что он так напряженно вслушивается, сквозь неподвижную тишину начинают вползать в комнату смятенные и тревожные голоса, хриплые, полузадушенные. Кто-то не хочет, чтоб его слышали, и задушенно, сдавливая себе горло, хрипит, бормочет, шепчуще вскрикивает и стонет.

Захар все тягостнее вслушивается в эти звучащие, тусклые, шепчущие образы. Он отчетливо представляет и сознает их действительность, осязаемость, но мучительно не знает, что они и откуда.

Ударить только молотком по тускло поблескивающему тазу, и придут люди, но не позволяет давящая напряженность, и он лежит и вслушивается — смятенные, тревожные, задушенные голоса ползут из-за стен, из-за дверей, из-за окон, ползут, не похожие ни на какие другие голоса, ползут, наводя медленно проступающий, как холодный пот, ужас и неугасимую тоску.

А днем мирно тянутся потолочные доски, пестрят чернеющие шляпки гвоздей, приходит и уходит, ничего не ответив и не спросив, огромная женщина, и самые воспоминания о ночных видениях гаснут с тем, чтобы в следующую ночь в молчании опять прийти. Так дни, недели, месяцы.

Однажды Захар открыл глаза и почувствовал, что проснулся, что перед этим крепко, долго, может быть месяц, спал и что в комнате странно все бело. Как будто все было, как прежде,— и пол, и потолок, и обои, столы и стулья, но странная неуловимая белизна всюду реяла.

Он бодро, сам себе удивляясь, стукнул молотком, и таз зазвучал громко и весело. И тотчас же Захар вспомнил, что не дававшиеся ему смутные тревожные ночные голоса подавал ему трактир.

— Шо вам треба?

Работница рукавом вытирала рот, дожевывая, и подсморкнула. Захар заметил, что ее сонное степное лицо с припухлыми скулами было румяно и пышало здоровьем.

«Ишь без хозяина раздобрела, растрескалась».

Но было легко и весело, и, проходя мимо этой мысли, сказал:

— Дуняша, отчего это белое такое в комнате?

— Господи,— всплеснула та руками и засмеялась, показывая чернеющую пустоту вместо зубов,— ведь зима давно, снегу навалило — не перелизешь.

— Зима.

Он подумал.

— Отчего хозяйки нет?

Та опять шлепнула руками.

— Та вона лежит уж скильки. На спине лежит, не перевернется; огромная стала, налилась вся.

— Пущай кто-нибудь сидит возле ней.

— Некогда.

— Ну, поденную на кухню позовите, а ты возле ней будь.

— Добре.

— Постой. Мальчонок где?

— На дворе балует.

— Смотрите за ним.

В маленькой дальней комнатке на громадной кровати лежит желтой налившейся горой не женщина, не человек, дышит, и, когда медленно дышит, чудится, под кожей переливается желтая вода, и сквозь оплывшие вздутые щеки и переносье глядят сделавшиеся крохотными глазки в потолок.

Уберется девка около больной, сядет возле кровати на низкой скамейке, вытащит начатый чулок, мелькают, длинно посверкивая, спицы.

Петля за петлей наращивается чулок, петля за петлей вяжется смутное, полузабытое, когда немножко скучно, длинно время, и не ждет ничего не впереди, ни сзади...

Маленькой девочкой пасла индюшек в степи. Лежит на спине, бегут облака, шевелит ветер траву и волосы, а она гнусаво, нескончаемо тянет все те же слова одной и той же песни.

И теперь, баюкаемая уныло поблескивающим мельканием спиц, монотонно, только для себя, тянет под нос:

Та не-е у-у-ти-и-и-чка-а-а-а в бе-е-ре-е-жку-у-у
За-кря-а-ка-ла-а,
Кра-а-а-сная дивчи-нонька
Тай за-пла-а-ка-а-а-ла-а...

Через три месяца, как она поступила к Захарке, приехал навестить отец. Бабы и девки злорадно рассказали, чем занимается дочь. Мужик покачнулся, как гром грянул, почернел.

— А-а-а!..

И бросился к Захарке.

— Я те, шо ж, на то дал дочь... а-а, шоб надругаться?.. Я те в обучение дал та на работу, а ты во шо...

— А я что, сторож твоей девке? У меня своих, брат, делов по горло; девок караулить, так давно бы разорился.

— Ну, нехай же вона свиту божьего не побаче...

Поймал за косу ее, упиравшуюся, и стал вязать веревкой к оглобле, а кругом уж набрался народ, и слышалось:

— Н-но и пристяжка, ребята...

— Один зад чего стоит, хочь садись...

— Чего же не завожжал?.. Должна кольцом виться, голову на отлете...

— А хвост трубой...

— Го-го... га-га-га...

— Погнал!.. Погнал!.. Ребята, погнал!..

Все побежали вперегонку. А из густого катившегося по дороге облака неслось, удаляясь:

— Ратуйте... добрии люде... вин убье-е...

Домой привез кровавый ком: не было лица, выбиты зубы, и выбежала, вырывая старые волосы, мать.

Через месяц, когда в состоянии была, шатаясь, держаться на ногах, ушла ночью в степь, дотащилась до поселка и пришла в трактир.

Глянул Захарка.

— Без надобности. Кому ты такая нужна!

Месяца два слонялась она по поселку, перебиваясь поденной работой, поторговывая собой. Когда сошли все болячки с лица, Захарка принял. Зубов не хватало, так его кавалеры на этот счет были нетребовательны.

Отец проклял ее и отступился.

Сверкают, как журчащая вода, спицы... Все это было когда-то, так же давно, как когда лежала на спине, и бежали белые облака, и курлыкали возле индюшата, и шевелил ветерок волосы и траву.

Див-чи-и-нонька-а та-а-й за-а-пла-а-а-ка-а-ла-а...

...Сверкают спицы, набегают петли... Подымает голову, и — опять...

Ночью расстелет на полу дерюжку и сладко засыпает под гул и вой глухо волнующегося трактира, под тяжкое дыхание на кровати, засыпает крепким степным сном.

А завтра то же...

Как ни далека была работница мыслями от лежавшей возле туши, это медленное трудное дыхание сливалось с ее песней, с трактирным гулом, с приятной ску-

кой безделья, со смутными воспоминаниями, с монотонным мельканием спиц, и, когда это дыхание прекратилось, работница быстро глянула: лицо отекло, обвисло, тускло глядят полузакрытые глаза...

Перекрестилась.

— Царство небесное...

Вытащила из чулка длинную иглу, почесала в голове и, спрятав работу, пошла к Захару.

— Мабудь, хозяйка померла.

Тот крякнул, повел бровями, как будто неловко лежать.

— Намучилась, сердяга,— и странно заморгал.

После девка рассказывала на кухне:

— Не жилец наш хозяин на сим свити.

— Но ведь он уж сидеть стал. Вот подымется, пропишет тебе.

— Сама своими очами бачила, як вин заплакав. И слезы. Вот шоб мне подавиться зараз на сим мисти, заплакав по-настоящему, слезьми.

...Захар уже мог сидеть, обложенный подушками. То и дело звал к себе старшего приказчика, работника и работниц, отдавал приказания, и сразу в доме почувствовалось напряжение, властная, умелая, строгая хозяйская рука.

— Эй, Дуня, приведи ко мне сы... с... Сергуню...

Девушка привела мальчика. Он робко вошел, шмыгая плохо обметенными от снега валенками, в длиннополом волочащемся полушубке, с красным с мороза носом, но личико было бледно; тонкая желтая шейка, на которой с трудом держалась огромная голова, а на бледном лице всегда огромные, широко открытые, круглые, внимательные глаза. Он жался к Дуняше и недоверчиво и боязливо глядел на деда.

— Ну, ходы, слышь, дид кличе.

Мальчик все так же упирался, не отрывая глаз от деда.

— Сергуня, подь ко мне.

Захар сделал ласковое лицо, и оно у него стало, как у цепного пса, когда он улыбается ушами.

Мальчик все так же испуганно-внимательно кругло глядел и молчал.

— Али не любишь деда?

Ничего не добился Захар, но каждый день приказывал приводить к себе мальчика, а тот стоял, упирался, а когда посмелеет, глядит на деда внимательно большими круглыми глазами. Если дед начинает очень приставать, плачет и забивается к Дуняше.

Раз сказал:

— Боюсь.

— Кого?

— Тебя.

У деда, точно вытянули кнутом, перекосилось лицо.

— Али я тебе худое сделал? Вели в лавке дать тебе полфунта медовых пряников.

Мальчик немного придвинулся и проговорил:

— Борода у тебя бе-елая.

— О?!

Захарка погладил длинно стлавшуюся по груди бороду,— за время болезни она у него отросла и побелела.

— Глазищи вот страшные... волчиные.

— А ты волка видал?

— Нашего Серка видал... Глаза у него мохнатые, а у волка, сказывают, страшней... Снег уже начинает таять.

...Когда Захар стал выходить, все ахнули: был это патриарх с седой бородой, со строгим, исхудалым, иконописным лицом, но в косматых, еще темных бровях прятались те же живые, пытливые глаза.

Снег стал кашей, солнце крепко грело; через улицы трудно переходить,— нога тонет в размякшем черноземе. Небо по-весеннему безоблачно, и ослепительно блестит степь. Кое-где зачернели взлизы на обтаявших курганах. Орут петухи, и отчаянно, точно только что откуда-то вылезли, разоряются воробьи.

Захар ходит теперь спокойно, медленно, с той особенной самоуверенностью, которую дает тяжело перенесенное горе. У станции навстречу — Полынов. Полынов сначала не узнает в этом высоком благообразном, с патриаршей бородой, старике Захара.

Захар снимает картуз, низко кланяется, глядя снизу из-под бровей.

— Почтение Николаю Николаевичу.

И, помолчав, добавляет в спину проходящему и не отвечающему на поклон Полынову:

— Никому не сказывал, не токмо что доносить... будьте благонадежны...

И долго, обернувшись, провожает с непокрытой головой уходящего.

Инженер идет с побелевшим, как полотно, лицом, потом оно наливается, даже уши издали густо краснеют.

«Это невозможно... Сегодня же напишу прокурору все начистоту... Ведь это ж унизительно...»

Дни проходят за днями; уже все улицы почернели, жидкие, и тонут в них люди и животные; и степь почернела и радостно парит под все более и более горячим солнцем, мягкая, насыщенная просыпающимся материнством. Тянут в сверкающей выси невидимые птицы, и только крики их, далекие и загадочные, доносятся до земли.

Жгучесть воспоминания встречи с Захаром изглаживалась у Полынова. И, когда приходило на память, морщился брезгливо.

«Всегда успею... Да и, наконец, разве незаслуженно получил он... Большее зло, чем он сделал, трудно представить... В сущности, морально мы квиты...»

А когда встречались, Захар низко кланялся, держа картуз на отлете.

— Не извольте сомневаться и беспокоиться; ни одна душа... Покеда дыхание у меня, ни одна душа... Великое почтение.

И опять чувство унизительной беспокойности заливало краской лицо Полынова, и он шел домой с твердой решимостью сегодня же непременно послать прокурору признание в покушении на убийство.

По непроходимым улицам вдоль заборов, домов, плетней и мазанок уже тропочки пробили, и торопливо начинает зеленеть степь. Зазвенели над ней новые голоса, заскользили по невинной зелени тени весенних облаков, неровными краями меняясь в лощинах и на пригорках. Полынов постепенно забыл о своем решении и, когда встречался с неизменно и низко кланяющимся Захаром, проходил мимо, не обращая внимания: «Черт с ним...»

«Пущай побегает»,— думал Захар и шел домой, где ждало огромное хозяйство и надо было направо-налево отдавать приказания, где всегда ждали приезжие люди.

На лесном складе визжали пилы кланяющихся на высоких козлах пильщиков; в магазине гомонела толпа баб и мужиков, торговавшихся до изнеможения у прилавков за ситцами, топорами, кожами, пряниками; во дворе стояли фуры с мешками: у Захарки была ссыпка хлеба; рядом с магазином помещался аптекарский склад, и из трактира день и ночь несся бильярдный стук.

В общении с людьми Захар стал другой. У этого высокого, худого старика с большой белой бородой и бледным лицом, казалось, не могло быть иных слов, кроме медленных и спокойных, и все звали его теперь неизменно Захар Касьянычем.

— А так,— говорил Захар мужикам, приехавшим к нему уплатить проценты по векселям,— векселя перепишем. Клал я вам двенадцать процентов казенных да в вексель включал скрытный процент, ан выходило по шестьдесят, по восемьдесят, даже до ста процентов. Теперь все это скидываю, секретную сумму из векселя выключаю, а проценты с нынешнего дня кладу божеские — восемь процентов, и никто не будет обижаться, ни мне, ни вам не обидно.

Векселя переписывались, мужики кланялись, благодарили и уходили, мрачные и молчаливые.

— Неспроста...

— Это беспременно объезжает нас.

— Да толкал я: «не надо...» Дубье, стоите.

— Ну как же, кубыть легше, да как легше-то?

— Легше... Вот, как проработаешь горбом за эту переписку годов десять; вот тебе будет тогда легше.

Что бы ни делал Захар: принимает ли у приказчиков выручку в магазине, велит ли ссыпать при себе хлеб, получает ли долги с кредиторов, или проснется ночью и из окна на полу лежит лунная полоса,— нет-нет да и встанет перед незабываемым холодом: ночь, и в ночи — молчание, и в молчании — степь, и он — один, ползет, кругом никого. Но тотчас же торопливо отыскивает далекий, ни для кого не доступный уголок души: «Сергуня...» — и сейчас же спокойно засыпает или продолжает дело.

И во имя того страшного одиночества, которое он испытал в молчаливую бескрайнюю степную ночь, безмерный ужас которой оценил только много спустя, во имя единственно загоревшейся теплом среди той ночи

светлой тихой точки: «Сынок... Сергуня»,— в чем так странно смешались неумолимый, незамоленный грех, и душевное тепло, и единственная отрада,— он теперь перестраивает порядок своей жизни.

«Не все мамоне, кое и богу...»

Приходит Борщ.

Он такой же огромный, рыжий, горластый, и у него дом с низами под зеленой железной крышей, лавка и начинающаяся лесная торговля; борщ и кашу больше не варит, и прозывается теперь Борщов.

— Захару Касьянычу почтение.

— А-а, Митрофан Егорыч, милости просим.

— С обидой к вам, Захар Касьяныч, с огорчением с душевным...

— В чем ошибочка, Митрофан Егорыч?

— Как же, помилуйте, Захар Касьяныч! И вся-то тут торговлишка шелудивая, да ежели цены сбивать, так хочь с сумой иди.

— Я не причинен.

— Не причинны, а на всех товарах цены во́ как сбавили.

Захар погладил серебряную бороду и выглянул в окно.

— Сергуня, гляди около колес, чтоб не придавило... Попятится, придавит сзади колесом.

Потом к Борщу:

— Так-то, Митрофан Егорыч. Оно торговлишка и шелудивая, а между прочим дом с низами ты поставил, лавку завел, лесную торговлю открываешь. Сказать, не для ча бога гневить. Одначе чем мы питаемся? Народом. Забери в десять раз больше лавок, домов, лесных складов, сядь посередь степи и сиди один. Да сиди ты хочь тыщу лет, гроша не высидишь. То и оно: народом кормимся. А народом кормимся, ужли ж об народе не подумать? Ну, драли с живого и с мертвого, ну, будет, надо и по-божьему. От того самого и скостил на всех товарах.

У Борща рыжие волосы стали копной и усы взъерошились.

— Хорошо вам иеремиады разводить, Захар Касьяныч! Закупаете вы оптом в большой препорции да из первых рук. Вам можно скостить чуть не половину.

А то и выходит: у вас в магазине повернуться негде от народу, а у меня ветер свистит в пустой лавке.

Захар строго на него посмотрел.

— Будет. Не единым бо хлебом жив человек. А только скажу тебе: устала душа во грехах и в одиночестве. Опять же у меня веселый дом и с девками, все решу. Будет, довольно греха взял.

И, помолчав, добавил:

— Хочешь, переводи к себе заведение и с девками совсем.

— Сколько отступного?

— Пятьсот.

— В дорогую цену грехи свои ставите.

— Не для себя, для ради церкви,— на церковь пожертвую, и то обасурманели.

Как и все, кто живет в поселке, Захарка не замечает, как все ширится и ползет в степь кладбище, как расползаются по степи улицы и дома, как посаженные маленькие саженцы возле домов, по палисадникам, в садах успели тенисто раскинуться деревьями, как жизнь катится, не пропуская ни одного часа, ни одной минуты.

Некогда оглядываться, каждый час, каждая минута наполнена непрерывным напряжением, заботой, суетой и спешкой.

Давно Захар думал собрать народ; наконец в воскресный день сбил на площади, где по утрам стоял базар.

По колено навоз, объедки сена, солома, арбузные корки, всякое тряпье.

Голодные собаки роются в мусоре, грызут кости, дерутся, ворчат на прохожих.

Солнце, красное и большое, стоит в пыли над домами, искоса протягивая длинные тени, а Захарка на опрокинутой кадушке, возвышаясь, говорит, не поворачивая шеи и глядя кругом себя злыми волчьими глазами:

— Тот человек, который единственно для собственной утробы, подобен древу, смоковнице иссохшей, кое огнем да истребится. Ибо сказано в писании, во святых апостольских деяниях: «Иде бо убо двое, там церковь моя». Так и понимай!

Кругом стоят, сидят, грызут подсолнухи, неопределенно глядя перед собой и плюя друг другу в лицо шелуху. Сонно подают реплики:

— А то што ж...

— Знамо, так...

— О господи, помилуй...

— Дай-ка семечек...

— В пещи огненной...

— Известно, утроба,— внутренность, один грех с ей...

— Опять же бабы.

И опять немного гнусавый голос, и волчья неповорачивающаяся шея, и маленькие злые глаза.

— Ежели сам Христос сказал: церковь моя — то как же мы, черви из червей, ослухаемся его!

Было непонятно, запутанно, но значительно, как все, что говорил Захарка. И, точно чувствуя это, раздалось:

— О-хо-хо, прости, господи!..

Тогда Захарка повернулся всем корпусом, чтоб оглядеть всех, и вдруг заговорил отчетливо, ясно и понятно для всех:

— Как понимать надо!.. Опять же правильность жисти нужна али нет?.. То тебе разор, то тебе грабеж, дня не проходит — у того залезли, у энтого лошадь свели, свинью зарезали, цельную ночь с колом так и ходишь, глаз не заведешь...

Это было понятно, это задевало за живое, и все встрепенулись, перестали кусать семечки, поднялись, сгрудились — и пошло поверх голов, словно закачались вербы под налетевшим ветром:

— Знамо, так...

— Какая тут торговля, какое хозяйство!..

— Тянут, да рвут, да ломают. Хреста на вас нету!..

Покрывая всех, выделился визгливый злобный голос:

— Да он сам первый вор и мошенник!..

— Верно!..

— Девками торгует...

— И водка завсегда...

— Да и девками до дела не умеет торговать. Как-

то прихожу, требую девку, сказывают, все заняты. Ну, посля того что за человек!..

— С дочерью спал... ей-богу, с дочерью жил!..

— У меня тридцать целковых выманил.

— И у меня.

— У меня сто ограбил...

Захарка тяжело, не поворачивая шеи, весь повернулся к говорившим.

— А вы чего в чужие грехи, как в свой карман, заглядаете? Сказано бо: «Аще убо кто без греха, возьми камень и побей его».

— Да тебя давно на осину надо вздернуть, не токмо побить.

Подымавшийся на целую голову над толпой Борщ, рыжий, косматый, с закрывшими совсем глаза красными бровями, заговорил так, что с соседних крыш воробьи поднялись:

— Ага, верно!.. Разбойник народ стал. Натрескает в долг, никогда не заплатит. Тушу цельную надысь унесли, двух баранчиков ночью отогнали.

— Ворованное взяли, не твое.

— Сам по ночам только и знает, что режет краденую скотину.

— Самого в острог ждут не дождутся.

Рыжий голос снова смял и разметал потонувшие в нем голоса:

— Не пойман — не вор... Ты видал?..

— Видал.

— Троих из тебя сделаю, ежели раззявишь еще глотку. Кругом мошенники... Продать ничего нельзя, зараз фальшивый всучат...

Среди галдежа, гомона и брани выделяется несуразный, тонко срывающийся голос, и среди возбужденных красных и потных лиц вылезает курносое, без шапки, в саже и сапожном вару, с перехваченными ремешком космами лицо сапожника. Он становится на цыпочки, подымает руку и помахивает пальцами.

— А-а, хва-альшивый, хвальшивый!.. Ну, чего орешь-то!.. Чего звонишь-то? Чего про хвальшивый орешь-то? Гляди, пупок лопнет...

— А ты, сукин сын, не суй за товар хвальшивый. Ну, делаешь хвальшивые — и делай, и чтоб честно и благородно... Поезжай в степь к калмыкам, слова ни-

кто не скажет, там накупишь горы, народ темный, необразованный, опять же язычники, жрут падаль...

— Дак ты, ежели разобрал, что хвальшивый, ну возвороти,— дескать, дай настоящий. А то орет на всю площадь, как доют его, только человека конфузишь...

Захарка спокойно, слегка поворачиваясь, поглядывал на гомоневшую толпу, давая им израсходоваться и все повыложить.

Народу все прибавлялось. Бабы стояли, подперев рукой локоть, пригорюнившись. Девки беззаботно щелкали подсолнухи и, неизвестно чему, хохотали.

— Господа старики.— Захарка поднял руку, как бы говоря: «Пустяки кончились, теперь начинается главное».— Господа старики! Сказано: «Иде же двое, там я посередь вас». Как мы живем?.. Как супостаты!.. Ни лба перекрестить, ни поисповедоваться, ни младенца окрестить!.. Некому нам слово увещания сказать, чтоб по совести жили, чужого не трогали... Покойники по неделям лежат нехороненные: легко ли попу за тридцать пять верст приезжать? А как развезет по ступицу, то и по месяцам не видим его.

Стоящая возле баба всхлипнула, высморкалась.

— Мой-то младенчик нехрещеным так и похоронен.

— То и говорю, надо нам и об душе подумать... Все помрем, ни один не увернется. Вот по этому самому случаю нам ни спать, ни есть, а хлопотать об храме божием.

Кругом одобрительно загудело:

— Правильно!..

— Верно!..

— Не для ради мамона же все...

Захарка опять спокойно и уверенно оглядел толпу, чувствуя ее в своих руках.

— Сделаем сбор, раскладку, доброхотные даяния, кто сколько по силам, хуторяне которые тоже лепту свою, железная дорога даст, а я от себя жертвую на храм божий пятьсот целковых.

И опять загудело доброжелательно:

— Правильно!.. та-ак... Храм божий... Без бога ни до порога... Человек по совести говорит...

— Просить Захара Касьяныча, чтоб от общества ходатаем был и чтоб суммы сбирал...

— Про-сим!..

— Я согласен, господа старики, только выберите двух помощников, чтоб нареканиев не было.

Помощников выбрали. Захарка набрал всею грудью духу и опять заговорил хриповатым голосом, точно вбивал в эти сгрудившиеся около него головы:

— Теперь другое. Надысь ночью выглянул на улицу, глядь, двое полицейских идут. Гляжу, шинели у них подобраны и кушаками округ пояса прихвачены. «Что, говорю, такое?» — «А это, чтоб бежать ловчее...» — «По какому случаю?» — «А по случаю, говорят, размножения хулиганов. Проходу не дают: как ночью увидят, так бить...» Видали? Они должны стеречь покой населения, а они шинели подвязывают, чтоб ловчее бегать от воров...

Кругом благодушно побежал смех:

— Своя кожа ближе к телу...

— Знамо, в резвых ногах сила.

— И заяц ногам рад...

Захарка так же хмуро и пренебрежительно подождал.

— Вот по этому по самому я, господа старики, говорю. Пущай нам назначут полицию, и чтоб заседатель у нас жил,— поселение торговое, эва, раскинулось; по крайности, по ночам будем спать спокойно.

Кругом смолкло, перестали лущить подсолнухи, и лица недоумело поворачивались то туда, то сюда.

Потом, точно побежал ветер и зашелестело старой листвой, задвигались головы, и, все разрастаясь, пошел говор:

— Полицию захотел...

— Соскучился...

— На брюхо себе посади да цалуйся!..

— Нам она нужна, как кобелю шляпа.

И опять красно-лохматый Борщ согнал рассевшихся по крыше воробьев, покрыв все голоса:

— Га!.. невкусно? Который честный человек, ему полиция — первый друг... а ворам да мошенникам...

Но и его грохочущий голос не выдержал и потонул во взрыве голосов, сердито перекатывавшихся из края в край над злобно сверкавшими лицами и лесом поднятых кулаков, словно налетевший ветер вздыбил по степи черный бурьян.

— Дома настроили, теперь полицию!..

— Под железною крышею спать спокойно.
— Награбили, теперича на отдых.
— Грабители!.. Душегубы!..
— Сколько народу перепортили...
— Слез пролили,— в год не вытрескаете!
Захарка махал рукой и что-то кричал, но не было слышно... Видно было, как Борщ разевал широко черневший рыже-лохматый рот, но тоже не было слышно.
Над головами поднялась косматая, перехваченная ремешком голова сапожника. Он отчаянно мотал руками, как будто летел или плыл, загребая руками по воздуху, к Захарке, благословляя толпу. Но он не плыл, а изо всех сил старался не сорваться с высокого и узкого обрубка, на который взобрался.
И услыхали пронзительный голос сапожника, все так же отчаянно боровшегося с качавшимся под ногами обрубком:
— А ежели да честно человек заработать хочет, и тринадцать человек детей? Это как понимать надо?.. А то зараз: хвальшивый!.. полицыю!.. А между прочим доподлинно известно, Захарка торговал медвежьими деньгами; а то с чего бы так пошел?.. Сюды пришел лапоть на левой ноге, а теперя полицыя понадобилась!..
И, высоко подняв брови, закричал фистулой:
— Я, братцы, претензию зая...
Но обрубок одолел, и сапожник, последний раз взмахнув руками, скрылся. Кругом весело побежал смех.
— Нырнул!..
— Чеботарь полицыю не любит — сапоги хвальшивые шьет.
Захарка воспользовался.
— У кажного — семейство, у кажного — забота, кажный заработать хочет. Ну, только полиция не препятствует. Ежели потрафило, и от властей какое-нито беспокойство, ну, дал зелененькую — и шабаш. А то хорошо, что ль,— позапрошлый месяц в землянке восемь человек вырезали и денег всего нашли три копейки. До богатых им трудно долезть, оберегают себя, там и сторожа и рабочие, ну, а к бедному толкни дверь — и тут. Собственно, об этом и хлопотать, чтоб бедный ты, а все одно можешь спать спокойно — тебя оберегут.

А об ней нечего беспокоиться: сунул полтинник — и друг.

— Не то в шею тебе сунут.

— Да гноить по участкам зачнут...

Народ разбился кучками, кусая опять подсолнухи и беседуя о своем. Захар суетился, собирая подписи и деньги. Мещане косились с видом, что их не касается, и сплевывали шелуху. Купцы строго доставали кошельки. Железнодорожники шли к себе толпой, во все горло горланя песню, задевая девок и баб, а те, отворачиваясь и блестя глазами, кокетливо бросали:

— У-у, окаянные!..

За лавками били босяка, и он кричал:

— Ой, братцы, только по заду не бейте, зад у меня отбитый... Не трожьте по животу, операцию делал... Ой-ой, не бейте по ногам, ногами не владаю...

Солнце село.

Церковь стали строить со следующей весны.

Приехал поп, не старый, с внимательными, примечающими глазами. Осмотрел место, выбранное под церковь, недалеко от кладбища, и нахмурился.

— Негоже.

Место указал на базаре. Выборные возражали:

— Негоже и здесь,— грязь, гомон, божба, пьянство, драки, сквернословие, а тут храм, не лепо.

— Лепо,— не слушая, говорил поп,— храм божий нуждается в содержании, каждый на базар приедет, перекрестится, свечку поставит, а к кладбищу кто заглянет?

Построили церковь на базаре.

Мало туда кто заглядывал — некогда; только старушонки привычными фигурами темнели у вечерни. Ставили свечи, и толпился народ лишь в базарные дни.

Зато на страстной — яблоку упасть негде, и причт с ног валится. Как в конце усталого, изматывающего рабочего дня каждый бежал в трактир выпить сотку, чтоб прочахла голова и опять с утра потянуть лямку, так на страстной все бросали и бежали отговеться, поисповедоваться, причаститься, чтоб с облегчением начать ту же темную жизнь,— опять ругаться, мошенничать, бить жену и детей, пить и до одурения работать,

а в церкви лишь темнели божьи старушки и скудно мерцали редкие свечи.

Но к церкви своей привыкли. Привыкли слушать и считать, как бьют с колокольни часы. Колокольня была маленькая, приземистая, но колокола горластые, и далеко слышно по степи.

Сторож Ефим, правда, звонил по собственной системе, но к нему применились. Чтоб уложить поселок и самому пораньше завалиться, он к вечеру нагонял, отбивая часы через полчаса, а то и раньше. Зато ночью растягивал и бил через два, три часа, когда проснется от ломоты ног, выйдет из сторожки, поглядит на звездное небо, долго чешет спину и потом подергает за веревку, сколько покажется.

Мещане выправляли его систему.

— Слышь, восемь пробило.

— Какие восемь? Семь часов.

— Где же семь? На два дуба еще солнце-то. Откинь два и выйдет шесть.

— Дожж был ночью, вот бьет шибче — ноги ломят, хочет раньше лечь.

Привыкли к тревожному, мятущемуся над поселком ночному набату, когда все светло кровавым, вздрагивающим светом и застилает багровый дым, несутся по ветру горящие галки, несмолкающие ночные человеческие голоса, носятся, как безумные, ярко-розовые голуби, а колокол, будя людей и тревогу, поет свое в мрачной веселости.

В зимние бураны на поселок приходила степь, злая и белая, как смерть. Ночью плотнее притягивали двери и ставни и пораньше закрывали трубы крепко разогревшихся печей.

— О-хо-хо, буран пришел,— говорили, крестясь...

А он выл в трубе, гудел в крышах, безумно визжал в ставнях и просился человеческим голосом через стены.

В такие ночи улицы вымирали. Широкой белеющей мантией веяла мертвая жизнь, у которой — свои законы, и ходила по улицам, по площадям, через дома и заборы, холодно погребая растущими сугробами, а в мутно-белесой вьющейся мгле, в потерянных голосах мятущейся ночи, то утопая, то всплывая, отчетливо несутся мерные удары колокола.

Бабы, пригревшиеся в теплых постелях, прислушиваются к этому неустанному незасыпающему медному зову, носящемуся в бурном снежном море, крестятся.

— Сохрани и помилуй, господи, путешествующих, блудящих!..

Хромой Ефим в такие ночи — первый человек на поселке и — горд: целую ночь, то утопая и захлебываясь, то вырастая, уносимый разорванными клочьями, целую ночь зовет в безбрежной, мертво и грозно разыгравшейся степи медный колокол.

А наутро, когда стихнет буран и заваленная сугробами степь, мертво смеясь, засверкает под солнцем, в поселок везут замерзших в санях с лошадьми. Лица и глаза у них — белые, руки и шеи странно искривлены, а тело крепкое и звонкое, как лед. Подбирают их в сугробах на окраинах, возле садов, возле кладбища, возле землянок. И Ефим гордо говорит:

— Видал? А то бы невесть где, в степе по балкам да промоинам расползлись бы, до весны не отыскать, а то вот на звон-то и приблизились к поселенному пункту.

Привыкли к своей церковке и говорили:

— Дай бог здоровья Захару Касьянычу, все он,— и выбирали его церковным старостой.

X

— Коля!.. Голубчик, что с тобой... Коля!..

У нее безумно дрожали руки, конвульсивно дергались губы в предчувствии беды новой, иного горя, близкого к отчаянию. И хотя отношения их, жизнь их стояла на черте, за которой нет ухудшения, но какая-то последняя человеческая потеря, еще ею не понятая, но перед которой инстинктивно трепетала, заставляла кружиться голову.

— Коля!..

Он без надобности улыбался не своей улыбкой, с усилием подымая брови и слегка путаясь в липнувших к языку словах:

— Женушка... вот. Все хор-рошо... кончается... что кончается... Милая... я тебя люблю... любб-лю пуще глаза...

Она со страхом, с легким отвращением приблизила свое лицо к его лицу, и, хотя именно этого ожидала, запах коньяка поразил ее.

Он виновато поцеловал ее руку. Точно молнией осветилось перед ней, что это уже давно и что это в страшной форме — один запирается в комнате и пьет систематически и понемногу, чтоб не заметили.

Прежде, когда она ему делала сцены, плакала, рыдала, осыпала упреками, в ней билась горячая жажда борьбы, безумная жажда победы, жажда сломить, по-своему поставить жизнь, и таилось смутное ожидание, что в конце концов в жизни окажется она права.

Теперь бороться не с чем, что-то мертво приходило к концу.

Она всматривалась в дорогое лицо. Боже мой, как он изменился! И разве так много времени прошло?! Вместо курчавившейся бородки — широкая закрывающая борода. Мешки под глазами, большой живот и безразличие на одутловатом лице.

— Коля!.. Коля!..

«Ну, кто ж виноват? И как все это постепенно и незаметно. Дзянковский теперь — господин положения. Противный. И ко мне стал насмешливо относиться. Все делается, как он хочет, а Коля только улыбается да соглашается. И все служащие к Коле относятся как-то мимоходом. Бесхарактерный, тряпка!.. Ах, боже мой, боже мой, что за жизнь!..»

Она ушла к себе в комнату. Взяла зеркало, и на нее глянуло не прежнее обаятельное молодостью лицо; уже легло время, и тоненькие морщинки лучились около глаз.

Елена Ивановна зарылась в подушку, смачивая ее удерживаемыми слезами. Потом поправила волосы и прошла в детскую.

Девочка только что окончила уроки и болтала с гувернанткой.

— Катюша, ты кончила?

— Кончила, мама. Представь, mademoiselle говорит, что во Франции плохо читают Флобера, даже Мопассана. Мама, мама, представь... мало читают...

— Неужели же?

— Да, madame.

— Но что же там читают?

— Мамочка, разные скве-ерные приложения к газеткам и журнальчики.

— Как-то странно, не помириться: на родине Мопассана не читают Мопассана.

— Читают его и других классиков l'aristocratie intellectuelle [1], а массы — разные консьержи, приказчики и другие — не читают.

«А я еще ревновала к ней Колю... Один глаз у нее меньше и другого цвета...»

— Катюша, пойдем.

Они взялись под руку и вышли.

— Да какая же большая, дорогая моя дочка, совсем взрослая.

— Мамочка, я тебе по плечо и могу с тобой под руку ходить.

— Ведь теперь ты у меня — друг. Я не одна... Посмотри, кто-то идет, кажется?

— Это к папе со станции.

— Да нет... Ах!..

А девочка бежала, и в передней звенел ее голосок:

— Дядя... дядя... дядя Петя!..

Да разве это дядя Петя? Высокий, худой, с втянутыми щеками, в серой поношенной студенческой тужурке. Брюки сзади на сидении блестят, и внизу отрепанные бахромки. И бородка клинышком.

Обедали вчетвером и m-lle. Дядя завязал салфетку вокруг шеи, ел и в промежутках все время рассказывал, а девочка глядела на него во все глаза, с трепетом опасаясь пропустить хоть слово.

— Да ведь всего не расскажешь. И на оленях ездил. Раз поехал с товарищем. Мороз, снег синий. Санки узенькие; мы закутаны башлыками по самые глаза; сидим боком, еле приткнувшись. Ноги чертят снег, на полозья ставим. Олени заложили рога на спины — вот рога какие! — несутся, в лицо из-под копыт кидают, смотреть невозможно, лицо сечет. А ухо востро держать надо: чуть зевнул, опрокинули, и поминай как звали. Едем; утомительно снег мелькает. Молчим, не до разговору — дыхание стынет. Много проехали. Я говорю: «Как думаешь, верст двадцать сделали?» Молчит. Думаю — не слышит. «Верст двадцать сдела-

[1] Аристократия духа (*франц.*).

ли?» — кричу. Молчит. «Ты чего же молчишь?» Оглянулся — пусто, на санях никого. И назади, сколько глаз успел хватить,— никого. Что за чудо! А олени несутся — лицо режет. Натянул вожжу, свернул в сугроб, соскочил, подхватил на ходу санки; стою, оглядываюсь — никого. А кругом белеет тундра, верст на сто ни прута. Как провалился. Меня тревога охватила. Повернул оленей, вскочил и помчался назад. Верст десять проехал, гляжу — идет, злой, ругается. Оказывается, на ухабе зевнул, его и выкинуло, а я, занятый оленями, и не заметил. И уехать мог бы так, если бы не заговорил, а он бы замерз.

Девочка захлопала в ладоши.

— У нас, дядечка, тоже происшествие случилось! Приходит дьячок...

— Катюша так на меня все время смотрит, что я стал опасаться, как бы она меня не съела совсем с сапогами.

— У тебя сапоги старые, и дырочка сбоку. Дядя, ты уж старый? Отчего у тебя щеки серые?

— Да, посерел-таки. Наливать? — И Полынов добродушно-выжидательно полунагнул граненый графинчик, который торопливо тренькал о край жалобно звеневшей рюмки.

— Налей. Посереешь, как лет пять рыбку покормишь в Архангельской. Руки у тебя дрожат.

— Это у него недавно стало,— вздохнула Елена Ивановна.

— В глазу брата твоего видишь спицу, а в собственном...— Полынов, расставив влажные губы, опрокинул рюмку.

— И, как подумаешь, давно ли это все было: сидели в столовой, спорили. Темная ночь стояла, Катя спала, а Петя было запел: «Тореадор», по-козлиному немножко. Такой мальчуган был, румяный.

— Дядечка, а у нас происшествие. Вот, как освящали школу, священник приезжал, и обед у нас был. Вот дьячок подходит к стене на цыпочках и начинает рассматривать липучку, а она на стене прибита, чтоб мухи ловились, и мухи на ней поналипли. Смотрел, смотрел, потом оборачивается к маме и говорит: «Ка-акая о-тличная картина!. Мухи как живые». Он думал — они нарисованы.

За столом повеселело.

— Дядя, отчего у тебя губы нагнулись?

— Что-о?

«А он другой стал»,— подумала мать, глядя на желчно опущенные углы его рта.

Дядя Петя вечером, отдохнув и умывшись, отправился через поселок в рабочую слободку.

На станции, уже дымчато озаренной вспыхнувшим в сумерках электричеством, стоял содом. По широкой улице к ней шли и ехали без перерыва, и снег лежал, взбитый и серый. Голоса, скрип полозьев, выкрики, перебранка, фырканье лошадей плавали в еще не окрепшем сумеречном морозе между высокими домами с двух сторон.

В палисадниках перед домами белели по-зимнему голые деревья, а в морозных окнах, матово расплываясь, зажигались огоньки.

Из лавок через всю улицу, освещая снег и проходящих, лежат полосы света. На перекрестке, освещенный от рыжих усов до четырехугольных сапогов, полицейский, в форме, при шашке, с красным носом и добродушнейшим сонным лицом.

Человек, с востреньким носиком и озабоченным, в сапухе, лицом, торопливо бежал, согнувшись, с лесенкой на плечах и зажигал редкие керосиновые фонари.

«И не узнаешь!»

Петр свернул в переулок. Двое маленьких ребятишек, напружившись и наклонив головенки, везли на салазках кадушечку с водой, расплескивая. Все попадался спешащий народ в ватных кафтанах или теплых куртках.

— Не знаете ли, где живет Иван Матвеевич Волков? Он был помощником машиниста когда-то.

— Волков? Который же это Волков? Сказать бы, который мясом торгует, так у ентова нос перебитый, и он гундосый,— удивляется человек в наваченном кафтане,— не то от болести погундосил... От него уж два раза жена бегала...

— И не от болести, а палкой перебили,— возмущенно тонким голосом говорит баба, останавливаясь и обрадованно подхватывая разговор,— и не бегала жена,

сам прогнал, уж я знаю,— кривая, и ходит, ногой загребает. Не бондарь ли, что на выселках? Он тоже Волков и никак Матвеич, запамятовала: чи Иван, чи Митрофан.

— Знаешь ты много!.. бондарь!.. Шесть человек детей, а сам без порток. Надысь принес мне кадушку, а она тикёть, а не видишь, человек благородный спрашивает.

— А-а, да, Волков Иван Матвеич,— сердито проговорило, проходя мимо, рваное пальто,— он теперя не помощник, а машинист, пассажирские водит и домик свой. На Гусиный Зад ступайте,— и, оставив впечатление желтого раздраженного лица, черных взъерошенных усов и реденькой татарской бороденки и показав рваную спину, потерялся, а с деревянной колокольни ударили пять.

— Во-во-во!..— обрадованно заторопился кафтан.— Как есть, в самом Заду Гусином, как есть, свой домик, голубенький, и крыша красная, во-во-во!.. А энтот гундосый.

В Гусином Заду стоял голубенький домик, и Петр постучал кольцом.

Долго не отворяли. Около крыльца мяукала кошка, дрожа и подымая со снега то ту, то другую лапку. На другой стороне выскочил человек, с перехваченной ремешком лохматой головой, в одних подштанниках и ситцевой выпущенной рубашке, поскакивая босыми ногами по снегу, чуть не срывая с крючков и гремя болтами, азартно стал закрывать ставни, обиженно крича:

— Ну?!

А из-за окна глухо:

— Готово!

И, закрыв последний ставень, так же стремительно убежал в калитку, резво попрыгивая на снегу.

Петя погремел кольцом.

Из-за двери, не отворяя, женский голос:

— Кто там?

— Иван Матвеич Волков здесь живет?

— Тут. А вам чего?

— Можно его видеть?

— А вы кто такие?

— По делу. Дома он?

За дверьми помолчали. Потом тот же женский голос:

— Дома. А вы по какому делу?

— Как же я вам буду из-за двери объяснять?

— Ну, подождите, зараз.

Петр стоял и ждал. Кошка, мурлыча, терлась, согревая ногу. Загремел и стукнул о пол поставленный засов, щелкнула щеколда, дверь полуотворилась, и темневший рослой фигурой мужчина, не отстраняясь от двери, проговорил уверенным голосом:

— Вам что угодно?

— Не узнаете, Иван Матвеич?

Тот слегка нагнулся через порог. Кошка воровато шмыгнула меж ногами в комнату.

— Да никак Петр Иванович! Вот нежданно-негаданно! Ну, пожалуйте, пожалуйте... Что ж вы на морозе стоите?

Петр шагнул, и в темной передней конфузливо мелькнуло и скрылось белое платье.

— Пожалуйте. Не стукнитесь, притолоки у нас низкие. Вот сюда, в залик. Полина, где спички?.. А-а, вот они, тут, тут...

Петр стоял в темноте, должно быть посреди комнаты, слегка растопырив руки и не двигаясь, чтоб не опрокинуть чего-нибудь.

Дернулся ниточкой огонек, и, тыкаясь неловко под стеклом, коробясь в огне, обломилась на загоревшейся светильне перегоревшая спичка.

— А я думаю, кто бы это был,— надевая стекло и колпак с букетом запыленных искусственных цветов, говорил Волков, и сейчас же стало видно, что стерты краски и черты юношества, и на худое и вместе несколько обрюзгшее, с плохо обмытой нефтью и копотью лицо легла обыденность повседневной заботы.

И как-то внутренно связываясь с этим лицом, выступил из темноты маленький залик с полудюжиной венских стульев, с узким столиком в простенке, узенькой изразцовой печкой в углу, с одинаковыми фотографическими рамочками по стенам в порядке, а на них машинисты с каменными лицами и выцветшими круглыми глазами или группы стоящих рабочих, напряженно глядящих прямо перед собой, а посредине инженер самодовольно на стуле.

— Ну, садитесь, садитесь, гостем будете. Давно в наши палестины? Сейчас чайку нам соорудят, погреемся. Полина!.. Полина!..

И за дверьми тот же женский голос:

— А?

— Как бы нам насчет чайку.

— Сейчас.

— Ну, рассказывайте. Сколько лет, сколько зим.

— А вы женаты?

— Как же, как же!.. Пара ребят. Надолго к нам?

— Да не знаю.

Вошла с крепкой приподнимающейся под ситцевой кофтой грудью, слегка исподлобья поклонившись, с миловидным круглым лицом хозяйка. С неуклюжей молодой застенчивостью держа поднос, поставила на стол, расставила по концам стола — стакан мужу, стакан гостю, показывая загрубелые рабочие руки с необрезанными черно отросшими ногтями; а тарелку с сухариками поставила по середине стола, поправив ее, чтоб приходилась как раз посредине; повернулась так, как будто думала сама, что это делает долго и некрасиво, и хотела уйти.

— Это жена моя, Фекла, для культурности зову ее Полиной.

Она подала, сложив трубочкой, руку и отвернула голову. Из-за двери плаксивый детский голосок:

— Ма-а-ма! Иня-а-ка-а миня за но-ос т-я-а-ни-ить...

Лицо женщины засветилось и осмыслилось.

— Зовут,— и мягко улыбнулась.

— А у вас перемен тут много.

Волков по старой привычке откинул, как прежде, волосы со лба.

— Как же! Церковь выстроили. Каланчу видали? На будущий год острожное помещение будут строить. Захарка, хоть мошенник и эксплуататор, а много способствовал благоустроению. Открыл громадную табачную фабрику, маслобойный завод, большой чугунолитейный завод,— тысяч до двух рабочих. На главных улицах полицейские посты, а ночью обходы и облавы — босяков и разный бродячий люд вылавливают. Теперь нет этих безобразий — горланят, бывало, песни да дебоширят.

Он опять откинул со лба волосы, а Петр хотел и никак не мог вспомнить, как он говорил *тогда* в степи.

— Я к вам по делу,— сухо проговорил Петр, подымаясь и ходя из угла в угол.— «Свет»? — поднял он газетку с окна.

— Дда-а... да ведь читать нам некогда. Слезешь с паровоза, валишься спать. Это я у попа иногда беру, а для семейства, собственно, «Ниву» выписываю.

Петр остановился, глядя в упор.

— Скажите, как рабочие?

Дверь чуть разинулась узенькой щелью.

— Да никак.

Волков посерел, и глаза устало полузакрылись.

— Но ведь что-нибудь осталось же из прежних организаций?

— Какой там!..— он махнул рукой,— какие там организации, когда полиции напхали больше, чем рабочих.

Петр усмехнулся.

— А Кривой?

— Кривой! Эва, давно машинистом, и домик свой.

— А Бударин?

— Семейство, и домик свой.

— А Крыса?

— Спился.

— А Рябой?

— В Восточной Сибири. Лет на десять угнали да едва ли и выпустят.

— А Цеп?

— В тюрьме повесился. Царство ему небесное.

— Но ведь какие-нибудь связи у вас остались?

— Какие там связи! С нонешним народом разве сообразишь? Жрут, как свиньи в корыте.

Щель все больше и больше расширялась; дверь совсем растворилась, и на пороге стала хозяйка. В ее крепкой молодой фигуре было новое, глаза смотрели не застенчиво, прямо, ноздри раздувались.

— Разве можно!.. Да теперь кто скажет, зараз сцапают. А у нас семейство. Что это будет такое!..

Голос ее разносился крикливо и резко, наполняя маленький залик.

— Да и среди рабочих довольно предательства,— проговорил Волков и, нахмурив брови, повысил голос: — Фекла, ступай к детям.

Потом зевнул, разглядывая потолок.

— Сон морит. Продежуришь часов восемнадцать на паровозе, так, знаете, валяет.

Было накурено, душно и тесно, и лица все молодые, безусые, с характерными для рабочих втянутыми щеками.

— Я, товарищи, должен прямо и резко поставить вопрос: кто желает работать, должен подчиняться партийной дисциплине,— ни шагу вне указаний комитета; кто не желает подчиняться — уходи.

Петя говорил сухо, зло, не тратя слов, и складка на переносье резко лежала.

— Позвольте, но почему такое?.. Ежели я по-своему, думаю... и потом отчего?.. На пользу дела пускай всякий старается, а не то что по указке...

С сухим втянутым молодым лицом и так же хмурившимися, как у Пети, бровями рабочий, не смущаясь трудностью выражаться, с настойчивой упорностью отстаивал свою мысль.

— А то что же, я тут да и каждый вроде лошади,— запрег, дроги чужие, хомут не свой, погоняй, не стой. Я тоже желаю обдумывать и все такое.

Остальные молчали. Петя в этом молчании чувствовал враждебность. Видимо, и в них было то же, да не смели высказать.

— Во-первых, вас никто не неволит, и странно говорить о хомуте там, где люди работают во имя свободы. Во-вторых, здесь нет ничьего произвола. Дело решается суммой голосов, а не единолично. И как же вы себе представляете иначе работу?

Они чувствовали себя постоянно в тисках логических его доводов и, подчиняясь внешне, носили в глубине свое, что, казалось, до времени надо таить и прятать.

— Конечно!.. Ну, да это что... Да что толковать!

— Правильно!..— послышались голоса.

Петя работал не отрываясь. Организовывал кружки, чтения, доставку литературы, завязывал связи с рабочими по линии. И чем успешнее шло дело, тем суше были

его слова и отношения, тем деспотичнее заставлял работать окружающих, и тем легче подчинялись ему с затаенной,— он это чувствовал,— враждебностью.

Был только один Петя, и видел он так, как было или как оно казалось всем. Степь была пустынна, скучна, пуста, с изредка вкрапленными хуторами. Поселок, полный полуодичалого мещанства, рвущегося в тупой звериной борьбе. Рабочие, культурно мало отличающиеся, с которыми все приходится начинать с азов. Цель, та цель, во имя которой он работает, бесконечно далеко теряется в мутных грядущих днях, и на этот счет он ни на одну минуту себя не обманывает. Но в глубине, где-то в глубине души, свернувшись комочком, лежало толкавшее его на работу, без мотивировки, без доказательств, без живого поощрения; оно просто заставляло торопливо подыматься утром, едва хлебнув чаю, бежать, прячась и скрываясь, ездить по линии, перед станциями соскакивать и идти пешком, чтоб не арестовали, спорить, бороться со своими и жить в вечном напряжении ожидания, что заберут. Слова: «прибавочная стоимость», «буржуазный строй», «борьба классов» и другое, чем он непрерывно оперировал, превратились для него в такой же привычный жест, как для верующих крестное знамение.

— Петя,— говорила сердобольно Елена Ивановна, наливая ему чай,— а устал ты.

— Дядя Петя, ты революцию делаешь? — спросила Катя, не отрывая от него сияющих глаз.

Петя сердито зашагал по комнате.

— Дядечка Петечка, ты не сердись, я читала «Великую французскую революцию». Дядечка, отчего это Марат за народ стоял, а Кордэ его убила, а она такая красивая?

— А, ты уж революции читаешь? Где же ты этого козьего духу набралась?

— Представь, заберется к отцу в библиотеку и читает все подряд.

— Выдрать надо да носом в угол. Ей не в библиотеках, а учиться.

Катя вприпрыжку поскакала из комнаты, напевая:

— Forme-ez vos batai-llo-ons!..

И, делая из тоненького голоска бас, добавляла гундосо в нос:

— Pour la natio-o-on!..

— Будущей осенью отвезу в гимназию, в пансион отдам, прямо в третий класс будет держать,— способная! Останусь я одна. У нас, Петечка, жизнь сложилась очень... очень тяжело.— Елена Ивановна вытерла навернувшиеся слезинки.— Со стороны ничего не видно, а я очень несчастна... мы очень несчастны. Коля пьет... Ты никому только не говори,— она опять заплакала,— и уже давно, главное, в одиночку, потихонечку.

— Я заметил.

— Не знаю, чем это кончится. Так тяжело, так тяжело.

И, вытерев красные глаза и высморкавшись в батистовый платок, проговорила, подняв на него любящие глаза:

— Петечка, а ты женишься скоро?

Тот поставил допитый стакан, отмахнулся сердито и ушел.

Когда провожали Петю, Катя, как стопочка, так и стояла около него. А Елена Ивановна с материнской нежностью говорила:

— Полюбить, Петечка, это легко и весело, а главное-то пото-ом!.. Помнишь, когда ты уезжал прошлый раз, был такой розовый, пухлый, так хотелось улыбаться, глядя на тебя, и хорошо делалось на душе, а теперь у тебя усталые глаза и углы рта опущены.

— Все так кончают.

— А я, дядя Петя, а я?

— А ты замуж выйдешь.

— Фу-у!..

— И домик свой будет...

— Фу, какой ты злой, дядя Петя.

— Прощайте!..

— Прощай, дорогой!..

XI

Переменилось у Захара Касьяныча. Уже не держал он при доме ни лавок, ни магазинов, ни гостиниц, ни лесных бирж. Все разбросалось по поселку. Не уставая, дымили высокие фабричные и заводские трубы.

Недалеко от фабрики, на месте прежнего подворья, стоял строгий, несколько мрачный трехэтажный дом

под коричневую краску, с полуготическими окнами, со стеклянным навесом над подъездом. Весь низ отошел под контору, а верхние два этажа занимал Захар Касьяныч с Сережей.

Сережа вытянулся, но ходил все с такой же огромной желтой головой, и большие, на всем останавливающиеся с удивленным вниманием глаза были темно обведены.

Худой был, словно хилое тело с трудом напялилось на острые кости, и, не противореча худобе и тщедушности, был мешковат и неуклюж.

Огромные дела, которые умело направлял Захар Касьяныч и которые шли с мощной мерностью, разрастаясь в силу приобретенной инерции, заполняли все его время. Приходил домой, раздевался, входил в зал, крестился на большие образа в тяжелых серебряных ризах и говорил:

— Сережа!

Уже одно это имя, прозвучавшее в пустоте огромного зала, будило в сердце старика ощущение покоя, уюта, ощущение домашнего очага.

— Что, дедушка? — слышался слабый молодой голос, разом наполняя весь холодный дом.

Садились вместе завтракать или обедать, и к столу приглашался учитель, который жил у Захара Касьяныча.

Он был в студенческой тужурке, близорук, и случайно женился на уроке в имении. Это случилось так. В бывшем помещичьем доме, за большим обеденным столом сидела вся помещичья семья: ражий, из деревенских кулаков, хозяин, чахоточная жена, учительница при девочках, с большими красными руками и незначительным лицом, и студент-репетитор.

Он держался замкнуто и сухо, а с учительницей только здоровался, когда сходились к столу.

— Даром денег платить никто не станет,— повел речь хозяин,— найми работника: что ж, положишь его, высыпайся, мол? Давеча гляжу, девочки через веревочку прыгают наместо того, чтоб заниматься...

— Перерыв был,— пунцово краснея и глотая суп, со слезами, чуть слышно, сказала учительница.

— Перерыв!.. Знаем мы эти перерывы. Ежели да такие перерывы у рабочих, так в трубу вылетишь. А то за-

тянется в кирсет, виляет задом, направо, налево,— и за это денежки гладит...

— Не сметь оскорблять! — вскочил репетитор и ударил кулаком по столу, так что посуда вся запрыгала, жалобно зазвенев.

Хозяин опешил. Все затаились.

— А ты... ты с которой стороны ей родня?

— Молчать, или я башку размозжу... Она моя невеста!

— Ну, ну... уж и осерчал... Так бы и сказали... Чего тут...

Через три дня они повенчались, через месяц разошлись, раздражаясь друг другом...

— Сергуня,— говорит старик,— я там распорядился в конторе, чтобы выписали книг тебе. Вот Александр Аркадьевич сказал, что нужно.— И подозрительно смотрит на подающую горничную с полудетскими робкими глазами и черными крылышками на голове, придающими ей прелесть беспомощности. Старик держит ее на случай, если понадобится женщина Сергею, и ревнует к репетитору.

— Да, я дал список,— снисходительно отзывается репетитор.

Репетитор писал здесь кандидатское сочинение, и все, что кругом, было мелко, ничтожно, как обстановка на почтовой станции, где застрял, и надо ехать дальше.

Старик осторожно, почти робко смотрит на Сергея, чувствуя, что у него — другие интересы, другие мысли, и тем значительнее, что это интересы и мысли Сережи. И он старается войти в них и говорит:

— Вот вы надысь объясняли: дескать, Карла Маркс рабочих вызволяет. А по-моему, так: хорошо, рабочий, он при своем месте, хозяин при своем. Стало быть, оно так и должно быть. Я не говорю, как оно будет, может, оно все перевернется, и по Карлову выйдет, не говорю, а что касается настоящего, так тут хаять нечего. Это все одно, хаять дожж, когда туча пришла. Туча пришла, дожж будет, а без тучи дожжа не будет, хочь лопни. Так оно и понимать надо.

— Человеку бог дал ноги, а мы с вами по железной дороге ездим,— небрежно роняет учитель,— нет дождя, стреляют в небо — дождь идет.— И, зевая, добавля-

ет: — Так-то-с. Не нашего ума с вами дело, Захар Касьяныч.

Сережа глядит на обоих все теми же круглыми внимательно любопытными глазами. Ему все хочется понять, чего они вслух не говорят, заглянуть по ту сторону слов, и эта напряженность ожидания отделяет его от них.

Во время занятий он вял, с серым безразличием на лице, но понимает и учится хорошо, и вдруг спрашивает, словно отвечая мыслям, которые скрываются за необходимо казенными словами занятий:

— А теперь ваша жена одна? Что она делает?

— Ну, это никакого отношения к геометрии не имеет... да и вообще к вам никакого отношения не имеет...

Но, очевидно, это и есть настоящее, что за словами, за спокойствием обыденности занятия, потому что репетитор сердито взбрасывает на нос пенсне и, слегка приподняв голову, чтобы оно не свалилось, начинает ходить большими шагами по комнате, совсем забыв про Сережу, у которого очищается место для настоящих мыслей.

И все, что кругом: и эти высокие узкие окна, темные лепные потолки, шкафы, заполненные книгами и учебными пособиями, в комнате для занятий, громадные парадные, несколько мрачные комнаты, большой штат прислуги, полная довольства, спокойная, чуть скучная жизнь — все это, как и слова, стоит перед глазами. А позади смутно, неясно, все дальше и дальше отходящими назад, потухающими воспоминаниями: большой двор, обнесенный забором с гвоздями кверху, скрипуче кланяется журавель над колодцем, собаки гремят волочащимися цепями, девки с заспанными лицами зевают на крыльце и переругиваются скверными словами. А сверху по лестнице — гул и шум, крики, песни.

А когда поднимается по лестнице, густо от дыму табачного, трудно дышать, а за стойкой дед, и глаза у него волчиные.

Эти колючие глаза, этот никогда не падающий гул и говор кажутся настоящим, действительным, что стоит за словами, за всем, что есть и что происходит теперь. Сережа не может разобраться, но его тянет назад, к этому смутному прошлому.

Толстая, неповоротливая бабка вспоминается, с желтым налившимся лицом; кряхтя, она подымает его, ма-

ленького, и трудно несет в полутемную комнату. Он больше ничего о ней не знает и не помнит.

— Дед, отчего бабка умерла?

Дед не любит прошлого и, густо навесив брови, роняет:

— Водянка.

— А матери я не помню.

И помолчав:

— И отца.

Сережа чувствует: заискивающе дед заглядывает ему в глаза, и это помимо воли кладет между ними черту. Все знают: если надо просить деда, чтобы не было отказа, надо просить через Сергея, но Сережа редко обращается к нему с просьбой.

Захар Касьяныч с другой стороны пытается проложить дорогу к душе, к мыслям, к интимному Сережи.

Заходит в библиотеку, всю обставленную шкафами из красного дерева, и сквозь стекла тесно глядят золотым тиснением томы. Сережа с Александром Аркадьевичем сидят, читают, каждый свое.

— Ну, здравствуйте, господа ученые. О чем, по каким наукам изволите образовываться?

Сережа начинает глядеть в окно, а Александр Аркадьевич откладывает книгу и поправляет пенсне, как будто говорит: «И чего нужно? только мешаешь...»

— По политической экономии... Родбертуса.— И насмешливо добавляет: — Это, изволите ли видеть, книга, как разбогатеть.

Старик делает вид, что не замечает насмешки, и говорит:

— Брал я у вас тут книгу одну, про господина Дарвина рассказывается. Большого ума человек, и смотрит в корень. Ну, только и он не во всем правильный. Почитаешь про него и чуешь: что человек, что зверь — одно, и внутренность одна, и закон один. Оно, правду сказать, так: либо ты держи за глотку, дави, либо упустил — тебе зубы всодят в глотку. Середки нету. Это так. Ну, а между прочим, куда же совесть? Ведь она, как-никак, есть. Кабы не было, легко бы жить. Вот то-то я говорю, господин Дарвин промашечку тут дал,— которое место для совести.

— Я вот читал тут. Так политическая экономия учит: богатство начинается с грабежа.

Старик потемнел, как туча.

— Мда-а!.. То понять надо, молодой человек, что с возу упало — пропало. Нечего в навозе копаться, а смотри на продолжительность жизни человека. Как человек? опомнился? нашел место совести? Хорошо. А копаться в навозе нечего, только беса тешить.

— Вы нам мешаете читать, Захар Касьяныч.

— Ну, ну, уйду, уйду, это я так, на минуточку заглянуть. Стариков-то молодым не надо. А, между прочим, наука не для одних молодых, а и старым надобится. Теперь на фабрике поставил новые котлы,— думала же голова над ними, отличные котлы. И ежели наука об котлах думает, почему же она не может думать об жизни, которая всем нужна? Как лучше устроить... Ну, ну, ну, не буду мешать, пойду.

Он дошел до двери, вдруг повернулся, глаза и голос помягчели:

— Сергуня, а об чем говорили, исполнено.

И пошел, с длинной белой бородой, важный и сильный, по отношению к учителю, ко всем, кто окружал, и уже слабый, уже старик, ищущий ласки и тепла по отношению к Сергею.

А Сережа опять так же скучно глядел в окно. Каждый раз, когда дед боролся, когда под густыми бровями загорались умные волчьи глаза, Сережа, не отрываясь, с возрастающим любопытным вниманием глядел на него, точно все еще не мог разглядеть, точно все еще дед какой-то новой стороной оборачивался к нему. И когда дед приходил в библиотеку, брал книгу, долго пунктуально рассматривал, а потом читал у себя в кабинете, в огромных, с железной заржавевшей оправой очках, читал медленно, трудно и упорно, точно каменную стену разбирал, иногда произнося вслух слово или целую фразу, Сережа смотрел на него с тем же внимательным, неотрывающимся любопытством.

Старик читал одну и ту же книгу долго, месяцами, иногда по полгода, и, когда высказывался, в его неуклюжих, не книжных, домашних словах были тяжелые, густые мысли, иные, чем какие высказывал учитель, и Сережа прислушивался к ним.

Как только дед становился ласков, мягок и послушен Сергею, Сережа точно отодвигался, точно разом ложилась между ними черта отчуждения.

Хотя жизнь у Сережи шла, не зная ни в чем отказа, но казалось ему, что все это пока, временно, преходяще, не настоящее, а настоящее где-то не то в смутном прошлом, не то в будущем, которое он не мог угадать и которое смутно складывалось из разговоров, из занятий с учителем, из книг. Так проходили месяц за месяцем, год за годом.

Кругом Сережи, далеко раскинувшись, бесчисленно стояли дома, шумели живые улицы, площади. Заслоняли они степь, не знал он степи и не любил,— казалась она пустынной, мертвой и плоской. Но и жизнь, кипевшая на улицах, в домах, тоже была для него чужой. В странном равнодушии и усталости ждал он чего-то неведомого.

Как-то, подходя к кабинету и думая о своем, остановился у дверей: голоса деда и учителя сердито покрывали друг друга.

— Я попрошу вас мне таких замечаний не делать. Она мне совершенно не нужна. Да и вообще...

— Али я у себя уж не хозяин?

— Да и вообще, вы на свой аршин меряете: кажется, в свое время спуску не давали, так и других...

— Что-о?! — загремел дед,— опять в навозе полез копаться... А я тебе скажу: ты со всеми твоими книгами и правилами мизинца моего не стоишь, дня одного моей жизни не стоишь. А-а, проповедуете, из пальца сосете, как из книжек вычитываете, а я на своей шкуре вынес... Это ежели ты честный с амвона там, али из книжек, али родители научили, так эта честность ломаного гроша не стоит; а моя честность, брат, кровью куплена... кровью, слышь?..

Сергей отошел, странно чувствуя, что это то, что за обыденностью, что за словами, точно приподнялся краешек.

На другой день прислуга сносила вещи учителя в стоявшую у подъезда коляску. Сережа без сожаления протянул руку. У учителя было злобно-презрительное лицо.

— Вы теперь к вашей жене поедете?

— Не ваше дело.

Коляска покатилась, а Сергей долго смотрел ей вслед,— снова все было просто.

И однажды блеснуло необыкновенное. Он с дедом ехал в фаэтоне. Вороные, роняя пену, несли крупной рысью. Назад бежали вывески, магазины, лавки, и отставала пыль. В зеркальных окнах аптеки краснели огромные шары, и на углу стояли ободранные извозчики. Обыватели снимали шапки ласково кланявшемуся Захару Касьянычу или недружелюбно провожали катившийся фаэтон злобными глазами.

Среди чужих людей, среди чуждой обстановки блеснула живым пятном девушка.

Она шла легко и свободно, и на секунду перед Сережей мелькнули большие серые глаза, тонко вырезанные ноздри, выражение беспечной насмешливости, прядь золотистых волос и — опять вывески, лавки, магазины и ободранные, дремлющие на козлах извозчики.

Сережа схватил старика за руку.

— Дедушка!..

— Ась?

Петя получил от Елены Ивановны письмо:

«Дорогой Петечка, прости, что не отвечала на твои письма, за этот год столько пережито, столько пережито, как не переживешь за десять лет. Коля вынужден был уйти с железной дороги,— ты знаешь его несчастье,— мы остались на улице. Сбережений у нас никаких, мы все проживали. Ах, Петечка, какое страшное было время! Ты понимаешь, что я ни о чем не могла думать, ни писать. Коля с его болезнью, конечно, никуда не мог попасть. Кто его возьмет? А если и возьмут, через месяц, через два, как только обнаружится, попросят уйти. Я была в отчаянии, руки опускались.

И всех нас выручила Катюша. Ведь она уж на курсах. Ты не можешь себе представить, какая красавица! А как распоряжается нами!.. Вот где-то познакомился с ней Короедов Сергей; это — внук нашего богача Захара Короедова; помнишь, его все Захаркой звали. Сергей стал у нас бывать. Только чудной он какой-то.

Костлявый, голова, как пивной котел, сам желтый, все молчит и на нее удивленно смотрит, просто впечатление дурачка оставляет. А что-нибудь скажет,— такое ядовитое, умное и злое. Все наблюдает и примечает.

Катюша на него мало обращала внимания: приходит, сидит, ну, и пусть себе сидит. Только Сергей-то все замечает, что нам трудно жить. Катюша с ним ни слова об этом. Боже упаси, такая гордая, и заикнуться не позволит.

Только смотрим, раз останавливается короедовская карета. Сам старик пожаловал. Мы растерялись. Зачем? Принимать или не принимать? Ты знаешь, конечно, что Коля стрелял в него и он год лежал больной. Конечно, об этом ни слова. Старик очень умный и тактичный. Рассыпался в любезностях. Заявил, что ему нужен директор-распорядитель с высшим техническим образованием на фабрику и заводы,— открыл новый завод сельскохозяйственных орудий,— и что он случайно узнал, что Коля свободен, и приехал убедительно просить принять его предложение. Жалование — шесть тысяч, квартира, лошади.

Коля все время сидел и угрюмо молчал. Ведь он этого человека когда-то было убил; понимаешь, как-то неловко.

Посоветовались мы. Коля и после него все время молчал, а потом раздраженно почти закричал на меня: «Да ведь он не донес на меня, понимаешь, это вот где у меня сидит!» А потом пошел к себе и напился. Ах, Петечка, Петечка!..

Я стала плакать,— ведь у нас Катюша, мы на улице, что же дальше? Ну, он послал, что согласен. Теперь мы прекрасно устроились, и я первым долгом подумала о тебе.

Знаешь, Петечка, ты можешь отлично устроиться. Население страшно нуждается в адвокатской практике. Есть тут разные ходатаи, да все подпольные.

Рада я ужасно, что ты женился, и буду в восторге познакомиться с твоей женой и поцеловать твою крошку.

Чувствую, что ты устал. Да ведь это так понятно: столько лет биться с нуждой, и просвету нет. Страшно хочется помочь тебе, и страшно рада буду жить вместе.

У меня есть маленький план. Только я не скажу тебе до твоего приезда. Впрочем, нет: уж расскажу. Видишь ли, у Захара Касьяныча такие огромные дела, что ему необходим свой постоянный поверенный. У меня большие надежды, что это осуществится, а тогда

ты обеспечен. Не медля ни минуты, приезжай прямо к нам.

Ну, до скорого свидания. Все тебе кланяются и крепко целуют.

Твоя *Лена*».

Когда Петр Иваныч приехал с семьей, в доме Полыновых было большое возбуждение: рабочие фабрики и заводов Захара Касьяныча вот уже полтора месяца как бастовали, и Катя с кучкой молодежи организовала кормежку истощенных, изголодавшихся детей.

Поселок жил своей обычной торопливой жизнью. По вечерам высыпали бесчисленные степные звезды, и мигали, красновато коптя, керосиновые фонари. Та же сутолока была на станции, на постоялых дворах, в гостиницах, на базарах. Так же лихорадочно строили в центре дома и рыли по окраинам землянки.

Только молча не дымили фабричные и заводские трубы, да в сумерки иногда попадались казачьи разъезды. И если случайно встречался рабочий, он шел с землистыми запавшими щеками и на минуту подымал глаза, угрюмо блестевшие не то усталостью и голодом, не то сдержанным озлоблением и упорством.

Катя с восторгом встретила Петра Иваныча

— Дядечка Петечка!.. Вот чудесно, что вы приехали! Теперь нашего полку прибыло. Вы не знаете, что тут делается. Есть тут студент Борщов, их все дразнят «Борщами». Его отец рыжий, а он тоже кра-асный, так он, дядечка, даже манную кашу научился варить, я ношу детям. А Сергей!.. Но он странный, молчит да улыбается. Да вот вы увидите всех. Это — моя команда. Я распоряжаюсь ими. Ах, как хорошо, что вы приехали.

— Нет уж, пожалуйста, только меня в покое оставьте. Терпеть не могу этих филантропических затей.

Катюша сложила губки трубочкой и протянула:

— Ну-у-у...

И заметила, что у дяди Пети было поблекшее лицо, борода и усы.

Когда Петр Иваныч говорил с Захаром Касьянычем, тот, подготовленный уже, с первых слов предложил прекрасные условия. Потом, помолчав и кольнув внимательно острыми из-под бровей глазками, сказал:

— У вас ведь прошлое?

Петр Иваныч злобно, не спуская глаз, бросил:

— У кого нет прошлого?

Старик усмехнулся:

— Правильно. Стало быть, по рукам.

Сергей осмотрел всего себя, потом ощупал,— да, тощее тело, как надето на острые тощие кости. Потом долго смотрел в зеркало и взял, примеривая, голову вдоль и поперек,— уродливо несоразмерная.

Он вздохнул. Долго ходил по комнате, глядя в пол и торопливо ища мести, и, наконец, поднял голову с злой улыбкой. Но ведь она обязана ему. Он устроил ее отца, ее дядю, дает деньги на кормление детей. И хотя ни одним словом, ни одним жестом ей не дано этого понять, но все равно обязана. И еще больше будет обязана эта гордая девушка, и это — сладкая месть за его уродство.

Сергей пошел разыскивать деда.

По улице над крепкой примерзшей грязью упорно несся ветер, просекая лицо мерзлой пылью, валяя клубы дыма из труб.

Весна давно пришла, согнала снег, зазвенела птичьими голосами, все обзеленила, вынула вторые рамы, заглянула в настежь раскрытые на улицы окна, через которые неслись из комнат смех, детские голоса, говор. И вдруг свернулась, опечаленная, примолкла — стал дуть ветер день и ночь без отдыха, без перерыва над слегка звеневшей по вечерам, подмороженной землей. Он прилетал откуда-то из степей, уверенный, упорный, вот уже вторую неделю,— и окна закрылись, птицы замолчали, зелень приостановилась, люди ходили, ежась, жмурясь от холодной, несшейся, всюду забившейся пыли. А за домами с подветренной стороны, где было тихо, тепло пригревало сиявшее на голубом небе солнце, и куры сидели кучками.

«Ах ты, как одолевает!.. Как весны-то хочется...» — и вдруг увидел деда в длиннополой стариковской шубе и мохнатой, по самые уши, шапке; длинно развевалась седая борода.

К деду вместе с Сергеем подошел фабричный конторщик и, низко сняв шапку с сейчас же растрепавшихся ветром волос, проговорил:

— Напрасно, Захар Касьяныч, пешком ходите: знаете, какой народ, обозлен, зверь; приказали бы заложить экипаж.

— Ничего, ничего, Федулушка, бог даст, обойдется. Пойдем, Сергуня, завтракать. Федулушка, скажи там, чтобы Николай Николаевич котлы осмотрел.

— Слушаю.

В высокой с полуготическими окнами столовой дед проговорил:

— Хочу тебе, Сергуня, сюрприз сделать. Сегодня письмо послал. Весна идет, занудился ты тут. Только не спрашивай — все одно пока не скажу.

Горничная с крылышками на волосах обнесла блюдо. Сергей взглянул на нее, но чтоб только вспомнить ту, другую золотую головку.

— Я к тебе... поговорить хотел.

Дед мельком и пытливо пробежал по его лимонному лицу, которое стало сухим и замкнутым.

— Ну, ну, что же, поговорим...

Сергей поиграл желваками на желтых щеках и сказал кратко:

— Прекрати забастовку.

Старик проглотил разжеванный вставными зубами кусок и пожевал губами впустую.

— Это в каком разе?

Сергей вскочил, опрокинув тарелку, и закричал высоким срывающимся фальцетом:

— А потому!.. Безобразие это!..

Но тотчас же сел и подпер голову кулачками.

Старик подождал, лучше заправил салфетку и позвонил.

— Перемени тарелку. Видишь, Сергуня, нельзя так, со скоку,— либо не допрыгнешь, либо далеко перепрыгнешь. Надо, чтоб в аккурат.

— Прекрати забастовку.

— Не я начал. Как же мне прекратить?

— Прекрати забастовку.

— Что заладил, как сорока?

— А то, зверь ты!

Медлительно-певуче бархатным ударом пробило на стене час.

У старика сделалось лицо таким же сухим и замкнутым, как у внука.

— Дед, ты меня не пустил в университет...

— В университет хоть сейчас все дам...

— ...не пустил в университет, ты обещал мне за это волю, всё...— упрямо, не слушая, говорил внук.

— ...в университет хоть сейчас...— продолжал свое старик, не давая себя прерывать,— на университет все дам, золотом дорогу туда усыплю, ну, только просил, про-си-ил,— старик повысил голос,— что старый я, один останусь...— и вдруг просительно, как ребенок: — про-си-ил, Сергуня, тебя... одного человека в свете, раз в жизни просил тебя.

— Дед, прекрати забастовку... Ты ведь не знаешь, что это для меня!..

— Ага, понимаю... знаю, откуда ветер!

Старик вынул зубы, положил в стакан: делал это, когда собирался бороться, точно все лишнее мешало.

Когда заговорил, слегка зашипел, и это придавало речи особенную убедительность.

— Все трогай, все твое, а этого не касайся! Не касайся, тут жизнь надо прожить. Ты без понимания, без чувствования.

Поднялся и свесил седые брови, высокий, седой и строгий.

— По щепочке строено... Тут закон, Серега... Мы с ними цепью округ шеи связаны, братья али враги, держим друг дружку за глотку и смотрим в глаза. Как какой послабеет, так другой зараз свалит. А друг без дружки не можем: пропадут они — пропал я, пропал я — пропадут они. Не ворог я, Сергуня, закон соблюдаю, Сергуня!.. Постой, куда ты!.. Слышь, где найдешь такое для рабочих? Школу ребятам устроил; театр на рождестве устраивают, деньги отпускаю,— люди ведь. На пасхе разговенье на мой счет, а ведь их до двух тысяч... Больница выстроена, доктора не нахвалятся, не наудивляются. Где найдешь такое? В столицах на сто фабрик одной не придется такой. Врешь, не зверь, не зверь, а закон человеческой жизни соблюдаю, закон страшный соблюдаю, чтоб порядок был.

Старик вдруг заторопился, сделался маленький, сгорбленный. Торопливо полез пальцами в стакан, ловя и плеская, поймал, опрокинув и разлив по скатерти, и так же суетливо, тыкая и не попадая, надел зубы.

Заговорил чистым без присвиста и шипения голосом но слабо, старчески дрожаще, просительно:

— Сергуня... ах, Сергуня... Ну, дай сроку недельку, дай только недельку, их подведет, сдадутся, все покрою, все вознагражу. К рождеству всем наградные, бесперечь всем, наградные в размере месячной получки... и к пасхе, слышь, и к пасхе столько же... Да они ноги целовать будут, не снилось такое счастье. Только дай недельку... только сломить... сами будут рады своему счастью...

Старик хватался за внука.

— Никого не тронут... начальство упрошу, взятку дам... ни одного ареста не будет, только...

Немножко сутулая, худая и узкая спина Сергея виднелась, удаляясь, в дверях.

Старик с отчаянием протянул руки.

— Сергуня!..

Тот вдруг повернулся, узкий, костлявый, с глядевшими изо рта огромными зубами, подошел вплотную и, помолчав, проговорил с нескрываемым ужасом на лице:

— Скажи мне... скажи мне правду...

Под глазом быстро задергало судорогой, и рот странно стало вести на сторону. Он опустил голову и быстро вышел.

— Сергуня...

Куда бы ни шел Сергей, с кем бы ни встречался и ни говорил, днем ли, вечером ли, или когда наверху все в звездах, казалось ему, все расположено, все тянется, все лица, сами того не замечая, повернуты в одну сторону: туда, где за фабрикой в палисаднике качаются акации и во втором этаже в больших, всегда хорошо протертых окнах тонко белеют тюлевые занавеси.

Но, когда подходил к дому, резко поворачивался и шел бродить.

Шел бродить по улицам, еще холодным, но уже прогреваемым весенним солнышком, по гомоневшей народом площади, обставленной лавками и засоренной соломой и навозом от последнего базара.

В лавках толклись покупатели, до хрипоты торговались бабы, убеждали приказчики. Возле одной толпилась кучка. В середине стоял растерянный казак, с испуганно озирающимся на руках котом, и держал в поводу понуро стоявшую за плечами взмокшую от гоньбы, оседланную старым седлом лошадь.

Бородатый степенный купец с животом объяснял:

— Недомерок.

— Да как же так,— захватывая широко раскрываемым по-хуторски ртом воздух, захлебываясь, говорит казак, махая рукой,— сами же говорили... Загнал коня...

— Гляди,— говорит купец, растягивает барахтающегося кота по земле; приказчик, сдерживая прыгающие щеки, ловко прикидывает коту аршин от носа по кончик хвоста,— полтора вершка не хватает,— недомерок, а то бы сейчас получай три целковых.

Купец и приказчик с веселыми глазами скрываются в лавке.

— Вишь, оказия,— говорит казак обступившему народу, запихивая барахтающегося кота в мешок и приторачивая к седлу,— их степенство, стало быть, купец, насчет котов заказ изделали. Стало быть, во Хранции, в хранцузском городе в Париже коты потребовались и неизвестно, для чего. По три целковых скупают. Раньше на сорок мода была...

— Бабам на шляпы.

— Во, во... чисто всех выбили, по гривеннику с сороки платили, а теперича на живых котов мода пошла... Заработать хотелось. К весне чисто все подобралось, за пятнадцать верст гнал. И кот, кубыть, добрый, с поросенка хорошего, ан вот... хтошш его знает!..

Сел на покачнувшуюся устало лошадь и затрусил через площадь.

Хохотали приказчики, купцы, покупатели, хохотала площадь. Базар запасся на неделю гомоном, смехом и разговорами.

Сергей пошел по улицам бесцельно. Всюду по-весеннему копошился народ. Скрипели арбы с живностью на станцию.

Проехали немцы на гнедых лошадях. Две коннозаводческие тройки проскакали, заливаясь в серебре и бубенчиках.

Долго шел, пока перестали попадаться лавки, двухэтажные дома сменились одноэтажными, а одноэтажные — мазанками.

А за мазанками глянула степь забывающейся среди домов голубоватой далью, чуть зазеленевшая, вся распростертая навстречу весеннему безоблачному небу, навстречу ласковому солнцу. Еще не проснувшимся покоем, тихим и радостным, веяло и тянулось кладбище. Акации распустились, нежно и зелено закрывая его, а по дальнему краю белели новые кресты.

Ребятишки шмыгали кучками, как воробьи, ставили западни на птиц и пищали в пищалки из стручков акаций.

Человек в картузе, безбородый и безусый, в промасленном, блестевшем пиджаке, деловито шагал с гробиком под мышкой. За ним так же деловито и большими шагами шла женщина в платочке, молодая. Держась за подол, спотыкались двое ребятишек, сопливые, напряженно глядя на свои босые мелькающие ножонки.

Проехал поп с дьячком на дрогах, с бабьими волосами из-под широкой черной шляпы,— хоронить сразу несколько гробиков. В разных местах белели платочки, чернели картузы.

Доносился спокойный говорок. Но когда к могилке подходил поп, выпрастывая из ризы, мотая головой, волосы, и дьячок, скупо помахивая коротко взятым кадилом, заводил: «Со-о свя-я-ты-ы-ми у-у-по-ко-о-ой...» — начинался бабий плач и тонкое причитание. Потом смолкали и начинали закапывать могилку, то же самое по порядку в других местах. Поп уехал, черный, тарахтя дрогами; все разошлись.

Сергей сидел, глядел через сады в степь. Вся она, синеющая, с тонкой далекой черточкой полотна, прежде так грустно звавшая куда-то, теперь не трогала сердце. И со злобой, чувствуя, что бессилен и подчиняется, поплелся назад.

Вот и палисадник, и акации, и в хорошо протертых окнах второго этажа белеет тюль занавесей.

— Хорошо, как раз к чаю,— говорит Елена Ивановна спокойно, как своему привычному человеку, и на ее добром, расплывшемся лице от рта и глаз морщинки.

«И Катя будет такая же»,— злорадно думает он,

в виде приветствия показывает ей зубы и с замиранием радостно слышит:

— Катя, иди чай пить.

Ему странно,— хотя это ведь каждый раз,— входит Катя, даже не Катя, а в комнате ее золотая головка, звучит ее голосок, ее большие серые жалостливые глаза, и уже комната заполнена, тут все.

— Мамочка, Крюков не приходил? Ты приготовила порции? Как ребятишки болеют!

— Я сегодня на кладбище видел, гробиков шесть было.

Она удивленно вскинула глаза.

— Вы на кладбище бываете?

Ему захотелось отомстить.

— Екатерина Николаевна какая живая, минутки не посидит, и все ее слушают, студенты на побегушках, и вы когда-то так?..

— Да. А теперь старая, а она как цветок,— радостно глядя на дочь, благодушно проговорила Елена Ивановна.

Ему показалось мало. И, показывая зубы, заговорил:

— Вот девушка, например, посмотришь — власть у нее, а в сущности тут не образование, не ум, не душевные качества, не столько это, а какой-то остаток, не поддающийся анализу... какой-то остаток от глаз, от... от... как волосы жгутом лежат... вся фигура, словом...

Она вспыхнула.

— Фу, какой вы!

Но раздумала и проговорила, мечтательно глядя перед собой:

— Как вы по-книжному говорите, то есть ужасно бестолково выражаетесь.

Оба засмеялись.

Пришел Николай Николаевич, пыхтя и отдуваясь.

— Ленуся, чайку.

— А знаете что, пойдемте ко мне в комнату.

Сергей пошел за ней, глядя на спускавшийся с затылка на шею тяжелый жгут золотых волос.

Блеснула чистая девичья кровать, на полках книги, все повито особенной наивной чистотой и прелестью. У него заныло сердце.

Она притворила дверь.

— Вот что,— и стала близко, позволяя глядеть в свои серые, широко открытые глаза,— вы имеете влияние на деда?

— Да.

— Он сделает для вас все, о чем ни попросите?

— Да.

— Ну, так...

Она совсем близко придвинулась к нему:

— ...попросите уступить рабочим.

Она была так близко от него, что хотелось закричать. И, улыбнувшись, он сказал:

— Нет, не сделаю этого.

Она переменилась в лице, точно хлестнули кнутом.

— Почему?

— Не хочу.

Вдруг почувствовала, что власть над этим мальчиком ускользает, и поднялась вся женская оскорбленная гордость.

— Вы не хотите исполнить моей единственной... единственной просьбы, с которой я в первый раз к вам обратилась.

Как будто не замечая, он говорил:

— Две собаки грызутся, третья не приставай. Кто из них одолеет, тот и прав.

Она стояла оглушенная. Этот худой, с холодной кожей, с огромными зубами мальчишка, который по первому ее знаку,— она это чувствовала,— готов был броситься в огонь и воду, так легко, смеясь, отказал ей.

Как цыпленок, желтый, бессильный и щуплый, раскрыл рот, запищав,— и вдруг оказались большие плотоядные, все закрывавшие зубы на огромной челюсти.

— Вы!.. Вы!..

Она торопливо подбирала самое обидное, самое оскорбительное и, когда лицо покрылось пятнами, выкрикнула:

— Так знайте же вы и ваш...— выкрикнула и сама ужаснулась.

Даже его бескровное лицо, не способное бледнеть, еще более обескровилось, под глазом задергало, посиневшие губы повело, и почувствовал, как внутри мучительно стала дергать судорога. Страшным усилием воли он подавил и, показывая все свои длинные зубы, улыбнулся.

А она с бесконечной жалостью в горестных глазах прошептала:

— Милый, не надо... нет... не нужно...— схватила его холодную желтую лягушечью руку и прижала свои теплые мягкие губы.

Он задрожал.

В квартире Петра Иваныча шла окончательная установка. Со станции привозили мебель, носильщики втаскивали наверх, а Петр Иваныч встречал на лестнице и, идя задом, чтоб наблюдать, как несут и чтоб не задели, не поцарапали или не сорвали резьбы, распоряжался, куда ставить.

— Я говорю, эту козетку надо в тот угол, а вовсе не в этот,— спорила и горячилась Нина Павловна.

— Ты говоришь глупости и пустяки. Какой же смысл ее ставить туда? Там будет стоять кругленький столик и панданус. Если еще козетку, согласись — вздор.

— Но именно оттого, что столик и панданус, тут уютно будет козетке.

Она раскраснелась, горячится и в конце концов неизменно сдается, потому что Петр Иваныч один за другим приводит доводы, а она устает.

На балконе няня в кокошнике взад и вперед катает bébé в новой колясочке.

— Послушай, любезный, когда же арматуру для электрического освещения доставят? Знаешь, Нина, Захар Касьяныч обещал электрическое освещение дать для нашей квартиры. Ведь для него пустяки дать ответвление от фабрики. И надо будет устроить вечер.

— Господи, да для кого! — горестно всплеснула руками Нина Павловна.— Проклятая степь кругом. Забрались в эту трущобу.

— Удивляюсь — в Петербурге лучше сидеть, сложивши зубы на полку?

— Я не говорю.

— Инженеры, техники, доктор, мировой приезжает, все это интеллигентный, как и мы с тобой, народ.

В открытые окна рвалось весеннее солнце, говор, звук колес, птичьи голоса — еще что-то радостное, смутное и нараставшее в своем приближении.

Хотя Петр Иваныч с большим вниманием, рвением отдавался всем мелочам устройства квартиры, но с та-

ким ощущением, что это — неизбежная мелочь, житейская проза для спокойной настоящей жизни. Впрочем, он устраивается пока временно, только чтоб уцепиться, а по-настоящему после, там, где-то в центрах...

Когда?

Он в недоумении поднял голову, глядя невидящим взглядом в окно, из которого непонятно, помимо весенней яркости, врывалось нарастающее возбуждение, веселое, радостное.

В соответствии с ним ворвалась, сама возбуждение и радость, Катя.

— Дядя Петя, дядя Петя!.. Нина!.. Да что же вы сидите... Господи, ведь это преступление теперь сидеть в комнате... Как у вас прелестно стало!.. Через полчаса гудок дадут... Ну, что вы, право, как индюки.

И, высунувшись в окно, закричала тонким девичьим голосом:

— Уже отправляются?.. А где собираются?.. Никого не арестовали?..

А с улицы кто-то отвечал:

— Никого... Приходите к «Золотому Якорю»...

— Дядя Петя!.. Нина!.. Слышите же...— доносится ее голос уже с лестницы и торопливо удаляющееся постукивание каблучков.

— Как с привязи сорвалась,— недовольно заметила Нина Павловна.— Почему же картины до сих пор не несут и трюмо? Ведь вагон весь разгрузили.

Петр Иваныч подошел к окну. Улица жила. Мелькали картузы, белые платочки, заплетенные девичьи косы, и плыл говор.

На пустыре выстроилась казачья полусотня. Лошади мотали головами. Не слышно было, но, должно быть, скомандовали, полусотня справа по шести свернулась в колонну и потянулась по улицам к окраине, где были коновязи.

В последние дни, правда, собиравшихся кучками рабочих казаки били плетьми, прикладами, топтали лошадьми; рабочие разбегались, прыгали через заборы, ныряли в калитки, в подворотни, и опять уж чернеют где-нибудь на пустыре или на перекрестке; сверху видно: среди них говорит кто-нибудь и, должно быть, отвечает их мыслям и чувствам,— подымаются руки, жестикулируют, поворачиваются друг к другу.

«Что же это такое сегодня, и о чем наболтала тут Катя?»

Ребенок расплакался, и няня, перестав катать, наклонилась, как боярыня, и уговаривала.

Петр Иваныч вдруг почувствовал усталость. Он кисло осмотрелся кругом, как будто все это давно и успело приесться. Взял шляпу и пошел к выходу.

Нина Павловна закричала тем особенным крикливым, базарным голосом, которым она стала кричать, только когда вышла замуж, и который он так не любил.

— Это же из рук вон! Тут полон дом дела, ничего не успеваешь, а он гулять отправляется.

— Голова болит,— буркнул Петр Иваныч, не желая сражаться с супругой, и с улицы слышно было, как она визгливо кричала на лестнице.

Петр Иваныч прошел немного. В весеннем воздухе повис густой, тяжелый гудок, который покрыл не только весь поселок, сады и кладбище, но и далеко разносился по степи, а над корпусом фабрики живой струей вился пар.

— А-а, вот что!

Когда завернул за угол, улица шла на него. Густо и черно подвигались картузы, пиджаки, белели платочки, плыл говор, смех, перекликались, желто пятнились лица, то смеющиеся, сверкая зубами, веселые, то строгие, исхудалые, усталые или равнодушные, обтекая Петра Ивановича, и он шел, чужой.

— Васька-а, ты это у меня шапку обменил?

— Ура-а, сдался, старый хрен...

— Да ему податься некуда: приехали агенты фабрику перехватить, перестал заказы исполнять, вот и хотят строить...

— Сам просил начальство казаков убрать.

— И арестов не производить.

— До поры, до время, а там начнут вылавливать.

— Черт с ними, хоть час, да наш.

Вы же-ертво-о-ю па-а-ли в бо-рь-бе-е ро-ко-во-ой...—

вспыхнуло в одном месте, в другом, в третьем, вспыхнуло, слилось, вздулось густой волной, и она, дружно разрастаясь, побежала, охватывая всю улицу.

И сейчас же, впиваясь и нарушая, раздались торопливые голоса:

— Не надо, товарищи...
— Перестаньте.
— Дали слово, и не нужно.
— Не давайте повода, а то обрадуются...
И так же, как вспыхнуло, погасло — в говоре, смехе, в звуке шагов.
На углу, как около брошенного камня, остановилась и пошла кругами толпа.
— Держи его!..
— Бери крепче!..
— Не уйдет!..
Человек в железнодорожной фуражке отчаянно отбивался.
— Пустите душу на покаяние!.. Братцы, не могу... У меня расс...
В смехе и говоре потонули его крики, и он напрасно бился в крепких руках.
В следующее мгновение взлетел над головами, раскорячив руки и ноги.
— Урра-а-а-а!..
— Ой-ёй-ёй-ёй!..
Когда взлетывал, испуганно, с рачьими глазами, замолкал, а когда падал на руки, выкрикивал, не то смеясь, не то икая:
— Бра-атцы!..
— Урра-а-а!..
— ...у меня расстройство!..
— Урра-а-а!..
— ...живота!..
Хохот все покрыл. Бережно поставили и, троекратно, накрест, снимая шапки, стали с ним целоваться, а у железнодорожника растерянно и неудержимо разъезжался рот до ушей, он не успевал его закрывать, и его все целовали в мокрые зубы, а он приговаривал:
— Спасибо, братцы... я доволен, главное, живот... кабы не живот... Я доволен... Спасибо!.. ей-богу... вот до чего...
Все время железнодорожные рабочие отчисляли из заработка стачечникам.

Огромное помещение «Золотого Якоря» с потемневшими стенами, длинным низким закоптелым потолком, сплошь заставленное грязными столиками, было непри-

вычно пусто от всегдашнего народа, неумирающего гомона и гула, день и ночь тускло тонувших в горьком табачном дыму.

А теперь только половые в нечистых белых рубахах да хозяин, матерый, бородатый, с масляными волосами в скобку, в жилетке и ситцевой рубахе навыпуск, деловыми, хозяйскими глазами оглядывал стойку, в напряженном ожидании всю заставленную закусками, рюмками, посудой, бутылками.

— Еще два ящика пива!

Половые, толкаясь, кинулись в кладовую.

Двери на улицу настежь, виднеется кусок уезженной улицы с молоденькой травкой по бокам, куры разговаривают, неторопливо поклевывая, и с противоположного палисадника доносится запах расцветающей сирени; за нею в окнах белеют занавески.

Солнце радостно заливает улицу, и кур, и противоположные окна. Возле трактира по ступеням скользят, играя, как живые, золотисто-шевелящиеся сквозные пятна покачивающихся акаций.

Гудок, тяжелый, упорно не смолкающий, все царит над домами, над улицей, густо наполняя и весь трактир

— Ишь ты, разорался,— говорит хозяин и зовет: — Прошка!

— Чиво изволите?

Плутоватое, испитое, всегда бледное в этом вечно винном и табачном дыму лицо глядело с готовностью.

— Выдави угорь.

— Сичас!

Он ловко вскидывает грязное полотенце под мышку, ущемляет хозяйский нос между черными отросшими ногтями, и, как давят блох, сдавливает.

— Иисусе Христе, сыне божий...

Хозяин крякает, нос густо багровеет и вылезает длинный беленький, с черной головкой, угорь.

— И откуда они только берутся? При потопе неужто и их набрал Ной в ковчег?

Хозяин потер место.

— Дурак! Муха сядет, сблюет, вот и угорь.

Половые одобрительно и привычно поправили под мышками полотенца.

Мухи густыми стаями чернеют по столам в голодном ожидании.

Потревожив кур, сутуло идет человек в меховой облезлой сибирской шапке, обросший, худой, в крупных рябинах, и устало подымается по играющим золотыми пятнами ступеням, бедно и потерто одетый. Обернулся, постоял с минутку, провел рукой, как бы снимая с глаз паутину или смутные воспоминания, и проговорил негромко:

— Ничего нету. Не узнаешь... старое все вычистило, как катком проехало...

— Чиво изволите? — спросил за плечами половой.

— А-а!..— удивился тот, помолчал.— Ну, бутылку пива,— и присел к столику, а мухи густо поднялись жужжа.

Половой ничего не сказал, слегка смахнув полотенцем, и через минуту поставил бутылку, стакан и из пахнувшей пóтом горсти в крохотное блюдечко насыпал черных сухариков, густо белеющих солью.

Хозяин спокойно поглядывал и, дав время, спросил:

— Нездешний будете?

Тот прислушался.

— Это что такое?

Сквозь все упорно дрожавший гудок неблизко стоял гул, шум и говор.

— Фабрика нонче пущена. Гляжу на вас — не признаю. Здешних-то всех самолично определяю безошибочно.

— Я только что... это самое... приехал.— И согнал сейчас же опять густо облепивших мух.

— То-то, у меня примечание, сразу видать.

— Не знаете тут... этово... Волкова?

— Это которого Волкова?

— Помощником машиниста когда-то служил тут, Иван Матвеевич.

— Как же не знать? Продали домик свой, и очень даже выгодно продали...

— Татарину, который кошек обдирает на меха,— вступился половой, сделав шаг вперед.

Хозяин повел глазами, и он отступил на шаг, поправив полотенце.

— Выгодно продали и в город переехали.

Помолчали, слушая жужжанье.

— А, энтово, как его, сапожник, Игнат, который еще...

— А-а, Игнатка, сапожник, что фальшивыми займался? Фь-ю-у-у!.. давно с тузом, куда телят Макар не гоняет...

«Должно, животом мучится»,— подумал половой, глядя, как густо побелел за бородой гость, и смахнул от нечего делать полотенцем с соседнего стола.

— А... а... этово...— Но слова застряли, и горлышко бутылки громко тренькало о стакан, не давая пива.

Хозяин повернулся,— входил важно подрядчик, потный, с тяжелым животом и без шеи, разговаривая с десятским, который, соглашаясь, все поджимал нижнюю губу.

— Долго не видать, Парфен Сергеич.

— Да все неуправки... Доброго здоровья. Пару чаю, графин водки, и закусочки определительно.

— Сичас!..

Мухи озабоченно по-хозяйски, засуетились на нескольких столах.

Громадность помещения еще более оттенилась этими несколькими человеками, а обросший бородой человек сидел, взяв в ладони лицо.

«Эк, сердяга»,— подумал половой и, подойдя, проговорил наклоняясь, полушепотом:

— Которое ежели нужное, так направо двери...

— Да иди ты... выпьем бутылку и зараз на станцию! — весело кричал на ступеньках кому-то на улицу парень лет восемнадцати, красный, упитанный, с отдувшимися щеками, как поросенок.

А тот, другой, которого не видно было, также весело кричал:

— А как опоздаем, да придет без нас!

Послышался топот, и он вбежал в трактир, такой же упитанный, красный, и они беспричинно покатывались со смеху.

— Бутылочку пивка!.. Слыштя, Федор Кузьмич! Послал хозяин получить товар большой скоростью...

— И вовсе багажом...— поправил другой и покатился со смеху.

— Багажом, стало быть,— вот она и накладная, ну, а поезд опаздывает на полчаса, не наша вина... Ну, мы, чем на вокзале торчать, к вам бутылочку раздавить, ха-ха-ха!..— И захохотали оба так заразительно, что половые осклабились.

— Что такое гомон народу?

— Фу, да короедовская фабрика и завод открылись.

На улице пестро показалась чудовищная шляпа, колеблясь перьями и цветами, и, странно ее дополняя, послышалось хриповато, сначала и не разберешь, мужской это или женский, напевавший голос:

Абба-а-жа-а-ю... абба-а-жа-а-ю-у...

— Маргаритка!..— закричали приказчики,— кого ищешь? — и захохотали.

Женщина поднялась и стояла в дверях, ярко-пунцовая от шелковой обтягивающей кофточки, в пестрой шотландской юбке с запыленным хвостом, с огромным зеленым бантом у горла; неестественный мертвый румянец на лице — не то от кофточки, не то намазана; а перья, колеблясь, со всех сторон касались притолоки.

Она оглянула всех скучающими подведенными глазами и, кивая хозяину, приказчикам, половым, отчего во все стороны закивали цветы и перья, пошла к подрядчику, вся волнисто изгибаясь спиной, задом и шеей.

— Папашка, дай целковый.

— Ну, ну, будя...

— Ну, дай. А ужо я те безешку влеплю, аж выгнешься весь... помнишь, как тогда?..

— Отстань.

— Ну, папашка...

Стараясь не обмять кофточки и держа голову со шляпой на отлете, села к нему на колени, охватив руками, на которых кольца, жирный затылок, прямо переходивший в спину.

— Не порочь семейных людей, слезь, а то городового позову.

— Ну, хоть двоегривенный, страсть пить хочется.

— Эй, иди, посиди у нас... мы дадим! — закричали приказчики.

Со звоном разлетелся стакан вдребезги.

— Десять копеек-с!..— подлетел половой, собирая осколки.

Но человек, с обросшим смертельно бледным лицом, не глядя на него, с трясущейся бутылкой, и не спуская глаз с женщины, подходил к ней, не сводя глаз и заикаясь:

— Тты... ты!.. ты... тты?.. Даша!..

— Это еще что? — проговорила она, оправляя платье.— Всякая гольтепа! — и надула накрашенные губки.

И вдруг, вглядевшись, дико вскрикнула и бросилась бежать, не прерывая обезумевшего животного крика, наполнившего весь трактир. Сорвавшаяся шляпка огромно прыгала и билась цветами и перьями по спине.

В дверях он нагнал.

— Постой... Даш!

Схватил за руку, она вырвалась, распахнула двери, споткнулась и упала на ступени. Он сидел возле, гладил ее растрепавшиеся волосы, и тихо стояло:

— Даша... Дашенька!.. Радость... жизнь моя... дождалась... а?.. Слышь, Дашенька... а?.. Этово... одна у меня... одна ты... во всем свете...

Она рвалась от рыданий, румяна потеками ползли по лицу, слезы торопливо капали сквозь пальцы, а на них дешевые перстни с зелеными и красными стеклышками.

Подрядчик, потный и красный, хрипло басил:

— Н-не имеешь правов!.. правов не имеешь!.. Хоша и падшая женщина, а надсмехаться не имеешь правов... В участок, сволочь, попадешь, там тебе дадут, уж я попрошу...

Половые покатывались. Хозяин кричал в дверях:

— Что конфузишь заведение, бродяга!.. Прошка, гони за полицией.

А женщина все так же рыдала, и все так же гладил тот ее растрепавшиеся волосы.

Улица из-за переулка шумно зачернелась людьми и наполнилась говором, голосами и смехом:

— Уррра-а!

— Наша взяла!..

— Федор Кузьмич, готовь пива!..

— Чего такое?

— Именины справляем: хозяин сдался. Три месяца бастовали, сдался, прибавку дал, штрафы скостил, нонче фабрика в пуск.

— А это кто такие?

— Которая?

— Маргаритка... шлюха...

— По-монастырски — Маргаритка, в миру — Дашка.

— Игнатки, каторжника, дочка?

— Тоже несладко, даром что намалевана.

— А этот чей?

— Неизвестного звания человек.

— Как не известно, а пашпорт! — закричал хозяин.—Там в участке разберут, живо дознаются.

Молодой рабочий нагнулся и вполголоса сказал:

— Уходи, товарищ, нечего тебе тут сидеть.

— Ну, айда, ребята!

— На фабрику.

— Становись на работу!

— Товарищи, не опаздывать!..

Черная улица опять потекла, пустея.

Тяжелый гудок дрожа и бесстрастно уже не разносился над домами, над людьми, над далекой весенней степью.

Смолк.

Вечером собрались у Полыновых.

Сидели за круглым белым, мягко освещенным столом, и, объединяя всех, миролюбиво готовила чай Елена Ивановна.

Около Кати молоденький студент, в синей перехваченной рубахе, с огненными волосами, голым лицом, наивными глазами и не сходящей с лица улыбкой,— кроме Кати, для него никого не было.

Николай Николаевич пил чай, покуривал, хитро поглядывал на молодежь,— дескать, вы начинаете, а этот курс мы уже давно прошли.

— Ах, дядя Петя, дядя Петя, отчего вы сейчас не студент! Приехали бы к нам, вместе бы работали... Мама столько о вас рассказывала...

— А ты выйдешь замуж! — протянул дядя Петя язвительно.

— А вы уж вы-ышли, и домик свой.

— Ну, пока квартира только,— грустно сообщила Нина Павловна,— хотя и с электрическим освещением.

Все засмеялись. Студентик восхищенными глазами глядел на Катю.

Елена Ивановна примирительно позванивала ложечками и наливала стаканы, стараясь не обидеть очередью.

— Нет, правда ужасно,— проговорила она, как будто хотела сказать: «Ну чего вы в самом деле!»,— вот все мы жили тут же, слышали о стачке, помогали,

а как будто это где-то далеко, далеко, как будто по газетам, что ли, это знаешь, или кто-нибудь приехал откуда-то да рассказывал. А я вот вышла на улицу сегодня,— Катюша вытащила,— да как стали вылезать их детишки. Боже мой! страшно стало! Желтые, зеленые, рты огромные, не закрываются, зубы выглядывают; руки, ноги то-онкие, я не могла смотреть от слез. А ты, Петя, все говоришь: «Эволюция, прогресс...»

— Ничего я не говорю. Носитесь с этой эволюцией, как с писаной торбой.

— Нет, Петр Иванович, этого нельзя,— заговорил, срываясь то басом, то фистулой, студент, взглянув на Катю,— по-вашему, и Дарвин с писаной торбой?

— Вы, господин Борщов, совсем из другой оперы.

Студент густо, мучительно покраснел при упоминании фамилии его; ему казалось, все на него смотрят: борщовские публичные дома, которые содержал его отец, были лучшие на поселке.

— Лев Николаевич Толстой прекрасно выразился,— заговорил Николай Николаевич, добродушно затягиваясь и глядя на всех, точно из другого царства,— жизнь — это умирание. Жить — значит, зубы расшатываются, волосы редеют, мускулы слабнут, память пропадает...

— Фу-у, папочка, затянул отходную. Не люблю.

— Да нет, постой, детка, я не о том, я — другое... Вот, когда приехал сюда, первая стачка была. Как держались великолепно. Я ждал, что убьют, но не мог не любоваться. Приезжает потом из Петербурга ревизия с Рокотовым во главе,— эти же рабочие низко шапочки снимают. Потом полное затишье, жандармам делать нечего.

— А теперь опять поднялись стройно... Как поддерживали друг друга! — сказала Катя.

— А ведь вот скажи,— не подымая глаз, глядя в пол, проговорил Петр Иванович,— скажи, что у одних свои домики заведутся, третьи сопьются, те исчахнут, и будет тишь и гладь,— не поверят.

— Да вот скажи Кате.

— И верить-то нечему. Фу, ей-богу, не люблю, старички с паперти собрались.

И, блеснув злым огоньком, проговорила, не глядя на отца:

— Не знаю, что со мной будет; во всяком случае того, что с вами,— никогда!

— И Петя то же самое говорил,— сочувственно вздохнула Елена Ивановна.

— А и будет, так все равно, я сейчас хочу жить живой, а не дохлой. Ну, будет вам. Давайте праздновать сегодня.— И Катя вскочила и подбежала к роялю.

Рояль заговорил, наполняя высокие, чистые комнаты, заговорил разнообразно бегущими струнными голосами, каждому принося и напоминая его собственное. Все примолкли, слушая, глядя себе в душу.

После ужина, когда вышли, все небо было в весенних звездах. Спали голубоватые тени и неосвещенные дома, и, мешая мыслям, горели редкие фонари.

Петр Иванович довел жену до квартиры и сказал враждебно:

— Пройдусь.

— Ну вот, на ночь-то глядя.

Он ушел.

Улицы длинно и сонно тянулись. Попался табунок парней. Они шли, закинув руки друг другу на плечи, и пели:

Последний нонешний дене-е-чек...

«Нина права: в этой трущобе не усидишь. На рождество непременно поеду в Москву, разведаю...» — и старался вспомнить отдельные утренние лица, такие незначительные, внутренно бедные, но на него глядело нестираемым воспоминанием огромное молодое лицо толпы, строгое, внимательное, тающее и... чужое ему.

«Да, единственный смысл — жить в культурном центре, а не у черта на рогах...»

И вдруг необъяснимо непоследовательно потянуло пойти в степь, в весеннюю нежно-зелено подернутую степь, тихую и задумчивую, без конца... Уходят телеграфные столбы, тонкой чертой теряется полотно, и стоит в молчании незабываемый золотой звон, который неповторим... Петр Иваныч постоял на углу, всматриваясь в сонные дома, в темные деревья.

Нет тех молчаливых землянок, что жили своей особенной, непередаваемой жизнью.

Храпят обыватели, и утром опять то же самое: торговать, обмеривать, обвешивать, пить, сквернословить...

А степь пуста, сколько по ней ни ехать, разве наткнешься на экономию, хутор или зимовник, и выскочат хриплые овчарки.

«Нина теперь сердится»,— и деловито пошел домой.

Вошел Сергей.

Старик за рабочим столом просматривал счета и агентурные сведения из других городов.

Сергей постоял около стола, разглядывая безделушки. На черном пьедестале темный бронзовый конь взвился над опрокинутым вепрем, и такой же темный, с бронзовой мускулатурой, голый всадник, уронив тигровую шкуру, занес копье, с напряженно просящейся силой в каждой мышце.

— Ты чего, Сергуня?

Старик не поднял глаз от бумаги,— кроме Сергея, в кабинет никто не смел входить.

Беззвучно ступая по мягкому ковру, Сергей подошел к окну и стал глядеть, прислонив лицо к стеклу.

— Идут.

Долго смотрел.

Черная труба фабрики дымила под голубым небом. Картузы, блузы, белые платочки, кофточки мелькали по улице и поглощались огромными воротами. И, сколько их ни мелькало, ворота все глотали, а у ворот неподвижно, как изваяние, сидел Осип, с седеющей бородой и с свистком на шнурке, и внимательно и хмуро ощупывал враждебными глазами каждого проходящего мимо него рабочего.

— Ась?

Старик отодвинул бумаги, откинулся и посмотрел на внука.

— Худой ты у меня, Сергуня.

Тот пристально глядел в окно.

— Если присмотреться, труба шатается от ветра,—конец ее чуть ходит по небу туда-сюда, а ведь кирпичная.

— Недельки через две поедешь за границу. Я списался: доктор с тобой поедет и француз — на пяти языках говорит. Помнишь, я тебе говорил, сюрприз-то хочу сделать? Так вот поезжай, отпущу; уж поскучаю тут один.

Сергей повернулся, медленно стал подходить к деду.

Дед глянул, внутренно ахнул: точно в первый раз увидел эту тонкую шею, желтую кожу, кривые ноги и эти огромные зубы, над которыми не закрывался рот. И вдруг почувствовал, что не в этом, а в другом — смертельная опасность.

Они стояли друг против друга. Сергей утонул в сделавшихся маленькими под нависшими седыми бровями поблескивавших глазках и, опираясь щуплой рукой на опрокинутого вепря, сказал раздельно:

— Ты мне... отец?

Старик откачнулся, глянул во все глаза и воровато, презренно засуетился, ненужно переставляя вещи на столе:

— Сергуня... чудак... ты брось... Откуда это?..

А тот так же раздельно:

— Мне сказали... Мне сказали, кому верю.

И увидел перед собой старика, с строгим, спокойным лицом, с маленькими, настойчиво сверкавшими из-под насунувшихся седин глазами.

— Ну, правда!.. Просилось, давно просилось, губы жгло... Один я, Сергуня... во всем свете ты у меня один... и все от тебя прятался... душа истомилась... А-а, слышь!..

Сергей рванулся, но не мог оторвать руки от вепря и глаз от отца.

— Осудил!..

Вынул и бросил вставные зубы.

Вдруг загремел на весь кабинет слегка шипящий голос, не глотаемый тяжелыми портьерами и занавесами:

— Осуди-ил!.. Нет, замоленный грех!.. замоленный... Ночи не спал... Это теперь у всех в чести, слова никто не скажет, шапочку ломят, раздаю направо-налево, а как начинал?.. Проснешься ночью, руки полны крови да слез... не высыхали... Не каменный — душу как ржа изъела. А-а, это как? это даром?.. это не зачтется?.. Со всеми, как бирюк, только клыки оказывал, рвал, а то бы самого разорвали, это что?! это так себе?.. А как в степи один помирал! А-а!.. это ни в какую копеечку!.. Полз... ночью... один... один на всем свете... раздавленный пес с отбитым задом, тащил... Это в пассив?! насмарку!.. Не-ет, не уступлю-у, ни одной капли своей крови не уступлю... вот оно где запеклось!..

Остановился, глядя в упор, но слишком было много, и опять загремел:

— Жена померла, не женился, помнил свой грех... на тебя не надышался... изо дня в день, из года в год... и не мог сказать святого слова: «Сы-нок!..» — от которого слова слеза прошибает... По совести, от сердца всякий скажет: «Покрытый грех!..»

Сергей все больше и больше гнулся, и желтая кожа на лице дергалась, силясь сложиться в улыбку, не то в синюю судорогу. Повалился нескладно смятым телом на мягкий ковер, цапаясь за резные ножки стола.

Голову притянуло к плечу, как вывернутую, открытые глаза закатились и белками глядели в расписанный потолок. Из узко сведенных синих губ выбивалась пена, ноги судорожно вело, выворачивая колени.

Трясясь, пополз старик по ковру, обнимая, оттягивая туго притянутую судорогой голову, удерживая дергающиеся руки и ноги, обирая губами пену с узких, в страшной синей улыбке, губ.

— Про-па-да-а-ю!..— закричал тем волчьим голосом, как в степи.

И, как тогда, поднялась вся звериная мощь борьбы и отчаяния. Но путалась длинная седая борода; ослабевшие, старческие, плохо слушались руки, не могли удержать судорожно бившееся тело.

И он закричал:

— По-мо-ги-ите!..

В комнате стояло то страшное одиночество и молчание, как тогда же, в степи, в глухую ночь.

Темны беспредельные степные ночи — темны, тихи и таинственны, как будто дела людские — крохотный островок, потонувший в океане неподвижной сухой тьмы, в каждом кусочке которой, знаешь, все обычно: сухой полынок, сухая паханая земля,— пусто, никого, и стоит громада молчания, и ждешь чего-то, точно невидимая птица, зевая крылом, посылает тонкий, душу щемящий крик, беззвучно умирающий в темноте.

Только в одном месте слабый отсвет, как будто заря занимается в глубокий ночной час, не то месяц хочет всходить, или зарница оставила след, или люди слабо светят огнями в своей ночной жизни.

ПЕСКИ

I

Он был стар, так же стар, как мельница, у которой крыша съехала на сторону и растрепанно нахлобучилась почернелой соломой.

Не мелькала белая пена, не неслась с шумом и грохотом вода, а чуть сверкала тоненькая жилка в желобе, стоявшем над землей на столбиках, и лениво, задумчиво-медленно поворачивалось старое, ослизлое, почернелое колесо, набирая, как в чашки, в медленно подставляющиеся коробки сонно журчащую воду, боясь уронить лишнюю каплю драгоценной влаги, так скупо просачивающейся у подножия песчаного бугра, пробивавшегося желтизной сквозь зелень тополей и ветел.

Он был стар и, прикрыв ладонью глаза, слезящиеся красными веками, глядел на тихое, сонное сверкание, внимательно ища, не каплет ли где. Но белый с нежно пробивающейся травкой песок под желобом был девственно чист и сух, и взапуски бегали с огромными бревнами муравьи.

Сквозь дремотную тишину, сквозь листву склонившихся ветел слабо звенела выливающаяся вода.

Ее тихий звон, не умирающий ни днем, ни ночью, дремотно пропитывал прозрачный, светлеющий сонной улыбкой воздух, полный запахов чабера, медвяных трав, сухого горячего песку.

Звенела, качаясь в тени столбиками, мошкара. И иногда казалось, звенит сама тишина, звенят горячие полуденные краски, белизна лепестков, голубые вкрапленные пятнышки незабудок, густая листва.

И чтоб не нарушать эту звенящую тишину, даже голубей не было, и их шумные ватаги не носились сизой сверкающей толпой.

Помольщиков бывало мало. Стоит, подняв оглобли к голубевшему сквозь ветви небу, воз, в тени его храпит корявый мужичонка. Лошадь, распряженная, покачивается, преодолевая дремоту, и в углах полузакрытых глаз сосут хоботками нетревожимые мухи.

Старик идет высокий, немного погнувшийся, с косичками кругом голого в точечках черепа, с белой бородой не то от муки, не то от старости.

В амбаре не грохочут жернова, не стучат наперебой деревянные кулаки, а тихонько, по-стариковски шуршит единственный камень, и скупо, едва заметной струйкой сыплется мука. Посыплется, посыплется и задумается, и в напрасном ожидании стоит разинутый короб. Сонно и тихо садится мучная пыль, и снова, белея и дрожа, колеблется тоненькая жалкая струйка.

Один мешок мелют по неделе, и редко кто заглядывает на мельницу. Да и дороги сюда плохи — по лесу торчат пни, коряги, корни и сваленные деревья да валежник громоздится.

Старик подходит к возу, скребет высохший, сияющий как и всё здесь, череп и говорит:

— Спишь?.. Ну, спи, спи...

Мужичонка храпит. Лошадь подымает веки, от которых немного сторонятся мухи, глядит, моргая добрыми влажными глазами, и начинает жевать вяло и сонно, и опять задремывает, покачиваясь с торчащим в губах клоком.

Старик похаживает.

На мельнице нечего делать. Казалось, с незапамятных времен сама собою звенит вода, само собою медленно, тихо, лениво вращается обомшелое колесо, сами собою пестреют и пахнут цветы, зеленеют ветлы, желтеют надвинувшиеся пески. Разве когда соберется старый, возьмет востроносый молоток и, полегоньку тюкая, станет наковывать стершийся жернов.

Не любил дед уходить с мельницы, потому что до большой реки тянулся лес, перепутанный хмелем, заваленный свалившимися деревьями, хмурый и нелюдимый.

Но в ту сторону, где было светло и просторно, где желтели пески, дед часто выходил. Выберется на песчаный бугор, сядет, подставит голую голову горячему солнцу и сидит. У ног — короткая полуденная тень, а вдаль — нескончаемо и необозримо, сколько глаз хватает, пески.

Ветра нет, воздух неподвижен, прозрачен и чист, но песок звучит странным, едва уловимым звуком, заунывно и грустно. Зыбучий и тонкий, он даже при безветрии сыплется с перегнувшихся гребней и звучит.

Смотрит старик, и на самом горизонте мреет желтое сверкание. Люди живут, как за морем, за раскинувшимися песчаными пространствами.

А ведь еще на дедовой памяти версты за четыре стоял хутор, подымались к небу журавли колодезей, зеленели сады, тянулся лес с полянами, с серебряными лесными озерами. На полянах косили сочную траву, в озерах ставили мережи.

Размяк старик под солнышком, сидит. Знойно волнуется марево, призрачно струится горячий горизонт, неуловимо тает.

Старик зевает, крестит заросший косматый рот.

II

Среди усыпительного звона воды, среди тишины, дремотно превозмогающей себя, однажды прозвучал живой, веселый, звонкий голос.

Старик всегда рано вставал и сегодня поднялся, чуть еще тронулись по пескам розоватые отблески. Обошел мельницу, посидел на бугре, сварил в печурке под старой вербой кулеш и стоял, не то о чем-то думая, не то вспоминая, под тепло пригревающим сквозь ветви солнцем.

И тогда донесся этот голос, звонкий женский голос. Старик приложил козырьком руку к глазам и повернулся к лесу.

Из лесу криво выползала черная, корявая от давно засохшей грязи дорога, и корни изуродованно торчали по ней, но никого не было. А из-за деревьев опять донеслось звонко и весело:

— Но, нно-о... заснул...

Скрипели колеса, фыркала лошадь.

В просвете кустов двигалось живое рыжее, и возле мелькало белое. На повороте выставилась кланяющаяся в дуге лошадиная голова, оглобли, покачивающаяся, прыгающая всеми колесами по корням повозка, а сзади, осторожно ступая по колким ссохшимся комьям босыми ногами, шла девка с кнутом.

Она была крепкая, рябая, с веселыми глазами, и белый платочек сбился на шею.

— Здорово, дедушка!

— Доброго здоровья, касатка.

— Вот помели-ка нам пшенички.

— Ну-к что ж.

Девка взялась за углы мешка, как за уши, но дед, вдруг приосанившись, отстранил ее:

— Куды... надорвешься еще.

Она навалила ему на спину, и он, согнувшись, держась поверх плечей за мешок и напряженно следя, чтоб не подогнулись дрожавшие ноги, бодро направился к амбару, а сзади подмывающе рассыпался весело-звонкий смех:

— Гляди, переломишься!..

И до того чуждо и неожиданно ворвался этот смех в звенящую тишину и покой, что словно сдунуло ленивую сонливость, и долго еще звучало в листве, под свесившейся крышей, за ветлами у желтеющих песков, и радостно смеялись золотистые, узорчато-сквозившие, солнечные, чуть шевелящиеся по песку пятна.

— Ты откеда же, касатка? — говорил дед, засыпав пшеницу и опять подходя к повозке.

А она весело и проворно разнуздывала лошадь.

— Где бы у тебя лошадь напоить? Вишь, воды-то у тебя — куры всю выпили.

И, опять нарушая привычный строй, ярко затрепетал смех. Она выплеснула остатки воды из ведра. С добрых мягких пожевывающих губ лошади капали капли.

Старик подвигал бровями.

— Босоногая.

И опять непривычно звонко раздалось под ветлами:

— Ну да, а то как же! Вон по лесу шла, чисто все ноги исколола. За двадцать-то пять целковых в год не дюже наобуваешься. С Шевырина хутора я, у Ивана Постного батрачкой.

— Лиходей.

— Там уже лиходей!

— Процентщик.

— С голоду всех рабочих поморил.

— То-то ты с голодухи раздобрела.— И дед весело хлопнул ее по крутой и крепкой спине.

А она уже забралась в повозку и сворачивала лошадь, дергая вожжой.

— Что же так... не погостевала.

— Заругают, там озорные, ироды. Когда смелешь-то?

— Экая, и погладить не далась!.. Приезжай, что ль, к празднику, смелю...

А уже колеса скрипели в лесу, и из чащи раздавался звонкий голос:

— Нн-о, идол, куда лезешь? Опять на корягу!

И потом донеслось:

— Дедушка, а дедушка, как бы мне Сучий ерик объехать? Кабы не завязнуть опять...

Долго ходил без толку старик, останавливался и все тер лысину, стараясь что-то припомнить.

— А?.. Ишь ты!

Звенела вода, звенели полуденные краски, звенела привычная дремотно-сонная тишина, а дед ничего не слышал, и все одно стояло перед глазами.

Вышел на бугор, но пески не радовали, неподвижно лежали разморенные, и неуловимой дрожью струился зной.

А ночью кто-то не давал спать. Выйдет дед из избы, темно, только синеватые точки светлячков. Из лесу укает выпь, да вдруг заплачет жалобно филин, тоненько и всхлипывая, как плачут маленькие обиженные дети.

— А?.. Ишь ты!

Звенит вода, звенит вода и наполняет темное и неподвижное молчание чем-то иным, полным иного значения, смысла, и дед не может разобраться, скребет лысину:

— А?.. Скажи на милость!..

Он идет в избу, ложится, засыпает, но кто-то, чуткий и беспокойный, снова будит, и он опять выходит.

Все то же, и над песками стоит молчание и тьма. Но для старика неожиданно чуждо это молчание, и недвижимая, сухая, горячая темнота уже не полна тусклыми расплывчатыми или ясными и отчетливыми перед самыми глазами подробностями былого,— спящими хуторами, звонкими песнями девок, драками и пьянством парней, надрывающей работой, праздниками,— тихо, пусто, глухо, и старик широко смотрит не видящими в темноте очами, и вдруг... видит, видит угрюмую пустоту и молча-

ние. Видит и понимает беспокойство ожидания, чтоб звонко раздался веселый крик, затрепетал яркий смех и наполнил бы пустоту и молчание одиночества.

— Искушение, прости господи!..— и угрюмо плетется в избу, долго ворочается на соломе, пока не начинают отчетливее проступать веточки и листья и смутно-неясные очертания нахохлившейся крыши.

III

К празднику приехала девка.

Опять в солнечный, сквозящий между ветвями день послышался скрип колес в лесу и звонкий голос. Он странно и резко нарушил лесную тишину, и старик весело подвигал бровями:

— Приехала... ишь ты!..

— А я, дедушка, насилу вылезла, опять, идол, в трясину врюхался...— И на повороте добродушно помахивает добрая рыжая лошадиная морда, и над повозкой белеет платочек.— Смолол, что ли?

— Смолол, смолол... Слезай, напой лошадку, погостюй.

Лошадь пьет, задумчиво роняя чистые капли. Иволга недалеко в лесу, как на флейте, выделывает хитрую фиоритуру.

— Ну, что же, распрягу. Пущай Рыжик отдохнет. Да и я истомилась, парко.

Он глядит на черный загар исхудавших, втянувшихся щек, на потемневшие, сделавшиеся большими от синевы вокруг глаза

— Подалась ты, касатка.

— Заездили, проклятые, вот до чего, мочи нету!.. Ни днем, ни ночью спокою не знаешь... Хочь бы кормили как следует,— все впроголодь... Эту неделю на косовице чисто руки отвалились. А воротишься домой, стряпать на всю артель...

Но голос у нее по-прежнему звонкий и веселый и живые глаза на рябом исхудалом лице, как будто она рассказывает не о непосильном, изнуряющем труде, а о чем-то веселом и радостном.

Старик вытаскивает и ставит позеленевший самовар. Самовар ставится раза три, четыре в год, по самым торжественным случаям.

Они сидят под старой ветлой. Гостеприимно и ласково шумит труба. Чуть шевелятся солнечные пятна. Гостья пьет девятую чашку, вытирает льющийся по раскрасневшемуся лицу пот, опрокидывает вверх дном и кладет сверху огрызок сахару. Но старик неотступно упрашивает, и она снова наливает, и снова льется пот по красному распаренному лицу.

— Так-тося, касатка, скажем, у иных-протчих плотины рвет, а то и мельницы сносит, а у меня стоит, как у Христа за пазухой. Бежит себе вода по желобку тихим манером, хочь тебе весна, хочь лето, хочь зима, все одно, потому вода родниковая, одинаково не боится там суши али морозов. Ну, в год мало-мало, бедно-бедно, а мер сто заработает, а то и полтораста, вот как перед господом. Что ж мне: сыт, одет, обут.

— Да, это действительно очень даже хорошо, ежели она рвать не может, потому и плотины у вас нет никакой,— и она громко откусывает сахар,— ну, только скучно у вас тут, песок да лес и боле ничего, человека не увидишь.

— Как скучно? По какому случаю скука? — Старик заволновался и высоко поднял седые изломанные брови.— Какая скука, ежели при деньгах... С деньгами, милая, не скучно, с деньгами, милая, везде весело. И помольщики завсегда бывают,— не тот, так другой приедет. Приедут и все расскажут и про деревню, а то и в городу, как дела идут, все тебе выложат как на ладонке.

— У моего дяденьки на речке мельница стояла, так энто!..

— Скучно!.. Нет, вот скучно, как брюхо пустое, скучно, как живот подведет с голодухи... Вот погляжу я, ни в тебе, ни на тебе, ноги все полопались...

— А то не полопаются! Аж кровь... И по отаве, и по лесу, и по грязи — все босиком.

— Какой такой есть человек, ежели у него за душой ломаного гроша нет. А? А много ли ты заработаешь батрачкой... И век свой нищенкой проживешь... Не правда, что ль?.. Кто тебя замуж возьмет...

С ней в первый раз так говорили. Тихая ласковость солнечного дня и узорно-кружевные, тихо шевелящиеся по песку и траве тени, покойная задумчивость, и смутный звон воды, и участливые дедовы слова — все ласково заглядывало в душу.

Она вздохнула, широко вытерла потное лицо и в последний раз решительно опрокинула чашку.

— Спасибо, дедушка.

И вдруг засмеялась:

— Эй, живи, не робей, хлеба нет, до звезды говей, рубашка черна, вывороти, носи!.. Ну, прощай, дедушка, надо ехать, и так заругают. Сбрешу, скажу, не успел смолоть, так дожидалась.

И когда она по-мужски уперлась ногой в хомут, заматывая супонь, дед подошел и, придерживаясь рукой за дугу, проговорил:

— А?.. Что я скажу тебе!.. Девка ты добрая, покорливая, выходи ты за меня замуж.

Стало тихо. Звенела вода. Два светлые, два огромные глаза глядели на него.

— Ты подумай,— торопливо и волнуясь, старался дед,— ты подумай, что ты есть? А?.. А сколько моего веку осталось, а?.. С твое уж не жить мне, а помру — все твое, мельница вся, вот как есть, духовное сделаю, будешь барыня, помещица...

А она все глядела на него круглыми глазами и вдруг расхохоталась звонко и подмывающе.

И все время, пока скрипели колеса, слышно было, как кто-то покатывался со смеху в лесу, пока смолкло. Потом далеко, далеко из-за деревьев, из-за ветвей, из-за листвы долетела песня. Пел одинокий женский голос то грустно и смутно, то задорно и весело. И когда терялся в лесной гуще, снова звенела вода, снова задумчиво-ленивая тишина, снова безмолвно-звучащие краски цветов, листьев, колеблющихся насекомых, и опять доплывает смутный, ослабленный одинокий и зовущий голос женщины.

Целый день слонялся дед и тер лысину.

— А?.. Скажи на милость!..

IV

Каждый раз, когда она приезжала с пшеницей или за мукой, были одни и те же речи: «Дура, своего счастья не видишь... мельница не грошик, каждый день зарабатывает, каждый день кормит... все — твое... моего веку недолго хватит, год, два, а там сама себе госпожа, упустишь — будешь локти кусать...»

Она смеялась или сердилась, потом перестала смеяться и слушала. А раз сказала:

— Ин быть по-твоему. Что уж... пойду за тебя... Только духовное перед венцом беспременно сделай...

Но когда был мужем, заломила руки, стиснула зубы и с отвращением закрыла глаза.

— Гнилой... землей от тебя воняет,— злобно блестя глазами, бросала она.

— Ну-к что ж... Глаза-то у тебя не на затылке были, как сватался...

Она целиком ушла в хозяйство, жадно отдаваясь прелести новизны иметь свое, распоряжаться своим. Завела птицу, купила двух поросят. Подняла страшный бунт с дедом, чтоб перекрыл мельницу. И как тот ни отбивался, а вынужден был покрыть новой соломой, и мельница кокетливо и весело желтела на солнце новой крышей.

Мельница вдруг раздвинулась до огромных размеров, и тихо ворочалось колесо, и стояла она одна, заслонив чернотой своего силуэта лес, пески, прошлую жизнь.

Утром, когда открывала глаза и из росистого леса неслись наперебой тысячи птичьих голосов, первое, что бросалось, это — новая, отливающая на солнце крыша. И когда засыпала, последними смутно расплывающимися очертаниями темно тонуло медленное колесо.

Переменилось у деда.

Лениво-дремотная тишина заполнилась новыми, суетливо-молодыми хозяйственными звуками. Клокотали куры, визжали подрастающие поросята, звонко ругалась молодайка с помольщиками.

Она целиком была поглощена налаживающимся хозяйством, боясь упустить лишний день, лишнюю минуту. И дни, суетливые, полные заботы, шли одинаковые, похожие друг на друга, так же медленно и неотвратимо, как неотвратимо медленно ворочалось старое колесо.

V

Заскучал поредевший лес, и далеко сквозят облетевшие деревья. Все полиняло, потемнело, точно пришел кто-то одинокий в темную, скучную, покрапывающую ночь, стер яркие краски и звуки, и с тех пор ждет

чего-то холодное, неприветливо-прислушивающееся молчание.

Дни короткие, и хозяйка, торопливо мелькая спицами, все время сидит у окна и вяжет чулки на зиму. А в окно тупо глядит темный силуэт мельницы.

Нескончаемо сбегают со сверкающих спиц проворные петли, нескончаемо теряясь, бегут мысли, и тихонько, как монотонное журчание, льется грустная песня, поющая не о том, о чем говорят слова...

— Ой, да-а-а де-е-вонь-ка-а... де-е-вонь-ка-а!..— выговаривают губы.

«...а на правой на рученьке родимое да пятнышко...— поет сердце,— родимое да пятнышко... а волосики светлые, как лен-ленок, и назовет его поп-батюшка Ванюшкой...»

— ...отда-а-а-ва-а-ли дев-ку-у за неми-и-ла-а дружж-ка-а...

«...и протянет Ванюшечка рученьки к мамушке... обовьет его мамушка...»

— ...за неми-и-л-а дру-жка-а да за ст-а-ра де-е-да-а...

«...мамунюшка!.. батюнюшка!.. засмеется мамунюшка, засмеется батюнюшка, батюнюшка, кудрявый мужмуженек...»

И звенят слезы, и блестят счастливые глаза, а за стеной ходит дед и резонится с помольщиком:

— Я те сказывал, к субботе, к субботе бы и приезжал... Ежели воды ее нету, ну нету, могу я ее родить?..

А за окном бьется тоской и жалобой, тихой, звенящей слезами мечтой о счастье, о кудрявом молодом муже, о мальчике Ванюше, протягивающем пухлые ручонки, о крохотной дочке, в косу которой вплетает красную ленту, и бегут слова песни, и бегут с тонко сверкающих, как вода, спиц торопливые петли.

Зимою, когда серебрился лес и искрились пески, по ночам приходили волки и выли жалобно и подолгу. Тихонько журчала вода под тонкой ледяной корочкой. А иногда начинал падать снег большими тяжелыми хлопьями и кружился, и ветер выл в трубе и под окнами. Тогда рано ложились, и ни о чем не хотелось думать и мечтать...

Но вместе с весной опять приходила тоска по милом, кудрявом, далеком, незнаемом, по Ванюше, по маленькой девочке с красной лентой в косичке.

VI

Короток и чуток стариковский сон.

Проснется, послушает: тихо дышит молодая жена, тихо дышит лесная глушь. Опять заснет, и опять кто-то: «Старик, а старик!..» Снова подымется, выйдет: звенит вода, молчат деревья, кто-то ворочается черно, неуклюже, огромным клубком.

И он боязливо и подозрительно присматривается к помольщикам, которые остаются ночевать.

— Миляга, ты бы ехал домой... дома-то сподручней. А ночевать... Вишь, у меня и сена нету. А то волки заглянут, как раз зарежут лошадь. Без сарая-то, вишь, поставить некуда...

В лунные ночи старик почти совсем не спит. Проснется,— тихо, не слышно дыхания. Выйдет из избы.

Между ветвями струится белый раздробленный свет, сквозя неверными голубоватыми пятнами. Призрачно глядят облитые цветы. Листва — странно белая, и от мельницы сплошь густая горбатая тень. В желобе вспыхивают фосфорические блестки, и медленно и мрачно, покрытое тенью, чудовищно ворочается колесо.

Звенит вода, звенит призрачным голубовато-прозрачным звоном. И старик, как колдун, ходит в заколдованном царстве.

— И скажи на милость, куда делась? А?

Пески узко и воровски желтеют по лесу тонкими, неподвижно пробирающимися языками. Но и самая неподвижность их таит неотвратимое постоянное движение вглубь, в самое сердце насторожившегося, чутко и боязливо примолкшего леса.

Заглядывает во все укромные уголки, в амбар, между тополями: везде одинаково перепутаны пятна света и тени, везде молчаливо и пусто.

Выбирается. Деревья редеют. Песок все гуще скрипит под ногами, и открывается смутно-неясный простор, полный неуловимой мертвой жизни.

На бугре в лунном свете склонившаяся женская фигура.

Старик останавливается, наклоняет голову. В чутко зыблющемся голубоватом сиянии загадочный далекий и тут же звучащий голос:

— Под Ивана Купала девки венки по воде пускают... в четвертом годе я плела, а он потонул... А в Шевырине ноне ярмарка... парни косяками табунятся, а девки семечки лузгают, орехи грызут... То-то смеху... возьмутся за руки... а вечером представление...

Зыбится голубоватое сияние, и на краю родятся и пропадают неуловимые марева.

— ...Обезьяна даже, то-то смеху, чисто человек. А вечером на деревне хоровод... далеко слышно...

Молчание, и не разберешь, долго ли, коротко. И в него крикливо врывается злой бабий голос:

— Сдохнешь, ни дня тут не останусь. Продам али посажу арендателя — и ффью!..

Она свистит грубо, по-мужски, и на старика блестят серые злые глаза.

Старик двигает заросшим волосатым ртом. Он подался, постарел. Не слышит или пропускает мимо ушей ее слова и шамшит, двигая волосами вокруг рта и глядя слезящимися глазами на пески.

— Да-а... все занесло... а тоже весело, как молодой был... Наш хутор вон за энтим бугром стоял, а за хутором сад, а за садом поле... Соберемся, бывало, за садом, водки наберем, пряников, девок сберем, тоже хороводы водили. А у отца лошади были — звери. Заложим лошадей, девок по хутору катаем. А за энтими кучугурами озеро было, большое лесное озеро было, све-етлое... Острогой хорошо рыбу били... по осени...

Долго шевелит круглым волосатым ртом.

— Богато жили, ста три овец, рогатого скота водили, а бабы на шее серебряные монеты носили.

И он все шевелит и шамкает круглым волосатым ртом.

Зыбится голубоватое сияние, родятся, тают марева, бродят отары овец, блестят лесные озера, звякают на шее у баб целковики, белеют хаты, и крыши мерещатся на смутно неясном небе...

Нет, это — песчаные бугры, и бело под лунным светом.

Тополя темнеют, остро протянувшиеся и неподвижные.

Нет, это узко протянулись тени от бугров, длинные и мертвые.

Она кладет голову на руки, ставит локти на колени и тоже глядит, вытянув шею, и видит за краем, где маячат марева, видит ярмарку в Шевырине, смех, шутки... жаркая ласка... крепко и грубо обнимающие руки... кудрявая голова...

Ее голос, чужой и далекий, звучит возле:

— Как кладбище... Ни-ичего тебе!.. Все было!..

VII

Казалось, все было недавно: недавно скрипели в лесу колеса, недавно плыла по лесу женская песня, недавно...

Но иногда старик говорил, гулко стуча ногой по дереву:

— Во... и это надо срубить!..

И тогда она широко глядела испуганными глазами: безлистные ветки сухо и серо рисовались, бесплодные, по голубому небу, и обнаженные корни обломанно торчали из рассыпчатого песка.

А когда вышла за старика, часто сиживала тут в густой тени, и сочные листья шептались над ней, сиживала на мягкой шелковисто-зеленевшей траве. И вставал ужас уходящего времени.

Уже много таких деревьев с тех пор порубили, и все больше редел лес. Песок незримо, но неустанно и неотвратимо вползал. Он невинно пробирался тоненькими незаметными извилинами и язычками, пробирался между кустами, между корнями, меж трав и цветов, глядь, а уже посохли корни, поникли цветы, пропала трава, улетели птицы, и печально стоят обнаженные деревья.

И опять — забывались, уходили в тень живых деревьев, лежали на зеленеющей траве, в листве гомозились и шныряли неугомонные птицы, уходили годы.

Иногда хозяйке казалось: дед умрет через день, через неделю, много — через месяц. И она чутко прислушивалась к его дыханию, приглядывалась к замедленным движениям, к трясущейся голове, рукам.

А крыша понемногу темнела, солома взъерошилась и стала обвисать. Только вода звенела по-прежнему тихим, задумчивым, дремотно-ленивым звоном.

И все когда-то новые, неожиданно и весело ворвавшиеся хозяйственные звуки — куриный разговор, гого-

танье гусей, хрюканье, звонкий голос молодой хозяйки,— все потускнело, понемногу всосалось, растворилось в лениво-дремотном, неумирающем звоне.

Как будто не было ни людей, ни животных, ни суеты, ни забот, а, не мигая, глядела одна мельница почернелой нахохлившейся соломой, ворочалось колесо да тихо звенела вода.

VIII

Как бы напоминая, что время уходит бесплодно и без возврата, приходили мутные дни без солнца, без красок, без линий.

Все погасало, контуры тонули, и до самого неба вставали крутившиеся пески. Полные отчаяния, ходили они косыми столбами, заслоняя воздух, солнце, синие дали.

И казалось, уже не будет веселого дня, радости, смеха, звонких молодых голосов. В мутном колебании — неотвратимое, слепое уныние.

Угрюмо ползет тоска.

Мельница, люди, ветлы, хозяйство кажутся маленькими, ничтожными.

В такие дни хозяйка злобно и тоскливо кричит:

— Что ты?.. Ну, куда ты?.. Разве от тебя что будет! С тобой хочь век лежи, ничего не належишь... Хочь приведи мне мужика, да чтобы дети были... старый черт!

Он растерянно огрызается, моргает и улыбается.

— Ты ничего... ты... этта... ты погодь трошки... Оно может еще...

Поднимает брови, ласкает трясущимися руками, а она опять слышит земляной гнилой запах старости.

— У-у, ты, старый кобель, будь ты проклят, вонючий черт, чтоб ты издох... не околеет древесина старая...

Она бьется в судорожных безнадежных рыданиях.

Старик жалко и растерянно топчется. Потом насупливает седые брови и говорит скрипучим голосом:

— Я те уважил, а ты что?.. Что ты была? А?.. Сколько моего веку осталось? Все твое... А теперича я вот порву завещание, вот тебе... Издыхай с голоду!..

— И издохну... и не нужна мне твоя мельница, уйду!..

Рыдания глуше, тише.

А утром из-за улегшихся песков опять покойно встает солнце и глядит длинными золотыми тенями, и тихонько гогочут гуси, и угрюмо, сосредоточенно ворочается черное колесо, глядит мельница постоянным, все одним и тем же таящим, остановившимся взглядом.

IX

Словно далекое воспоминание, по лесу трепещут молодые здоровые голоса, смех, шутки.

На повороте выворачивается одна подвода, за ней другая, возле идут парень и девка.

Они смеются, толкают друг друга, лица сверкают весело и радостно. Как будто нет почернелой мельницы, нет засыхающего леса, нет старых мужей, тоски, безнадежного ожидания. В каждом движении, в незначительном слове, беспрерывно сверкающем беспричинном смехе, который неудержимо все заполняет кругом, они делают дело молодости, особенное дело рвущейся беспричинной радости.

Хозяйка смотрит хмуро и недружелюбно.

— Ну, будет вам жеребиться-то!

— А тебе, старая сукновалка, завидно?

Лицо багровеет, как от удара кнутом, и крики и брань визгливо и злобно разносятся по лесу:

— Бездельники, шаландаются тут... хи-хи-хи да ха-ха-ха... вас за делом послали, а вы женихаетесь... места не нашли... вот не велю молоть пшеницу, поедете не солоно хлебавши, хозяева-то не поблагодарят...

Но крики, визг и брань не заглушают холода и ужаса поднявшейся тоски.

«Старая... старая... старая!..»

В этот день все валилось из рук, и старику прохода не было от ругани.

«Старая!»

«Да, да, старая...»

И она прислушивалась к своему погрубевшему голосу. И она чувствовала свое отяжелевшее тело. И это же говорило маленькое зеркальце.

Медленно, день за днем, морщина за морщиной, седой волос за седым и... старость, нет молодости, нет счастья, ласки, нет детского крика...

— О-о-о-о!..

Она выла, била посуду, бросала в деда горшки. Потом притихла и глядела на него не сморгнув.

— Али ошалела?

Не моргнув бровью, не шевельнув мускулом, глядела она. А он ходил, добрый, старый, с трясущейся головой, как ходят люди, стоящие одной ногой в могиле. Но ведь он такой, сколько она его помнит.

Это было трудно, это было сначала мучительно трудно и страшно. У нее тряслись руки, рассыпалось и ничего не выходило.

Но когда в первый раз дед выпил, ничего не замечая, она было бросилась к нему с остановившимися от ужаса глазами и, дергая, заплетающимся языком шептала:

— Выплюнь, выплюнь...

Потом привыкла и аккуратно подсыпала каждый день.

Старик хирел, еле таскал ноги, но скрипел, как старое дерево, и тянулось время.

Умер он неожиданно.

X

Когда на вечерней заре порозовели пески, хозяйка стала звать мужа вечерять.

— Старик, а старик?

Голос ее глотало тяжелое, спокойное молчание. Даже в лесу с отдаленно багровевшими верхушками не отзывалось обычное эхо:

— Ста-арик!

Звенит вода...

Хозяйка заглянула в амбары, в избу, выпустила наседку с цыплятами, подперла дверь, чтобы не лезли свиньи, и прошла к бугру,— старик лежал спиной кверху, уткнувшись седой бородой и запустив старческие костлявые пальцы в золотистый рассыпчатый песок.

Заголосила во весь голос, и причитания крикливо бились над мертвецом, но уже в нескольких шагах над тяжелыми, неподвижно-мертвыми песками стояло молчание.

— Да на кого ты меня спокидаешь!.. Да родименький ты мой!.. Да кормилец ты мой ненаглядный... Да куда же я теперь, сиротинушка!..

И над лежавшим, с видневшейся из-под шеи седой бородой и голым похолодевшим черепом, склонялась и припадала женщина, с выбивавшимися седыми косичками, с обрюзглым, в морщинах и слезах лицом, охваченная тоской и жалостью к человеку, с которым сжилась и привыкла.

XI

Казалось, ничто не изменилось. Медлительно-задумчиво, занятое только своим, ворочалось черное мокрое колесо, с тонким журчанием звеняще сливалась вода, и мертво, ничего не обещая, глядела мельница, нахохлившись почернелой соломой.

Когда старуха вернулась с годовой заупокойной панихиды, села на набившийся у стены песок и всплакнула. Но плакала не о старике, а вдруг вспомнила, как скучно, незаметно прошла жизнь, скоро и ей помирать, и радости она не видала. Да и к старику в конце концов привыкла, и было теперь пусто и одиноко в поредевшем сухостойном лесу.

Мельница по-прежнему глядела на нее слепо, тяжело, не спуская мертвого глаза. А жить надо, надо вставать утром, возиться, кормить птицу, засыпать в жернов, резониться с помольщиками.

Искала арендатора, но никто не шел в глушь, да и ее уже не тянуло в Шевырино, на ярмарку, в балаган на представление. Хороводы там водили девки, которых она не знала и которые еще не родились, когда она сама была девкой.

Наняла работника.

Он пришел, угрюмый, в плохой одеже и глядел исподлобья. Спал в амбаре над день и ночь жужжащим жерновом, а когда пришла осень, перебрался в теплые сени избы. Хозяйка держала его в строгости, и он работал не покладаючи рук, сумрачный, молчаливый, никогда не подымающий глаз.

Только раз поднял глаза и сказал:

— Хозяйка, давай расчет.

— А что?

— Пойду я.

— Да куда ж ты пойдешь?

— Пойду, надоть места поискать, может, в городу... может, заработаю да в деревню,— и, отвернувшись, глядел на заворачивавшую в лес корявую дорогу.

— Ванюша,— проговорила хозяйка, и в голосе ее дрогнула нежность; прежде она всегда кричала на него: «Ванька»,— Ванюшка, куда же ты уходишь, али плохо у меня?

— Плохо не плохо, а уйду.

— А ты останься, я те жалованья набавлю.

— Надоело.

Ночью она к нему пришла, но он ругался скверно и цинично и прогнал.

— Сволочь... старая коряга... Пойди ты к...

А она кормила его сладко, одела, заботилась. Всегда у него была водка, и он куражился над старухой. Потом остепенился, стал с ней жить, но она не отдала мельницы по запродажной, как обещала, а только сделала на него духовное.

Он сразу почувствовал себя хозяином, и черное, мрачное колесо запестрело, мелькая свежетесаными заплатами. И снова весело и обновленно глядела крыша золотистой, ровно подстриженной соломой.

XII

Из-за ветел, сквозь листву и кусты шиповника неслись ухарские пьяные вскрики, звон, хохот и песни..

— Гой... Вью!.. Жги!.. Говори!..

Несся тяжелый топот кованых сапог и крикливые бабьи взвизги, и странно и нестройно вязалось пьяное веселье с узорчато-колышущимися по траве задумчивыми пятнами, с шепотом чуть колеблющего верхушками леса.

Но когда тишина на минуту перехватывала пьяный гам, слышно было, как звенела вода, и мутно, не спуская тяжелого взгляда, смотрела мельница, и медленно ворочалось колесо.

Снова вскрики, смех, шуточная брань, заплетающиеся песни, тяжело и неровно выбиваемый топот гасили тишину, звенящие краски и нагло, растрепанно и пьяно царили среди задумчивости лесного покоя.

С узенькими сияющими щелочками, с потным, счастливо-красным, неудержимо разъезжающимся лицом, с выбившимися из-под повойника седыми косичками, хозяйка, сидя перед разостланной под вербой скатертью с закусками и держа сверкающую колеблющейся водкой рюмку, выводила пронзительно-высоким, как надрывающаяся от визгу свинья, голосом:

И пи-ить бу-дем
И гу-улять бу-дем...

— ...И гу-улять бу-дем!..— глухо, точно из-под земли, безнадежно крутя потной, растрепанной, пьяной головой, поддавал сосед.

...а сме-ерть при-дет,
По-ми-рать бу-удем!..—

поддерживает хозяин сосредоточенно и злобно, утаптывая не попадающими куда нужно ногами землю.

— ...Уже до такой степени приставал... до такой степени приставал...— чечёткой трещит, покачивая головой, краснощекая, с наивно-хитрыми бабьими глазами молодуха.— А я что ж... Я — ничего, я — не гордая... Они эти, которые городские-то, что они!.. Подкрасится, подбелится, еще туда-сюда, а раздень ее, на ней нет ничего...

...по-ми-рать бу-дем...

— Бу-удем!..— доносится из лесу.

— ...бу-удем!..— заколачивает тяжело хозяин.

— Угощайтесь, миленькие, угощайтесь, то-то весело, то-то хорошо!.. Милости просим, кушайте... На наш век хватит, дом — полная чаша, мельница-то бесперечь день и ночь работает... Хватит ведь, Ванюшенька, соколик ты мой ясный?

— Оччень даже... по-мми-рать бу-удем...— болезненно перекосив рот, с трудом справляется с языком.— Как сдохнешь, старая, перво-наперво сапоги себе юхтовые... А? Кто говорит?.. Потому на меня работает... на хозяина... Работника найму... Хозяин, и больше ничего...

Когда сквозь проходящий угар похмелья снова близко встал лес, мельница, повседневная работа, хозяйка, хмуро и подозрительно озираясь, бросала на ходу:

— Али соскучился по крале по своей? Думаешь, ничего не вижу? Все вижу, изломай тебя!

— Да ты что, с ума спятила...

— Все вижу.

— Тю!.. В лесу живем, как волки, голоса человеческого не слыхать...

— Не слыхать, а что ты все ходишь да оглядаешься?

— Тьфу ты, будь ты проклята!.. От старости ей уже представляться стало... Что ты меня мучаешь!

Что-то, чего не было прежде, пришло и стало. Подозрительное и неуловимое, оно таилось за деревьями, на мельнице, чудилось в хате, на поляне, в звуке голоса, в самых незначительных словах и выражениях.

И хозяйка говорила, когда садилась обедать:

— Дай-ка мне твой кусок.

— Да я тебе отрезал.

— Ну-к что же, нá, возьми мой.

Если парень долго завозится около мельницы или в разговорах с помольщиками, никогда она первая не начинала есть или пить чай.

— Ванюша, ешь, что ли, стынет.

— Зараз, ешь сама.

— Да что я... Ешь ты.

Завязывалась ругань, и по лесу метался визгливый бабий голос, переплетаясь с грубой бранью работника.

По ночам к ней приходил дед. Придет незаметно и беззвучно станет возле в темноте, белея спокойным лицом и бородой. А иногда лежит ничком, уткнувшись бородою и цепко запустив скрюченные пальцы в золотистый песок.

Ей не было страшно, потому что в его фигуре, в его лице не было укора. Совесть ее давно зажила, и он не будил ее.

Но в этом спокойствии, в этой невозмутимости ничего не подозревающего лица стояло: «И с тобой то же!..»

Со стоном скрипела зубами во сне, просыпалась на заре, вся облитая холодным потом, и глядела, не спуская глаз, глядела с ненавистью на здоровое, молодое, крепкое лицо парня, который громко храпел, откинув сильную руку и раскрыв рот.

И она подымалась, как кошка, с зелеными, по-кошачьи блестевшими глазами и с кошачьими, осторожно-мягкими ухватками, не спуская глаз со спящего, кралась

в угол и лапала под лавкою руками. Ей с дрожью, мучительно хотелось поднять и опустить остро сверкающий топор поперек этого чернеющего рта.

Он просыпался и с недоумением смотрел на ее дико впившиеся в него глаза.

— Что воззрилась? Али золотой сделался?

— Задушу своими руками... кишки выпущу... Знаю, что замыслил, давно заприметила...

День наполнялся криками, бранью, угрозами, ревнивыми попреками. Он бил ее беспощадно, с той особенной жестокой сладострастностью, с какой бьют только женщин.

Избитая, изуродованная, она лежала по целым неделям, но как только подымалась, только в состоянии была шевелить опухшими губами, злобно шипела:

— Приготовился уж... С кралей своей... Небось тут же дожидается... Хлебни, хлебни каши-то спервоначалу... Небось успел подсыпать...

Чем больше он ее бил, тем злее, въедливее впивалась она, как клещ, в его душу тысячами подозрений, попреков, жалоб.

По-прежнему светило солнце, колебались золотые пятна, желтели пески, звенела вода, пели певучую музыку яркие краски дня, но, все заслоняя и погашая, стоял удушливый туман, и люди задыхались.

XIII

Иван надел свои опорки, надел мытую рубаху, кафтан и стал туго подпоясываться.

Вошла хозяйка и заголосила:

— Ах ты босяк! Ах ты паскуда, опять к своей крал...— и осеклась.

Что-то спокойное, полное внутреннего мира лежало на его лице, с которого сбежала жестокость и озлобление последних годов.

— Ты куда же, Иванушка? — проговорила хозяйка, чувствуя, как щемяще-тоскливо упало сердце.

Иван затянул пояс, поддел конец, взял суму и шапку, повернулся к образу и стал креститься и низко кланяться.

— Прощай, хозяюшка, не поминай лихом. Пойду. Не жить нам. Вишь, как мы обижаем друг дружку.

Он низко поклонился ей, вскинул сумку на плечо и вышел.

Она кинулась, хватаясь за рукава, висла, тащилась за ним, рыдая:

— Да на кого же ты меня, сиротинушку, спокидаешь!.. Да касатик ты мой ненаглядный — али я тебе опостылела?.. Али не угодила чем?.. Ванюшечка, вернись, все — твое, ведь мне росинки маковой не надо...

— Нет, матка, не жить нам.

Он выпростал руку и пошел.

Она выскочила наперед и, вся трясясь, с передергивающимся судорогой лицом, брызжа слюной, кричала срывающимся от злобы голосом:

— Так издыхай, бродяга бездомный, издыхай с голоду посередь дороги, и чтобы тебе все православные плевали в паскудную морду... чтобы ты над плетнями с голоду опух, нищая калека!..— И, захлебываясь от дрожащего нетерпеливого желания скорее выговориться, прокричала: — Завещание порву... издыхай!

Он приостановился, обернулся к мельнице и злобно плюнул:

— Чтобы она провалилась тебе, окаянная!.. Душу всю вымотала.

На завороте уходившей в лес корявой дороги опять нагнала, повисла на шее и беззвучно билась в рыданиях:

— Ванюшечка, ведь радости не знала на свете и росинки. Сам знаешь, молодость со старым провела, деток не было... Теперь ты у меня один...

Ему стало жаль этой женщины. Он остановился.

— Воротись, слова поперек не скажу...

Освободился и быстро пошел по дороге, и долго было видно в умирающем, далеко сквозившем лесу, как твердо и упрямо шел человек, не оглядываясь, и долго видно было, как билась головой женщина о рассыпчатый, нежно сквозивший в траве песок. Темная мельница равнодушно и мертво глядела на обоих; медленно ворочалось колесо.

XIV

Тоскливо, одиноко потянулись для хозяйки дни, месяцы. Свет не мил. Куда бы ни пошла, что б ни делала, все напоминало об Иване.

Много передумала и во всем себя винила. Если б воротился, по-иному пошла бы жизнь, ласковая, тихая, сердечная.

С тоской глядела, как все глубже и глубже шли в лес пески, неумолимо, как старость.

Тайная надежда, что вернется, неугасимо жила в сердце и пугала ужасом несбыточности.

Мельница, лес,— уже и не запомнит старуха, в который это раз,— побелели снегом. Не вставали на дыбы прихваченные морозом пески и недвижимо дожидались тепла и сухих ветров.

Когда вьюги улеглись и снег, нагибая ветви, лежал тяжелыми пластами, а холодная зимняя луна еще не всходила, кто-то стукнул в окно.

— А?

Может быть, лопнуло от мороза бревно или свалился с крыши мерзлый ком.

Она прижала лицо к морозному стеклу, загораживаясь рукой от света. Сквозь белесую муть траурно проступал силуэт мельницы. Когда присмотрелась, не то маячила, темнея, фигура человека, не то дерево ложилось на окно тенью.

Сердце забилось смутным предчувствием, и она тревожно спросила:

— Да кто там?

— Пусти.

Придерживая, боязливо приоткрыла дверь, и, внося клубы морозного пара, шагнул иззябший человек в лохмотьях, с угрюмым, исхудалым, измученным лицом.

— Ванюша!

Так и кинулась. То плакала, то смеялась, а он угрюмо глядел в пол между коленами.

— Мельница-то как стояла, так и стоит.

— Как же, Ванюшечка: на нас, родименький, на нас с тобой работает... Теперь заживем с тобой...

— Не спалил никто, добрый человек.

— Что ты, что ты, Ванюшка, что ты... Кормилица она наша. Хозяева ведь мы с тобой.

За дымящимся самоваром в уютной теплой горнице рассказывал обычную рабочую бродяжью повесть. Работал как вол, чтобы скопить, уехать в деревню, обзавестись семьей, хозяйством, но в промежутках между ра-

ботой, когда слонялся по экономиям, предлагал руки, все проедал.

— Во! — он поднял руку — пальца не было,— оторвало на машине, три недели провалялся.

Озлобленно глядели измученные глаза.

Первые дни хозяйка не знала, чем накормить, куда посадить гостя, и, не отрываясь, глядела ему в глаза.

А по ночам опять стал приходить старик. Неподвижно лежал ничком, и мерещилась, белея, борода, как белесая муть в окнах. Во всей доброй старческой фигуре не было и намека на укор, и было столько добродушия, было столько детской доверчивости, что она вся тряслась, когда просыпалась, и пытливо глядела в глаза сожителю.

— Кабы заглянуть тебе в душу... Что у тебя там,— с тоскою говорила она и с злобно-перекошенным лицом, вся трясясь, шипела: — Семейство свое захотел завесть... Я не нужна стала, одна мельница нужна, доходы, а меня можно спровадить... У-у, злодей!.. У-у, убивец!.. Чтобы ты издох... Выгоню, издохнешь под тыном...

И снова попреки, не засыпающие подозрения, снова душу раздирающие крики избиваемой женщины, и все один и тот же, ничего не говорящий мертвый взгляд вещей. И под этим тупым и тяжелым взором, полным мертвой власти, люди были маленькие и ничтожные.

Проходили дни, недели, месяцы, годы, создавая страшную привычку жизни.

Снова ход времени чувствовался лишь по тому, что то там, то тут зеленое развесистое, когда-то шептавшееся живыми листьями дерево теперь стояло неподвижное, мертво подымая к небу сухие, ломкие ветви. Да пески ровно, неотразимо, спокойно расселялись в лесу.

В редкие минуты, когда хозяйка уезжала по делам, звенела вода, в лесу турлыкали по сухим ветвям горлицы и ворковали дикие голуби, Иван выходил на песчаный бугор, садился, брал в руки голову и думал.

Думал, что он будто на большой дороге, в палящий зной ходит по экономиям, и нет наемки, и нет росинки в пересохшем рту. Забыл и думать о хозяйстве, о семье. И будто кругом ничего нет, стоит только мельница, черная, насупленная. И будто пухнет она. Уже с ворота сделались двери, выше дерева мелькает огромное колесо, и

под самые под серые облака поднялась рассевшаяся крыша. И куда ни глянет, везде чернеет мельница.

Глядь...

Он открывает глаза, встряхивает головой,— светит солнце, звенит вода, позади сквозь деревья чернеет мельница.

— Ишь ты, задремал. Пойти поглядеть засыпку.

Подымается и идет работать.

Ворочается хозяйка,— и опять лес, и звенящая вода, и воркующие голуби заслоняются криками, бранью, визгливой злобой.

XV

Задумался Иван. Мало стал есть, слова от него не добьешься, перестал бить хозяйку. Главное — перестал бить, и это больше всего ее тревожило. По целым ночам не спала, держала всегда хлеб и припасы под замком и зорко следила, чтобы не подсыпал чего за обедом.

— Ну, чего молчишь? Чего молчишь, кровопивец!..

Ранним утром, когда никого не было из помольщиков на мельнице, Иван пошел в амбар, порылся, что-то взял и, суровый и угрюмый, подошел вплотную.

— Пойдем.

— Это еще куда?.. Да чтоб ты сдох, чтоб тебя лихоманка затрясла, холера скрючила... чтоб ты!..

Он сбил кулаком, схватил за косу и поволок.

Старуха судорожно хваталась за ветки, за кусты, за траву, за песок, и стоял рев, как будто резали скотину.

Но когда мельница осталась позади и кругом безучастно обступил лес, молча и равнодушно глотая в ветвях полные предсмертного ужаса крики, старуха поднялась на ноги и проговорила, трясясь как лист:

— Иванушка, родименький, куда ты меня ведешь?

— Ну, иди, иди...

И они шли мимо высыхающих озер, мимо полян, белевших песком. И когда вошли в заросли, запутанные диким хмелем, сказал:

— Становись на коленки, молись богу.

В опущенной руке тяжело поблескивал топор.

Она повалилась, хватаясь и обнимая ноги.

— Родименький, не губи ты свою и мою душу... Дай ты мне наглядеться на свет божий...

А он спокойно и холодно:

— Намучился... нет моей мочи... дня не вижу... Все одно тупик мне... не выбраться... А тебе сдыхать давно пора, старая карга...

— Ванюшка, не даст бог тебе счастья... Попомни ты мое слово.

Она ползала, хватаясь за него в предсмертном ужасе. А он отступил на шаг:

— Ну, старуха, не хочешь молиться, что ль?.. Так и так отправишься...

И, отставив ногу, отмахнулся топором.

Она завизжала, но не визгом ужаса, а звериным криком захлебывающейся, рвущейся злобы:

— Духовное-то... духовное-то я... порвала!!

Он застыл с занесенным топором, а она каталась в истерически-злорадном хохоте, судорожно впившись в землю, и пена пузырилась на сведенных губах.

— ...порвала!.. порвала!.. порвала!..

И лес, хмуро обнимая со всех сторон, насмешливо и глухо повторял страшное слово:

— ...порвала!.. порвала!..

На сухой ветке кланялась ворона:

— Потерял... потерял... потерял!..

Выронил топор, пошел шатаясь, держа обеими руками голову. А над ними стояло бурое небо, бурый воздух, потонувший в мутно-бурой мгле лес. Песок поднялся до самого неба, и ходили, наклонившись, меняясь неясными очертаниями, косые столбы, теряясь гигантскими головами в мутно клубящихся облаках.

Куда ни глянешь, было все то же, и не было просвета, и не было пределов отчаянию.

XVI

Время шло не дожидаясь, как будто ничего особенного не произошло. Хозяйка возилась с птицей, резонилась с помольщиками, отбирала меру, Иван засыпал, наковывал камень, чинил поломки.

— Вот чего, хозяйка... Ежели завещание опять не напишешь, уйду, не из чего мне тут жить, вот тебе последний сказ.

— Пойдем к попу. У него лежало завещание, у него опять напишу.

Пошли.

Поп вышел на крылечко и сумрачно смотрел на обоих.

— Батюшка, до вашей милости.

— Вы чего же это,— не слушая, заговорил поп,— чего же это не венчаетесь? Что же это по-басурмански? Души-то свои в геенну готовите? Стыдно тебе, старая. Эдак я и причастия не дам, говеть будешь.

— Батюшка, да куда тут выходить-то.— Хозяйка заплакала.— Ведь смертным боем он меня бьет, места живого нету. А неделю назад чего задумал: завел в лес и хотел зарубить, вот как перед истинным. И теперь, которое завещание лежит у вас на него, пусть лежит... Но только если меня убитой найдут али помру, он меня, стало быть, извел. Так и знайте, хоть пускай режут мертвую.

Иван попятился. Холодный пот покрыл лицо.

«Так завещание цело было!»

В голове звенело, и он не слышал, о чем говорили.

— Э-э, да ты вон куда глядишь? Каторги захотел? Ну, вот чего — покос скоро, так приходи недельки на две притчу скосить на церковной земле... Вместо епитимии тебе будет, грех будешь отмаливать... Да смотри приходи, а то и полиции можно... тово... А ты, старая, духовное лучше бы на церковь переписала... Да, а то грех эдак-то...

Мертвая петля захлестнулась. Уйти не хватало силы, да и от работы тяжелой отвык, на мельнице стоял непрекращающийся содом без отдыху и сроку. Хозяйка не переставала кричать: «Убийца! Арестант! Каторжник!», а он бил ее с остервенением.

XVII

Вечерял ли с хозяйкой на потухающей заре, говорил ли с помольщиками, засыпал ли ночью, всегда стоял возле кто-то третий. Иван поднимал глаза, и всегда один и тот же вырисовывался чернеющий силуэт мельницы.

В жужжании жернова, в переливающемся звоне колеса слышалась мерная речь. Кто-то неустанно и днем и ночью говорил без умолку.

Останавливался, наклонял голову, прислушивался. Чудилось длительно, монотонно:

— ...о-го-го-о-о... га-га-а-а-у-у... го-го-о...

Своеобразный, особенный, никому не понятный язык, но с человечьими мыслями. И, как проносящийся над рекою осенний туман, мысли эти неясно, разорванно, меняясь и тая, неуловимыми очертаниями смутно складывались в: «Ты — мой... ты — мой... Не уйдешь... Ты — мой... Не уйдешь... Ты — мо-о-ой!..»

К этому лениво ворочающемуся колесу, к этому черному, угрюмому срубу с нависшей соломой, к мерно звучащей воде, к жернову, неутомимо ведущему всегда однообразную речь, но с разнообразным таинственным содержанием, Иван научился относиться как к живому:

— Чего долго не идешь вечерять?

— Мельница, вишь, не пускает.

Или:

— Колесо нонче осерчало, трошки руку в плече не выдернуло.

Или:

— Но и развеселился нонче жернов — так и пляшет, так и пляшет, муку не успеваешь отгребать.

Когда уставали от ссор, драки и ругани, начиналось бражничанье, попойка и разгул. Приезжали из хуторов, пили помольщики, и дым шел коромыслом.

Когда Иван напивался, его боялись. С красными, как мясо, глазами глядел из-под насупленных бровей, лохматый, с разорванным воротом.

То плакал, обнимая голову, пьяными слезами.

— Головушка ты моя бедная, пропала ты ни за грошик, ни за понюх табаку. Что я видел на белом свете? Жизни не видал, радости не видал, один песок сыпучий жисть мою засыпает... А-а, ты, проклятая!..

Тяжело и долго глядел на мельницу, и вид, все такой же черный, спокойный, покосившийся,— такой, какой, должно быть, был и при старике и при его отце,— и невозмутимо ворочающееся обомшелое колесо зажигали непотухающую злобу.

— Проклятая!

Схватывает топор, с бешенством рубит. Топор глухо по самый обух с размаху вбегает в почернелое дерево, разметывая щепу. С треском раскалываются и срываются с петель двери.

Хозяйка отчаянно воет:

— Вяжите, вяжите его, изверга!.. Пропало добро!.. Вяжите его!..

Щепа летит во все стороны, и сруб уродливо разевает рот.

— Не подступайся... убью!..

Тяжелая сталь глубже и глубже входит в живое мясо, и с визгом наслаждения раз за разом всаживает с багровым от натуги лицом человек. Вот-вот рухнет, и на весь лес загогочет вольный человек:

— Го-го-го-го-о-о!..

— Вяжите его!.. вяжите его!.. Бейте, в мою голову!.. Ой, батюшки, убивает!..

— Го-го-го... га-га-га!..

Прибежали гости, помольщики, но к Ивану, в руках которого свистел топор, страшно было подступиться. С трудом выбили топор колом, сбили с ног, навалились, стянули назад руки и, озлобленно дыша, отволокли под вербы.

На другой день, только зорька протянулась над песками, Иван взялся за топор и усердно целый день заделывал порубленные места и сколачивал новые двери.

Недолго пережили они друг друга и умерли в небольшой промежуток, измученные, усталые, но привыкшие и примирившиеся с постылой жизнью.

И когда их везли на дрогах, мельница, полуразвалившаяся, со свесившимися космами почернелой соломы, глядела на гроб тем же бесстрастно мутным, ничего не говорящим взглядом. Ослизлое, обомшелое колесо угрюмо ворочалось, медленно и равнодушно.

Неотвратимо надвигались пески.

Долго глядели из песка полузанесенные почернелые обломки мельницы. Наконец и их сравняло. Песчаный простор надвинулся к самой реке.

И в лунные ночи маячили марева, белели хаты, тянулись тополя, звякали у баб целковики, и сквозь звенящую тишину и сквозь звенящие слезы чудилось: «...а на правой на рученьке — родимое да пятнышко...»

Марева таяли, и белели пески, недвижимые, мертвые, да тени, чернея, тянулись от бугров.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

В жизни и в литературе мой отец — писатель А. С. Серафимович (Попов) всегда был на переднем крае борьбы, и по праву можно сказать, что в его произведениях почти с фотографической точностью отражены если не все, то во всяком случае главные исторические события в жизни нашей страны, в первую очередь события революционные.

За время его жизни Россия пережила жесточайшие социальные потрясения и политические перемены. Писатель родился вскоре после отмены крепостного права; студентом принимал участие в бесплодных, но азартных дискуссиях: будет ли в России капитализм — и стал свидетелем бурного развития капитализма на юге России; он пережил мрачные годы царствования трех русских царей, был участником империалистической войны. Серафимович — свидетель и горячий участник двух революций, гражданской войны. Он пережил первые трудные годы борьбы за коммунизм и верил в будущее нового общества. Эту веру он ярко выразил в последнем своем очерке «С высоты восьмидесяти пяти лет», где писал: «Мне выпало большое счастье: я стою на пороге коммунизма. Коммунизм подходит в пламени войн, порою в голоде, в холоде, в смертельных муках, медленно-непрерывно, неуклонно и неотразимо... Но коммунизм с несокрушимой силой мнет старые привычки жизни,.. прокладывая новые пути».

Творчество А. С. Серафимовича — это как бы летопись жизни нашей страны, летопись художественно многообразная, объемная. Творчество его обширно и тематически и жанрово, и, чтобы показать в небольшом издании все многообразие его творчества, рост его как писателя, писателя-революционера, художественно воплотившего в своих произведениях историю нашего Советского государства, пришлось особенно строго отнестись к отбору его про-

изведений и расположить материал в тематически-событийном порядке, который не противоречит воле самого автора: при жизни писателя почти все его собрания сочинений и отдельные сборники были составлены именно по этому принципу.

В основу настоящего издания положено собрание сочинений 1931—33 годов, в котором каждый том имеет свое название («Рабочий день», «Старая Россия», «Сумерки буржуазии», «1905 год» и т. д.), определяющее основную тему произведений, вошедших в этот том. Эти названия томов сохранены в данном издании как названия циклов. Последовательность расположения произведений в циклах — авторская. Некоторые произведения, печатавшиеся в периодике, а затем утерянные, не вошли в собрание сочинений 1931—33 годов. В данном издании они помещены в дополнительный (II) раздел того или иного цикла, по тому же тематическому принципу. Эти произведения представляют несомненный интерес для современного читателя.

В отличие от собрания 1931—33 годов в первый том настоящего издания выделены самые значительные, программные произведения писателя — романы «Железный поток», «Город в степи» и повесть «Пески». В последнем, четвертом, томе, кроме авторских циклов, дан редакционный — «Великая Отечественная война», в него вошли рассказы военных лет. Завершает собрание раздел публицистики. Очерки, статьи, фельетоны и выступления писателя в своей совокупности показывают Серафимовича как писателя-журналиста, писателя-критика, писателя - общественного деятеля, писателя-патриота.

Игорь Попов

ЖЕЛЕЗНЫЙ ПОТОК. ГОРОД В СТЕПИ. ПЕСКИ

«...Не с завязки, не с интриги, не с типичных лиц, не с событий, даже не с ясно осознанной первичной идеи зачинался «Железный поток» — так пишет Серафимович в статье «Из истории «Железного потока». Еще не было самой основы романа, но весь его фон — грандиозный Кавказский хребет, с серыми скалами, нагнувшимися над бездонными провалами, с непроходимыми лесами, густыми и синими, «где жителями лишь зверь да птица», «вре́зался в ... писательский мозг и ... требовал воплощения». И писатель ищет материал, который дал бы ему возможность использовать этот фон, понимая, что могучая природа Кавказа требует для своего воплощения столь же могучего, масштабного сюжета. Такой сюжет он нашел в истории героического похода Таманской армии. Серафимович давно «носил в себе ... тему об участии крестьянства в революции», он искал материал, который дал бы «возможность показать крестьянство во всех его проявлениях» и с наибольшей яркостью характеризовал бы его революционную силу. Отступление громадных масс бедноты с Кубани, где поднялись против Октябрьской революции зажиточные кулацкие слои, и революционное преображение этих масс стало тем материалом, который лег в основу романа.

К работе над романом автор приступил в 1921 году, намереваясь создать целый цикл произведений о революции,— и дал ему подзаголовок: «Из цикла «Борьба». Однако «Железный поток» остался единственным, цельным, вполне законченным произведением цикла. Роман основан на реальных событиях. В августе — сентябре 1918 года совершила свой славный поход-прорыв Таманская армия. В августе, когда на Кубани разгоре-

лось восстание контрреволюционеров и белые захватили Екатеринодар, таманцы оказались отрезанными от красных войск на Северном Кавказе. Командование решило вывести армию из окружения. С бойцами пошли их семьи; беднейшая часть населения станиц также уходила с Таманской армией от белого террора. Пятьсот верст преодолели таманцы. На этом пути им пришлось вступать в жестокие бои с белоказачьими отрядами и пикетами грузинских меньшевиков. Армия прошла через жесточайшие испытания, и все же таманцы пробились к своим через заслон врага и приняли участие в успешном наступлении на Южном фронте.

Серафимовичу была известна история Таманской армии. Особенно усилился его интерес к этому походу после знакомства в 1921 году с командиром таманцев Епифаном Иовичем Ковтюхом.

Воплощение героического сюжета потребовало большой исследовательской работы. Серафимович досконально изучал исторические материалы эпохи гражданской войны на Кубани — воспоминания участников, очерки, устные рассказы. И строго сортируя факты, обогащал их художественным домыслом, отбирая те изобразительные средства, которые позволили бы представить события и характеры с наибольшим размахом, убедительностью, выразительностью. Правда, сам писатель считал, что домысла, или, как он говорил, «выдумки», у него в этом произведении мало, что события представлены в романе так, как они происходили в действительности. Сюжет сохраняет реальную канву событий, точно отражает истинный характер таманцев в их совокупности, батальные сцены воссозданы в романе почти с фотографической четкостью. Даже те эпизоды, которые легко приписать авторскому вымыслу, имеют фактическую основу. Таков, например, эпизод бегства белоказаков, принявших в ночной тьме толпы беженцев за огромную армию большевиков.

Многие герои романа имеют реальных прототипов: в образе Кожуха легко угадывается Е. И. Ковтюх; Приходько вобрал в себя черты адъютанта Ковтюха — Я. М. Гладких; особенности характера бывшего матроса И. И. Матвеева, который командовал второй колонной в Таманской армии, мы видим у Смолокурова. Даже фигура грузинского меньшевика Михеладзе, нашедшего смерть на улице Туапсе, создана на реальной основе.

И все же писатель не прав, говоря, что в «Железном потоке» мало «выдумки». Под пером Серафимовича факты, при всей их конкретности, претерпели большие изменения: они не только тщательным образом отобраны, но и смещены во времени, пере-

строены, обогащены фантазией писателя. Все здесь: и факты, и фигуры героев, и композиция произведения, и художественные средства — подчинено одной целостной идее, идее превращения в процессе борьбы за Советскую власть неорганизованной, склонной к анархии крестьянской массы в убежденного и стойкого союзника пролетариата, идущего рука об руку с ним по пути революционной борьбы.

Работа над романом шла более двух лет. За это время и структура «Железного потока» и отдельные его образы перестраивались и переделывались не раз. Серафимович неуклонно добивался последовательного и неопровержимо ясного воплощения основной идеи своего романа. Для примера достаточно упомянуть об эволюции двух образов — Кожуха и Смолокурова. Кожух, который вначале был весьма близок к своему прототипу, со временем сильно отдалился от него и в окончательном варианте романа стал олицетворением несгибаемого коммуниста, сохранив при этом индивидуальные черты характера. Глубоким художественным обобщением явился в романе и образ Смолокурова, который сначала не удавался писателю. Фигура заносчивого, склонного к анархизму командира, являясь антиподом Кожуха, заострила идею романа и зримо показала тот вред, который может принести революционной армии неорганизованность и расплывчатость убеждений.

Когда «Железный поток» вышел в свет, критика сразу признала новое произведение Серафимовича большим достижением советской литературы, назвав это произведение «прекрасным вкладом в пролетарскую литературу нашего времени». Лишь отдельные противники Советской власти неодобрительно отозвались об этом романе. Но отрицательные отзывы врагов только подчеркивали огромное значение произведения Серафимовича для литературы победившего пролетариата. Самым значительным откликом на «Железный поток» стала в то время статья Дмитрия Фурманова, напечатанная в журнале «Октябрь». Комиссар-коммунист и писатель, Фурманов увидел в Серафимовиче властителя дум своего поколения, сочетающего «мастерство художника с богатой эрудицией этнографа, добросовестную и широкую компетентность историка — с мудрым, серьезным и трезвым подходом социолога-ученого» [1]. Фурманов первым назвал «Железный поток» шедевром, а его автора признал классиком молодой советской литературы. И это вполне справедливо. Именно Серафимович поло-

---

[1] Дм. Фурманов. Собр. соч. в четырех томах, ГИХЛ, 1961, т. 3, стр. 288—289.

жил начало произведениям героического жанра в нашей литературе.

Характеры в романе раскрываются через действие, поступки, а действие это в условиях классовой, революционной борьбы всякий раз оказывается героическим. Именно в действии, в свершениях вырисовывается и психологический портрет героев. Причем единение и противоборство характеров и психологий происходит, естественно, не на камерном фоне, а на фоне толпы. Фон этот отнюдь не пассивен: народ, тысячные массы так или иначе участвуют в деяниях героя, либо соглашаясь с ним, либо споря, но участвуют всякий раз весьма активно, даже бурно. Обобщенность, масштабность изображения позволили автору не только отобразить, крупно и ярко, главные стороны народной жизни той поры, но и раскрыть внутренний исторический смысл происходящего.

Однако следует отметить: при всей масштабности, с какою представлено громогласное народное действие, автор умеет найти точное время и место для показа житейского, тихого, а иногда и по-бытовому интимного. Таковы некоторые сцены с Кожухом и с бабкой Горпиной. Умеет писатель, когда нужно, поставить этих людей в центр огромной толпы, но поставить так, что герои, находясь в самой гуще людского потока, отчетливо излучают собственные, личные чувства. В этом проявляется высокое искусство автора живописать толпу как главного героя повествования — передавать эмоциональное состояние людских масс, их психологическое лицо в целом. И вместе с тем четко, выразительно представлять индивидуальные характеры. Личный темперамент и высокий накал натуры героев находят дорогу в океан человеческих страстей и вызывают соучастие многотысячных масс.

В «Железном потоке» с особой полнотой раскрылась сильнейшая сторона творческой натуры А. С. Серафимовича: редкое умение делать природу органическим и ответственным звеном сюжетного развития, придать пейзажу функцию непосредственного участия в отражении социально-философских воззрений автора. Сам писатель в статье «Из истории «Железного потока» подробно рассказывает о том огромном значении, которое занимает пейзаж в его романе. Один из многочисленных исследователей творчества Серафимовича точно подметил, что в «Железном потоке» схватка со стихиями как романтический прием помогает выявить силу и мощь «железного потока революции». Картины природы в этом романе, по словам другого исследователя, «отмечены печатью такого величайшего напряжения, что и солнце, и небо, и вода, утрачивая свой обычный, будничный облик, начинают

восприниматься как нечто небывалое и неповторимое, почти фантастическое». Литературоведы отмечают «проекцию образа природы на народный характер именно в его массовом воплощении», как одну из характерных особенностей яркой творческой индивидуальности А. С. Серафимовича.

Удивительно богат в романе язык. По наблюдению лингвистов, с современными прозаиками Серафимовича сближает «избыточность информации», которой так насыщено его произведение. И эту по тем временам редчайшую художественную особенность писатель сумел теснейшим образом связать с эстетической функцией языка. Произведение это написано удивительно экономно. О «Железном потоке» часто говорят как о монолите, эпопее, а Фурманов назвал его повестью: роман едва насчитывает 9 печатных листов.

Роман впервые опубликован в четвертой книге альманаха «Недра» за 1924 год с подзаголовком: «Из цикла «Борьба».

*

После Ленского расстрела, в апреле — мае 1912 года, по стране прокатилась грандиозная волна массовых политических забастовок. В мае этого же года в журнале «Современный мир» появляется завершающая часть романа Серафимовича «Город в степи», в котором предощущается перелом в сознании не только пролетариата, но и всех демократически настроенных слоев русского общества. На последних страницах романа писатель воссоздает художественно-убедительную картину стачки рабочих, стачки, в которой пролетариям удалось победить благодаря солидарности, братской взаимопомощи. В романе зримо проступает неугасимая вера Серафимовича в победу революции, которая жила в нем все годы жестокой реакции.

Широкое полотно из жизни русских рабочих было задумано писателем на переломе двух веков. Позже Серафимович говорил: «Больше всего мне хотелось нарисовать рабочих, дать первичное, стихийное революционное движение... В этом направлении мне многое дала жизнь на станции Котельниково, вновь строящейся дороги Царицын — Тихорецкая. Там необыкновенно быстро, по-американски, разрастался в степи рабочий поселок, я и взял его за ядро романа.

Мне в Котельникове было очень удобно наблюдать стихийное, первичное развитие рабочего движения...» [1].

---

[1] А. С. Серафимович. Полное собр. соч., изд. «Федерация», 1931, т. 5, стр. 294—295.

Над романом Серафимович работал с 1907 по 1912 год. Писать его пришлось урывками. Между первоначальным замыслом произведения, который складывался задолго до 1905 года, и началом непосредственной работы над ним пролегла тревожная и бурная эпоха первой русской революции — ее высочайшего взлета в дни декабрьского вооруженного восстания рабочих в Москве, Сормове и других городах России и ее спада, когда восторжествовала монархическая реакция. По свидетельству некоторых исследователей творчества Серафимовича, окончательный план романа сложился у автора лишь к началу 1909 года. Писатель Г. Б. Шатуновский (Г. Нерадов) подсчитал, что в общей сложности автор работал над «Городом в степи» около четырех лет.

Когда роман был, наконец, завершен, Серафимовичу долго не удавалось пристроить его в печать. В те годы реакции прогрессивные издания подвергались злобным гонениям цензуры. Редактор и издатели нередко привлекались к суду, облагались штрафами. Неудивительно, что в таких условиях писателю-революционеру было трудно издать свой остросоциальный роман. Как сам он писал много лет спустя: «Уже тогда, в 1908 году, я считал своей обязанностью подпиливать столетний дуб собственничества всеми доступными средствами: ведь именно в этом, по моим понятиям, состояла подготовка социальной революции, т. е. главное дело революционного художника» [1].

А. С. Серафимович был знаком с капитальной работой В. И. Ленина «Развитие капитализма в России», работой, изобличающей самые отвратительные стороны русского капитализма как орудия угнетения и порабощения трудового народа. Стремясь нанести удар по российскому капитализму, Серафимович и создал «Город в степи» — произведение, которое, представляя в реалистических художественных образах звериную сущность капитализма, показывало вместе с тем трудовому народу России единственный путь к освобождению от тяжкого ига, путь, открытый Марксом и Лениным.

В письмах к жене и друзьям Серафимович не раз говаривал, что он — художник-пейзажист. И блистательно подтвердил это определение своего таланта в новом романе: местом, где писатель решил показать читателю беспощадное «давление капитализма на рабочую жизнь», он избирает выжженную солнцем южную степь. Все главы и эпизоды романа, все его чрезвычайно сложные конструкции цементирует, соединяя мозаику жизни в единое полотно,

[1] А. С. Серафимович. Собр. соч., ГИХЛ, 1947, т. IV, стр. 472.

яркий пейзаж родной художнику степи. Степь — это и органичный фон повествования и постоянный важный, но беспристрастный свидетель неотвратимо надвигающихся, а потом мгновенно разражающихся человеческих драм, драм, которые составляют и стержень и самое содержание социального романа. На теле рыжей степи сиротливо, жалко, мрачно, как гнойные язвы, выглядят серые землянки, где в тесноте, духоте, скученности, в постоянной темноте живут, голодают, болеют, порою и гибнут семьи строителей города, страшного порождения капитализма. Города, который силой своего воображения воссоздал писатель, зорко подметивший типические черты «бурного процесса первонакопления» российской буржуазии. И над всем поселком строителей, словно вкопанным в землю, настороженно вглядывающимся в огненную бескрайнюю гладь степи, поднимается, как символ будущего капиталистического города, здание трактира с публичным домом. И тут же еще один зловещий спутник степного поселка, неотъемлемая часть «обновившегося» пейзажа — кладбище. Длинные ряды свежетесаных крестов с каждым днем уходят все дальше в степь.

И если Захаркин трактир, как спрут, колышется в степном мареве, паря над сотнями обреченных землянок, то сам он, местный богатей, будущий русский капиталист Захар Касьянович Короедов, тысячей невидимых глазу щупалец — лесных бирж, лавок, строительных площадок, бараков — мертвой хваткой держит рабочий люд.

«Город в степи» — произведение нового, только-только зарождающегося метода пролетарской литературы, который позже будет назван методом социалистического реализма. В этом романе автор в зримых и памятных художественных образах сумел показать бесчеловечность и бездуховность русского капитализма, истинно грабительский характер его развития, полную аморальность и безусловное разложение его представителей с самых первых шагов становления буржуазии как класса. В своем романе Серафимович разоблачил и либеральную интеллигенцию, вскрыв ее приспособленчество, готовность к предательству народных интересов. А главное, писатель сумел убедительно изобразить глубинные процессы вызревания и быстрого роста революционного сознания в широких массах рабочих. В этом романе, так же, как и в других своих произведениях, посвященных пролетариату, Серафимович (по его собственной оценке, данной другому крупнейшему советскому писателю — Дмитрию Фурманову) «глядит на жизнь, на борьбу революционными глазами восставшего класса, а не померкшим взглядом уходящего в забвение».

Сам автор в беседе с корреспондентом высказал свое отношение к этому этапному для его творчества роману: «Я считаю, что наиболее характерные черты моей писательской физиономии ярко отразились в моей крупной вещи «Город в степи» [1]. А газета «Правда» в статье, посвященной Серафимовичу в связи с его семидесятилетием, писала: «В 1906 году, буквально назавтра после декабрьского восстания в Москве, Серафимович начинает писать свой роман «Город в степи»... В этом произведении снова утверждается революция, ее неизбежность и закономерность.

Революция 1905 года разгромлена — да здравствует революция!» [2].

Роман впервые опубликован в журнале «Современный мир» за 1912 год, №№ 1—5.

*

«Молодая, полная сил и здоровья работница продает себя старику мельнику в чаянии стать собственницей обветшалой мельницы. Потом, с годами, сама превращаясь в старуху, в свою очередь хозяйка властью собственности прикрепляет к себе молодого работника. Мельница и у этого высасывает молодость: собственность и тут сожрала чувства. Капиталистический мир таким образом утверждает систему эксплуатации не только мышц, но и чувств. Вот в чем социальная основа рассказа» — так определял идею «Песков» А. Серафимович [3].

Повесть создавалась автором в период жестокой реакции, когда многие, даже прогрессивные, демократически настроенные писатели оставили острые социальные темы. И с тем большей решимостью, страстностью взялся Серафимович за произведение, в котором ему предстояло развернуть потрясающую человеческую драму, порожденную разгулом собственнических инстинктов, жаждой наживы, властью денег.

Деньги. Золотые, серебряные, медные монеты. Они, словно песок, сыплются, сухо звеня, на открытые всем чувствам людские души, и черствеют сердца, умирает в человеке все доброе, связывающее его с природой и другими людьми.

Писателю-революционеру были глубоко чужды, даже ненавистны любые проявления собственнических инстинктов. Овладевший великой наукой пролетарской революции — марксизмом-ле-

---

[1] Газ. «Известия», 1924, № 74.

[2] Газ. «Правда», 1933, № 20.

[3] А. С. Серафимович. Полное собр. соч., изд. «Федерация», 1932, т. 3, стр. 420.

цинизмом, Серафимович знает, что буржуазная жажда наживы, власть вещей и денег, крайне опасна для людей. Она уродует, калечит человека, превращая его в раба.

Красота природы, теплота человеческого общения, высокое чувство сопереживания и добросердия — всем знакомые, каждому доступные, обыденные радости бытия. В «Песках» Серафимович как бы заново открывает для миллионов людей труда эти вечные жизненные ценности. Но подобно тому, как прекрасная природа погибает здесь под натиском коварных песков, так может убить и все человеческое в людях страшный мир капитализма.

Очень высоко оценил «Пески» Лев Николаевич Толстой. «Мне попался рассказ Серафимовича «Пески»,— запишет со слов Толстого доктор Маковицкий.— ...Это такая прелесть! Это мне Чехова напоминает... Настоящий художник!». На полях одной из страниц повести Толстой, любивший оценивать литературные произведения по пятибалльной системе и обычно не скупившийся на двойки, поставил пять с плюсом [1].

Повесть впервые опубликована в третьей книге «Литературно-художественного альманаха» издательства «Шиповник» за 1908 год.

Г. Ершов

---

[1] Гос. музей-усадьба Л. Н. Толстого (Ясная Поляна).

СОДЕРЖАНИЕ

Александр Серафимович
СЕРАФИМОВИЧ

Собрание сочинений
в четырех томах

Том I

Редактор тома
Н. Г. Цветкова

Оформление художника
Е. В. Шворака

Технический редактор
А. И. Шагарина

Сдано в набор 22.01.80. Подписано к печати 01.04.80.
Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 22,37. Уч.-изд. л. 23,16. Тираж 600 000 экз.
Изд. № 807. Заказ № 1972. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70685